

М. Емцев

Б. Парнов







М. Емцев
Е. Парков

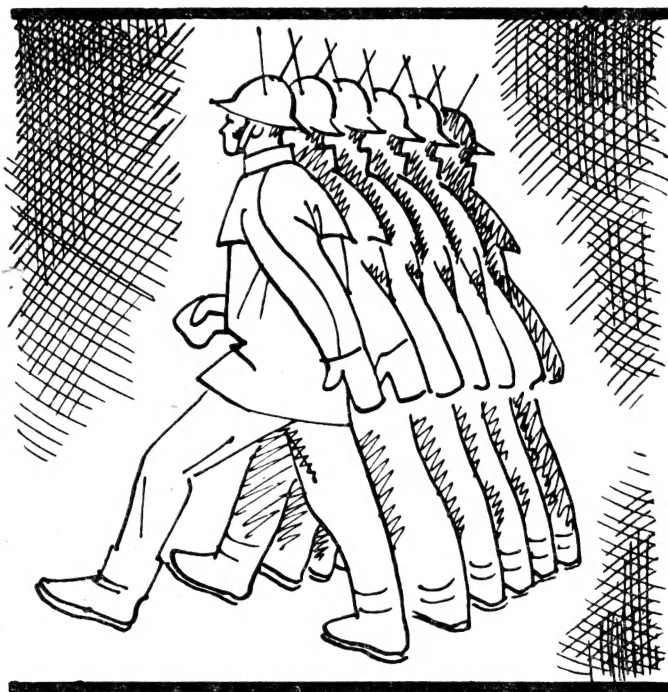


Рисунки А. Иткина

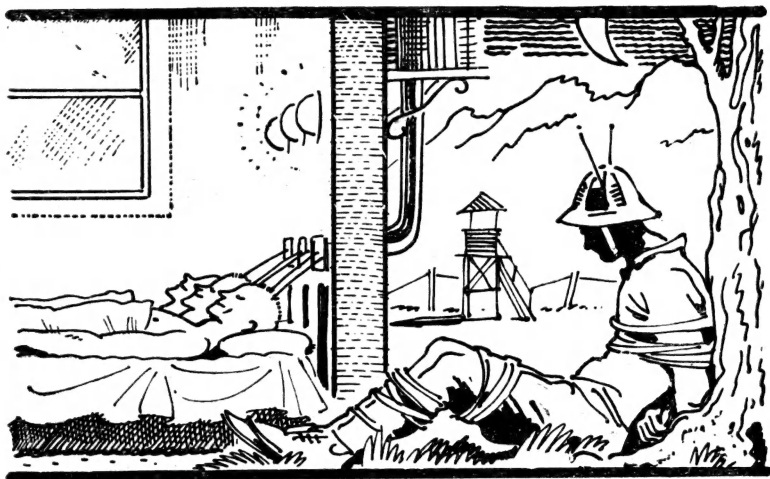
Издательство
"Детская литература"
Москва 1966

P2

E60



РАССКАЗЫ



ПРИГОВОРЕН К НАСЛАЖДЕНИЮ

Об этой резервации я впервые услышал в Кимберли.

Четырем африканцам и одному белому вынесли смертный приговор. Они проходили по статье о злом саботаже. Кажется, пустили под откос товарный состав. А может, перерезали провода главной высоковольтной линии. Я в то время был очень занят, и если бы не Страатен, то и это дело прошло бы мимо меня, как и десятки других.

Страатен выступал на суде защитником. Он сразу же сказал мне, что дело гиблое. Может быть, ему все же удалось бы спасти от петли хоть белого, но тот использовал последнее слово для антиправительственной пропаганды. На присяжных это произвело нехорошее впечатление...

Через несколько дней после вынесения приговора Страатен пришел ко мне в отель. Он молча разделся и пошел под душ. Потом уселся под самым кондиционером и попросил чего-нибудь прохладительного. Я достал из ледника сифон.

— У меня есть сведения, — сказал он, — что приговор приведен в исполнение не будет.

— Их помилуют?

— Нет. На это надежды мало... Ты ничего не слышал о секретных резервациях для смертников?

Я покачал головой.

— А следовало бы знать! — Страатен закурил сигарету и, кивнув на окно, сказал: — Опустит жалюзи.

— Зачем? Сразу же станет душно.

— Все равно. Лишь бы не это солнце. Оно раздражает меня.

— Как хочешь. Сейчас опущу. А почему, собственно, я должен знать об этих резервациях?

— С ними как-то связана ваша фирма.

— «Панафрика миннерс»?

— Да. Кажется.

— Я ничего не знаю.

— Но ты же у них главный геолог.

— Ты что, не веришь мне?

— Да нет! Что ты! Просто удивляюсь, как ты ничего не знаешь об этом. Впрочем, непосредственно эксплуатацией ты ведь не занимаешься?

— Нет... Тебе положить лед?

— Спасибо, дружище. Но это очень жаль, что ты ничего не знаешь. Я очень рассчитывал на твою помощь.

— В чем помощь?

— В этом деле. Говорят, в этих резервациях творятся страшные вещи. А моих подзащитных отправят именно туда.

— Всех?

— Всех. Отдельно, разумеется. Апартеид соблюдается и там. Говорят, в них больше двух лет никто не выдерживает.

— И много таких резерваций?

— Кажется, четыре. Одна для белых, остальные — для африканцев. Это форменные лагеря смерти, если не хуже.

— Что может быть хуже?

— Не знаю, но, по-видимому, может быть и хуже.

— Так что тебе от меня нужно?

— Теперь ничего. Я думал, ты знаешь,

— Не знаю.

— Да, я вижу. Ну, я пойду.

— Погоди, пока немного спадет жара. Или ты спешишь?

— Куда мне спешить? Если бы ты знал, как мне хотелось спасти Брайтона!

— Он сам виноват. А черных тебе не жалко?

— Жалко, конечно... Знаешь, мы все здесь немного расисты в душе. Даже самые левые. Только не все отдают себе в этом отчет.

— Я не расист.

— У тебя есть друзья среди негров?

— Нет. Но это ничего не значит. Просто я бываю в таких кругах...

— Ладно. — Он лениво махнул рукой. — Не оправдывайся. Я же тебя не обвиняю. Я и сам такой. Ты видел моих присяжных?

— Да, что и говорить, бронированные ребята, один к одному.

— Брайтон, конечно, сам виноват. До тех пор пока он не раскрыл рот, они были настроены к нему снисходительно.

— А Брайтон не такой, как мы! Он, наверное, полностью свободен от всяких предрассудков.

— Дурак он, вот кто. Но мне очень хочется спасти его.

— А что ты можешь сделать?

— Хочу сделать невозможное... и спасти его.

— Что же тебе нужно от меня?

— Я не сомневаюсь, что ты не знаешь о резервациях. Но не можешь ли ты прикинуть, где они примерно находятся. Ты же хорошо знаешь этот район.

— Но он же очень велик.

— Это где-то недалеко отсюда, в горах.

— В горах? Может быть, Куруманы?

— Не знаю.

— Если в горах, то Куруманы. Больше нигде. Что ты еще знаешь?

— Что кругом вельд.

— И все?

— Еще туда подведена высоковольтная линия.

— Высоковольтная линия?! Тогда я примерно знаю, где это может быть.

Я достал рулон с картами и, выбрав одну из них, расстелил на полу. Страатен вышел из-за стола и склонился

надо мной. Я показал ему железную дорогу Кимберли — Уоррентон — Постмасбург — Лохатла — Сисчен.

— От Сисчена на Куруман в прошлом году проложили высоковольтку. Там действительно наши золотые рудники. Правда, руда довольно бедная.

— Только золотые?

— Как будто бы... Впрочем, фирме принадлежит только тридцать процентов акций. И я не знаю, кто остальные акционеры.

— Ты бы не мог разведать?

— Попробую. Я могу туда съездить.

— Район охраняется службой безопасности.

— Кто может запретить мне посещение рудников нашей фирмы?

— Попытайся. Я никогда не забуду этой услуги.

* * *

На другой день я звонил в Йоханнесбург заместителю председателя совета директоров.

— Простите, что побеспокоил вас в воскресенье, Питер. Но дело довольно серьезное. Кто-то тайно подкапывается под фирму. Вы ничего не знаете?

— Нет. А в чем дело?

— Речь идет о наших золотых рудниках в Куруманских горах.

Я сделал паузу. Но он тоже молчал.

— Вы слышите меня, Питер?

— Да. Говорите.

— Кто-то распускает слухи, что на рудниках работают смертники. Если это попадет в газеты, акции упадут.

— У вас много акций?

— На пять тысяч фунтов, — соврал я.

— Не волнуйтесь, старина. «Правила печати» предусматривают и такой вариант. Тем более, что в данном случае мы сталкиваемся с чистой клеветой. Я хорошо знаю эти рудники. Условия там, конечно, не бог весть какие, но не хуже, чем везде.

— Так вы точно знаете, что это не попадет в газеты?

— Да.

— И за границей?

— Как вы думаете, если бы они (он сделал на этом

слове ударение) располагали какими-нибудь доказательствами, то удовольствовались бы только слухами? Все это ерунда. Никаких доказательств у них нет и быть не может. Смертники! Подумаешь, смертники. Художественная гипербола. Все шахтеры смертники. И мы с вами тоже смертники. Все живут в рассрочку... Как там ваши дела с верхним мелом?

— Внедрения магматических интрузий меня обнадеживают. В третичном ярусе должны быть продуктивные толщи.

— Отлично. Когда вы заканчиваете работу?

— Мне нужно еще недели две. В крайнем случае — три.

— Не задерживайтесь надолго. Вы нам очень нужны.

— Уезжать нужно хотя бы для того, чтоб начальство поняло, как тебя ему не хватает.

— Но и ненадолго, чтобы не дать ему время понять, что оно может без вас обойтись. Так что возвращайтесь скорее. Тем более, что ваша партнерша по теннису уже начинает скучать.

* * *

По обе стороны полотна тянулся желтый, выжженный солнцем вельд. Опустив стекло, я ловил тугой и горячий ветер. На убегающих назад телеграфных столбах сидели грифы. Потревоженные паровозным свистком, они лениво взмывали вверх и, немного покружившись, падали на толстые, почти безлистые ветви мопане. Сразу же за Лохатлой потянулись маисовые поля, хлебные амбары, круглые, как песочные булочки, хижины банту. Степной аромат сменился запахом прогорклого арахисового масла.

Я поднял стекло и взял со столика книжку. Мне не хотелось читать. Нужно было как-то разрядить тоскливое внутреннее беспокойство. Я взял сигареты и вышел в тамбур, хотя ехал в вагоне для белых один.

Телефонный разговор ничего не прояснил. Одно мне стало ясно — официальным путем идти нельзя. Впрочем, и здесь была какая-то надежда, что концерт не так уж тесно связан со службой безопасности. В этом случае я мог как-то использовать свое положение главного геолога.

Сисчен был последним пунктом железнодорожной ветки. Вряд ли оттуда до Куруманных гор была проложена шоссейная дорога. Руда попадала в Сисчен по подвеске. Это сильно осложняло положение. Я не представлял себе, как доберусь до рудников. Конечно, мне нужно было ехать на машине. Пожалуй, я так и сделаю. Телеграфирую из Сисчена, чтоб мне прислали туда мой «десотто».

Поезд начал останавливаться. Я вернулся в вагон, бросил книжку в портфель и приготовился к выходу. Первое, что бросилось мне в глаза, когда я попал в крохотную гостиницу «Африкандер», была анкета, точнее, один ее пункт: цель приезда. Что же мне написать? Со-слаться на служебное задание я не мог. Служба без-опасности, безусловно, потребовала бы у меня специаль-ных бумаг и тотчас же связалась бы с Йоханнесбургом. Придумать какую-нибудь другую причину тоже не так просто. Если б я еще не звонил в правление. Я уже про-клинал себя за то, что звонил туда. Теперь они сразу поймут, что я что-то вынюхиваю. Как же быть?.. Реше-ние пришло внезапно.

— Заполню это у себя в номере. — Я положил кар-точку в портфель. — Покажите мне мою комнату.

— Хорошо, сэр. Тим! Проводите гостя в девятнадца-тый.

— Очень хорошо, — сказал я, осматривая комна-ту. — Это мне вполне подойдет. А где я смогу разме-стить собак?

— Собак?

— Да, я ожидаю партию немецких овчарок.

— Боюсь, сэр, что у нас это будет несколько трудно.

— У вас нет подходящих помещений?

— Да. И притом...

— Тогда не порекомендуете ли вы мне, у кого можно снять такое помещение?

Я дал бою полфунта.

— Благодарю вас, сэр. Я сейчас узнаю.

Через десять минут у меня уже был адрес. Я спу-стился к портье, который принес мне извинения и вы-разил сожаление, что я не смогу остаться в их гости-нице.

— Не беда. Как только продам собак, переселюсь к вам, — сказал я ему на прощание.

Выйдя на улицу, я бросил в первую же урну адрес и пошел на станцию покупать обратный билет.

До отправления поезда оставалось около четырех часов. Я решил подняться на виадук и осмотреть город.

На горизонте на фоне туманных синих хребтов виднелась ажурная паутина подвески. Можно было даже разглядеть медленно плывущие черные точки вагонеток. Очевидно, они разгружались у специальных пакгаузов. Я видел, как оттуда отошел длинный состав с запломбированными вагонами.

Чувствовал я себя не очень уютно. Мне казалось, что все смотрят только на меня. Я спустился на перрон и прошел в зал ожидания. Купил дневной выпуск «Говермент газетт» и отгородился от мира. Я всегда читал эту газету, но сейчас прежде всего подумал, что это правительственный официоз. Как будто он мог оградить меня от чего-то!

И вдруг я разозлился. На себя, на Страатена и на всех. До сих пор я считал себя хозяином жизни. И вот стоило мне ввязаться в несколько необычное дело, как я почувствовал себя затравленным. Неужели я трушу? Пусть кто-нибудь попробует на меня косо посмотреть, заподозрить в чем-то! Я сумею за себя постоять. На службу безопасности тоже плевать. Что они мне делают? Куда хочу, туда и еду. Никому до этого нет дела.

Я отшвырнул газету, подошел к киоску и громко потребовал левый листок.

— Мы не получаем «Нью-Эйдж», сэ. Спросите ее на почте.

— Очень жаль! — сказал я и гордо отошел.

Наконец объявили посадку. Я сразу же проскользнул в туалет. С трудом опустил покрашенное белой краской окошко и, достав из портфеля бинокль, навел его на пакгаузы. На соседнем пути стоял состав, закрывавший добрую половину сектора обзора.

Все же я разглядел, что пакгаузы охранялись полицией. Отходящую от вокзала ветку перекрывал шлагбаум с табличкой: «Запретная зона».

Пробраться туда незамеченным было очень трудно.

Неожиданно над крышами пакгаузов поднялся вертолет. Очевидно, где-то на внутреннем дворике была посадочная площадка. Я даже уловил сквозь характерные станционные шумы треск мотора. Бинокль захва-

тывал лишь ничтожный клочок неба, и вертолет быстро исчез.

Я подумал, что связь с рудниками осуществляется по воздуху. Впрочем, возможно, от города к рудникам отходил и проложенный по вельду грейдер. Я спрятал бинокль и вошел в вагон, страдая от злого и безысходного чувства собственного бессилия.

Я уже не думал ни о Страатене, ни о приговоренном к смерти Брайтоне. Вернее, мысли о них отошли в какие-то потаенные глубины подсознания. Теперь куруманские рудники стали для меня самоцелью. Я должен был прорваться туда ради самого себя. Этого требовало мое человеческое достоинство.

* * *

Сразу же по приезде в Кимберли я позвонил Страатену и назначил ему свидание у себя в отеле.

— Ты поступил очень опрометчиво, позвонив в Йоханнесбург, — сказал он, выслушав мой рассказ. — Надо было посоветоваться со мной. Теперь они предупреждены и, в случае чего, сейчас же вспомнят этот разговор. А с собаками ты это хорошо. Не хватало только стать на полицейский учет в Сисчене. Тогда все было бы кончено.

— По крайней мере, мы теперь знаем, что стоим на правильном пути. Ведь еще совсем недавно ты даже не знал, где эти резервации находятся.

— Да. Ты попал в самую точку. Покажи мне еще раз карту.

Я достал геологическую карту провинции.

— А другой у тебя нет? Мне эти красные и синие пятна ничего не говорят.

— Погоди, вот он, этот район. Часть обширной платформы, сложенной складчатыми породами докембрия — гнейсами и метаморфизованными сланцами. У меня есть обычная карта, но меньшего масштаба... Впрочем, довольно подробная. Сразу же за Сисченом автострада. А вот река — приток Вааля. От шоссе до реки — полторы мили вельда.

— Где, примерно, может находиться резервация?

— Вот здесь. — Я хотел пометить карандашом, но Страатен остановил меня.

— Не надо делать никаких пометок, — сказал он. — Ты считаешь, что это не в горах?

— Скорее всего, у подошвы хребта. Горные склоны покрыты дождевыми лесами. Не думаю, чтобы там. У подошвы — это более вероятно.

— Что, если взять напрокат самолет и ночью выброситься на парашюте? — неожиданно спросил Страатен, но сразу же отбросил эту идею. — Нет, не годится. Придется обращаться в полицию, а это рискованно.

— К тому же нужно твердо знать местонахождение резервации. Иначе проплутаешь... Послушай, а что мы сможем сделать, если даже пробьемся в этот район? Там же должна быть охрана, проволоочное ограждение и все такое?

— Мы должны собрать материал обо всем, что там происходит.

— А потом?

— Передадим его в газеты. Отправим за границу. В ООН.

— Плевать на это хотело наше милое правительство.

— До поры до времени. Всему приходит конец.

— И нам с тобой в том числе.

— Нужно закупить походное снаряжение: плащи, рюкзаки, ножницы для проволоки и все такое. У тебя есть оружие?

— Как у всякого европейца в этой благословенной стране.

— Хорошо бы иметь еще автомат.

— Это не трудно.

— И взрывчатку.

— Этого добра я могу взять у своих геологов целую кучу.

— Веревки, кошки, резиновые перчатки.

— И тележку, на которую мы все это погрузим. Ха! Тележку! Мне, кажется, пришла в голову великолепная идея, Страатен. Я знаю, как мы попадем в запретную зону.

* * *

Миновав Лохатлу, мы свернули на обочину и, осторожно перевалив через кювет, на первой скорости поехали по красно-бурому каменистому плато. Страатен вел машину, поминутно оглядываясь, точно опасался погони.

Плато полого поднималось вверх. Потревоженная нашими протекторами пыль рыжеватым налетом оседала на мясистых зазубренных листьях агав и алоэ.

Мы поднялись уже довольно высоко. Пробежавшие по автостраде ярко раскрашенные грузовички казались отсюда детскими игрушками. Потом Страатен повернул на север. Он включил вторую, затем третью передачу, и мы покатали прямо к темневшим на горизонте горам. Мелкий гравий оглушительно бомбардировал поддон автомобиля.

Мы все время молчали. Я напряженно ожидал чего-то, и это страшно сковывало меня. И только когда впереди показалась саванна, мое напряжение немного спало. Я закурил сигарету и, махнув вперед рукой, указал Страатену на черные узоры, причудливо избороздившие львиную шкуру саванны.

— Да. Хорошо погулял здесь огонь, — кивнул он головой.

— Еще бы, такая сушь, — отозвался я.

И мы опять надолго замолчали.

Страатен сбавил ход, и машина, неуклюже переваливаясь, стала раздвигать шуршащие выбеленные солнцем травы. Проехав несколько ярдов, он затормозил и выключил зажигание. Мы достали наши рюкзаки и оружие. Отвинтили номер и натянули на машину маскировочный брезент. Сверху набросали травы.

Достав карту, мы наметили маршрут, рассчитывая к утру выйти к подвеске где-нибудь на середине между рудниками и Сисченом.

К ночи похолодало. Слепая красноватая луна всплыла на горизонте, как аварийный буй из черных глубин. Заломленные, как руки, ветви акаций бросали длинные заостренные тени. Все вокруг наполнилось шорохами и скрипами. Где-то далеко рыдала гиена.

Лямки рюкзака больно давили плечи. Я оттягивал лямки большими пальцами, перемещая тяжесть к шее. Но это было лишь иллюзией облегчения.

Я почти забыл о конечной цели. Я шел, считая шаги, сбивался со счета и вновь начинал считать. Первым не выдержал Страатен. Он остановился и подождал, пока я догоню его.

— Может, передохнем немного? — спросил он, облизывая пересохшие губы.

— Но мы тогда можем не успеть. Светает рано...

Я надеялся, что он скажет еще что-нибудь и я согласусь с ним и сброшу на землю этот проклятый рюкзак. Но он ничего не ответил и зашагал впереди меня, широко и спокойно.

Я поплелся вслед, проклиная себя и Страатена, как будто он был виноват.

Мы увидели вышку, когда до нее оставалось не более сотни ярдов. Я взглянул на часы. Было без четверти пять.

— Минут сорок мы можем отдохнуть, — сказал я, медленно опускаясь на землю.

Мы разулись, выпили немного воды и вытерли мокрым платком потные лица. Ночная прохлада забралась под рубашку и приятно холодила высыхающую кожу. Где-то в истерической любовной дрожи билась цикада. Пахло сеном. Мне захотелось спать. Но только я закрыл глаза, как Страатен потряс меня за плечо.

— Пора. Луна уже совсем низко.

Я вскочил. Зажмурился. Потряс головой и, шатаясь, побрел к серебрищимся в лунном свете фермам вышки.

— Куда ты? — спросил Страатен. — Обуйся сперва.

Сон отлетел, и мы принялись за работу. Все было подробно продумано и отрепетировано. Нам почти не приходилось разговаривать. Связав вместе оба рюкзака, мы оставили очень длинный конец, который Страатен привязал к своему поясу. Канат волочился за ним и шуршал в траве, как змея. Страатен был хорошим альпинистом и взобрался на вышку намного раньше меня. Он подождал, пока я вскарабкаюсь, и, держась руками за громоотвод, пошел по стальному тросу. Я глянул вниз и сейчас же прижался к холодному металлу. Сейчас для меня самым страшным был бы спуск с этой головокружительной высоты.

Страатен достиг вагонетки и залез в нее. Потом вынырнул из ее черного зева и позвал меня:

— Иди. Ты твердо знаешь, что с этой стороны?

— Да, — сказал я. — К руднику — с этой стороны.

— Тогда иди.

— Сейчас.

Я глубоко вздохнул, сжал зубы и схватился за туго натянутую проволоку громоотвода. Потом осторожно поставил ногу на трос. Я чувствовал, что моя нога дрожит и вверх по бедру ползет болезненная судорога.

Оторвал от фермы вторую ногу. Некоторое время она висела в воздухе. Тяжелая, как чугунная болванка. Трос подо мной задрожал, а громоотвод (по крайней мере, мне так показалось) заходил ходуном. Я тотчас же убрал ногу с троса и, нащупав ферму, перенес туда центр тяжести. Отдышавшись, я решился на вторую попытку. Дело пошло уже намного лучше. Но где-то на полпути я опять почувствовал себя неуверенно. Один раз даже сорвался с троса и повис на руках. После этого я вообще не мог сделать лишнее движение и повис между небом и землей, как гусеница на шелковинке.

— Ты чего? — спросил Страатен.

— Я не могу. Мне очень страшно, — медленно, почти по складам, произнес я.

Страатен вылез из вагонетки. С изяществом канатоходца подошел ко мне и крепко схватил одной рукой за шиворот. Он тянул меня за собой, и я пассивно следовал за ним, как нанизанный на проволоку ролик. Когда мы достигли вагонетки, я сначала залез в нее ногами и лишь потом решился разжать руки и выпустить громоотвод.

Когда я отдышался, мы выбрали канат и подняли наш груз. Страатен достал из кармана фляжку с ромом. Я сел на дно вагонетки, прижавшись спиной к холодному металлическому борту. Ром вернул мне ощущение реальности. Прежде всего я почувствовал боль. Оказалось, что я сильно стер руки о проволоку... Я поднял голову. Прямо над нами сиял Южный Крест. Большие белые звезды смотрели бестрепетно и равнодушно, как слепые глаза.

Небо побледнело. Уже было можно различить сигаретный дымок. В полудремоте я почувствовал, как вагонетка пришла в движение. Заскрипели блоки.

— Ровно семь часов, — сказал Страатен. — Работа на руднике началась.

Я осторожно высунулся. С земли поднимался туман. Справа и слева от меня были одни только решетчатые башни, выросшие среди грязно-желтой саванны, по которой скользили расплывчатые бледные тени движущихся вагонеток. Встречные вагонетки были заполнены рудой вчерашней выработки.

— Надо пореже высовываться, — сказал Страатен. — Может заметить охрана.

— А что, если нас увидят с вертолета? — спросил я.

— Они часто летают?

— Не знаю.

— Когда услышим стрекот мотора, сразу же накроемся плащами, — сказал Страатен и полез в свой рюкзак.

Я начал собирать автомат.

— Неужели нам придется стрелять, Страатен? Мне все еще не верится, что это всерьез.

— Надеюсь, что все обойдется благополучно. Но если другого выхода не будет... Во всяком случае, помни, что нас с тобой не пощадят.

— Давай пока закусим, — предложил я. — Кто знает, что с нами будет в ближайшее время.

Страатен достал банки с ветчиной и плумпудингом.

— Только не бросай ничего на землю. Подвести может любая мелочь.

Ели мы с аппетитом. Только сильно хотелось пить. Но вся вода у нас уже вышла.

— Ты уверен, что мы найдем там воду? — спросил Страатен.

— В лесу, во всяком случае, она есть. Ты будешь пить росу, как эльф. Помнишь сказку о королеве эльфов?

— Нашел о чем вспоминать!.. Огня мы там разводить не будем. Только спиртовку. А у тебя больной желудок. Как ты будешь обходиться без горячего?

— Я-то как-нибудь обойдусь, но за желудок, конечно, поручиться не могу.

— Далеко еще?

— С какой скоростью движется вагонетка?

— Сейчас поглядим. — Страатен поднялся и взглянул на часы. — Между вышками не более тысячи футов. Так?

— Пожалуй. — Я никогда не умел определять расстояние на глаз и просто согласился с Страатеном.

— Есть! — сказал он минуты через три. — Через каких-нибудь полчаса надо готовиться к высадке.

— Скорей бы! — сказал я.

— Да. Здесь чувствуешь себя не очень приятно. Странно, что до сих пор мы не видели никаких следов охраны.

— Наверное, она сосредоточена вблизи резерваций.

— Сильная?

— Кто ее знает... Думаю, что их там много.

— Значит, мы прежде всего уходим в горы и наблюдаем оттуда в бинокли.

— Угу. Как условились.

Мы замолчали. Говорить было не о чем, да и не хотелось. Я прислушивался к скрипу блоков и птичьему щебету. Закрыв глаза, можно было представить себя раскачивающимся в гамаке среди просыпающегося сада.

— А вдруг мы ошиблись, Страатен? Что, если там самые обыкновенные рудники?

— Вряд ли.

Он опять поднялся во весь рост, точно надеялся разглядеть что-то впереди.

— Как ты думаешь, что это такое? — спросил он, указывая наверх.

— Где? — Я тоже поднялся.

— Вот это, над вагонетками.

— По-моему, кабель... Я как-то не обратил внимания на него.

— Это высоковольтный кабель. Ты не знаешь, зачем может понадобиться на рудниках высокое напряжение?

* * *

Сначала мы спустили на веревках рюкзаки. Потом стали спускаться сами. Когда мои ноги коснулись земли, я отпустил канат и сейчас же упал в сухую колючую траву. Следом за мной свалился и Страатен. Он тоже выпустил канат, который теперь убежал от нас вместе с вагонеткой. Страатен сейчас же вскочил, догнал волочащиеся по пыльному краснозему концы и, схватив один из них, вытянул канат из скоб вагонетки.

— С благополучным приземлением, — сказал я, еле переводя дух.

— Хорошо, что веревка не зацепилась. Теперь никаких следов.

Вернувшись немного назад, мы выбрали вещи и быстро пошли прочь от подвески, спугивая при каждом шаге стайки стрекочущих кузнечиков.

— Скорее! — торопил меня Страатен. — Нас могут обнаружить в любую секунду.

Солнце подымалось все выше. Слепящее и чуть влажное, каким видишь его в далеком детстве. Далеко впе-

ди, оставляя за собой ржавое облако пыли, пронеслось стадо антилоп. Осевшие за ночь запахи поднимались с земли невидимыми струйками пара.

Мир и покой царили над саванной. Спали в своих душных берлогах ночные хищники. И мне вдруг захотелось пойти на водопой вместе со стадом зебр или, подобно гиппопотаму, медленно погрузиться по самые ноздри в прохладную и жидкую грязь. Хорошо ощущать себя частичкой природы!..

Мое патетическое настроение нарушил скрипучий голос Страатена:

— Как ты находишь вон те ксерофитовые заросли?

Высокие колючие кустарники отбрасывали голубоватую пятнистую тень.

— Пожалуй, они не просматриваются сверху?

Я кивнул головой.

— Но все же не мешает натянуть брезент.

Страатен, как всегда, рассуждал сам с собой. Мое мнение его, видимо, мало интересовало, и я покорно побрел вслед за ним.

Утреннее солнце вконец разморило меня. Я отказался от завтрака и сразу же лег спать. Нам предстояло идти всю ночь. Хотелось как следует выспаться.

* * *

К следующему утру мы вышли к Куруманскому хребту. Переобулись в альпинистские ботинки и полезли по довольно крутому, но удивительно ровному склону.

Синие фосфорические нектарницы, как пчелы, стояли в воздухе над влажными цветками опунций. Всюду журчали ручьи. Золотистые лишайники пятнами и крапинками расцвели камни.

Мы вошли в галерею дождевых лесов. Ветки серебряных деревьев были скрыты длинными латунного цвета лохмотьями волокнистых лишайников. Меж стволами висел туман. Нас обступили сырость и тишина.

Рубашка моя скоро сделалась влажной, а вороненый ствол автомата потускнел.

Почва под ногами стала зыбкой. Ботинки все глубже уходили в зеленый, наполненный водой мох.

— Дальше идти вверх нет смысла, — сказал я.

— Пожалуй, — согласился Страатен. — Свернем те-

перь к востоку. Если ты не ошибся, то мы как раз выйдем к резервациям. Они будут прямо перед нами.

— Насчет резерваций я ничего не говорил. Я обещал привести тебя только к рудникам.

— Это одно и то же. Давай вскипятим кофе. Немного. Всего по глотку. А?

— Посмотри, какой туман внизу. Мы же ничего не увидим. А ты еще собирался снимать.

— Я думаю, что туман рассеется. Так как насчет кофе?

Я сбросил рюкзак и вынул спиртовку.

— А ты уверен, что они есть на самом деле, эти резервации?

— Скоро мы всё увидим своими глазами. Теперь поздно гадать. Да и к чему?

* * *

То, что я увидел в сильный бинокль с высоты четыре тысячи футов, сильно разочаровало меня. Это скорее напоминало стратегический поселок, чем лагерь смерти.

Подвесная дорога подходила прямо к шахтам. Судя по терриконам, их было две. Шахты находились внутри большого, в несколько тысяч акров, круга, разделенного на четыре сектора. Очевидно, это и были резервации. В трех секторах стояли чистенькие бараки. Со стороны они казались гораздо более благоустроенными, чем жилища бедноты Претории или Йоханнесбурга.

В четвертом секторе в тени пальм и эвкалиптов прятались уютные голубые коттеджи с красными черепичными крышами. Повсюду цвели олеандры и канны. Над сеткой теннисного корта носились пестрые попугайчики. Вода в плавательном бассейне была кристально прозрачной и отсвечивала зеленым. Легкий ветерок бросил на нее сухой желтый лист. Сначала мы решили, что в этом уединенном санатории благоденствует охрана и администрация. Потом оказалось, что это резервация для европейцев. В каждом секторе стояла пулеметная вышка. Но, сколько мы ни приглядывались, нигде не было видно часовых. Секторы окружала колючая проволока. Это было скорее символическое ограждение — невысокое и очень запущенное. Проволока заржавела. Столбы местами лежали на земле, открывая ничем, кроме

кустарников, не защищенные бреши. И хотя к каждому барaku и коттеджу было подведено электричество от крохотной трансформаторной подстанции, ограждение явно не находилось под током.

Глядя на свежую красную и синюю краски трансформаторов, я подумал, что, может быть, здесь просто еще нет заключенных. Впрочем, это вздор. Мы же видели движущиеся вагонетки с породой. Не святой же дух выносит ее из шахт!

— А что, если это не резервации, а обычные рудничные поселки? — спросил я, поворачиваясь к Страатену.

— Зачем тогда пулеметные вышки? — сказал он, пожимая плечами, и взял у меня бинокль.

— Может, здесь и была резервация, но ее перенесли?

Он молча возвратил мне бинокль и пошел ставить палатку. Я остался наблюдать.

Ровно в шесть часов над крышей самого большого коттеджа показался голубоватый дымок. В шесть часов десять минут из остальных домиков высыпали люди с белыми полотенцами в руках. Они побежали к душевым кабинам, расположенным вблизи большого коттеджа. Из кабин люди выскакивали уже одетыми в шахтерские робы. В шесть пятнадцать все уже находилось в большом коттедже. Я подумал, что там, наверное, находится столовая. В шесть тридцать все выстроились в колонну по четыре и по усыпанной кварцевым песком дорожке направились к шахтам. Я насчитал сорок одну шеренгу. В последней одного не хватало. Всего, значит, было 163 человека. И все мужчины.

Я перевел бинокль на одну из африканских резерваций. Примерно такая же колонна одетых в робы людей уже подходила к шахтам. Меня поразил этот крест, образованный четырьмя колоннами, в которых не было ничего человеческого. Мне почему-то вдруг пришли на ум роботы...

И еще я поразился тому, что не увидел нигде ни надзирателей, ни охранников. Люди шли сами. Без предводителей, без бригадиров, без ужасных капо гитлеровских лагерей. Это были безликие колонны, медленно тающие у шахтных клетей.

В шесть пятьдесят все уже были под землей. А ровно в семь, как и вчера, пришла в движение воздушная дорога.

И опять все замерло внизу. Только одна за другой скользили черные вагонетки.

Мы наблюдали по очереди. Каждый час. Пока один лежал с биноклем, другой отдыхал или возился с нехитрым снаряжением.

Вся утренняя процедура уже была заснята на киноплёнку.

До полудня никаких происшествий внизу не было. В одиннадцать сорок задымила труба столовой, а ровно в двенадцать у терриконов стали расти четыре серых ленты. Колонны тронулись в обратный путь. Мне показалось, что это в обратном направлении крутят скучный фильм. В течение получаса люди умылись, переоделись в легкие холщовые пижамы, пообедали и разошлись по своим коттеджам. Скорее всего, они отправились спать. Во всяком случае, ровно на час все вокруг замерло. Потом опять распахнулись двери, все побежали в душевые, одели робы и отправились на работу. В два часа они уже исчезли, как гномы, и до семи оставались в шахтах. В семь замерла подвеска, а в семь десять клеть подняла наверх последнего горняка, и колонны отправились на ужин.

После ужина людям на два часа была предоставлена известная свобода. Они могли поиграть в теннис, покрутиться на турнике, поплавать в бассейне. Но во всем этом было что-то страшное. Мне стало как-то не по себе, и я долго не мог понять, в чем дело.

Страатен отобрал у меня бинокль и не прекращал наблюдения до самого конца «игр». Очевидно, он искал там Брайтона. А я все никак не мог успокоиться, мучительно стараясь понять, что же так неприятно поразило меня в этих «играх». То, что вертелось в подсознании и ускользало от меня, сумел выразить Страатен.

— Ты знаешь, — сказал он, закрывая рукой уставшие глаза, — у них нет свободы выбора. Насколько я мог понять, каждый из них немного поиграл в теннис и в поло, побегал по дорожке, повертелся на перекладине. Обычно люди так не делают. Это какое-то обязательное многоборье без соревнований. Зачем это, как ты думаешь?

— Не знаю. Может быть, это вовсе и не люди... Брайтона видел?

— Здесь его нет.

В десять все разошлись по своим коттедгам. На столбах вдоль песчаной дорожки вспыхнули фонари. И погасли, погорев пятнадцать минут.

— Думаю, на сегодня уже все кончено, — сказал я. — Можно и нам отправляться на покой.

— Да, можно, — согласился Страатен. — Десятичасовой рабочий день с перерывом на обед и послеобеденный сон. Два часа спортивных упражнений на воздухе и восемь часов сна... Не так уж плохо. Верно?

— Притом чистота, порядок, известный комфорт и, наверное, неплохое питание... А ты говорил, что больше двух лет здесь никто не выдерживает.

— Посмотрим, — уклончиво отозвался Страатен. — Может быть, все это действительно не так уж плохо для рабочих скотов. Но вот для людей...

На другой день все в точности повторилось, минута в минуту. Разве только, когда рабочие шли на обед, я недосчитался в последней шеренге одного человека. Теперь в ней шагали только двое.

— Наверное, с ним что-то случилось в шахте, — сказал Страатен.

— Это довольно обычное дело, — согласился я. — В шахте часто с кем-нибудь что-то случается. На то она и шахта. Но... Куда они его дели? Оставили там, в глубине?

Страатен ничего не ответил. Как только люди внизу разошлись по коттедгам, мы улеглись спать в нашей палатке. Мы тоже начинали привыкать к распорядку резервации.

На следующее утро мы увидели, как из самого дальнего коттеджа вынесли на носилках что-то, накрытое простыней. Сначала мы решили, что это был тот несчастный, который погиб вчера в шахте.

— Очевидно, его принесли сюда ночью, когда мы спали, — сказал Страатен.

— Зачем же его поместили до утра в коттедж? Могли ведь прямо отнести в тот белый домик с кружевными занавесочками. Там у них, наверное, мертвецкая.

— А может быть, он еще жив и его понесли к врачу? — возразил Страатен.

Но, когда рабочие построились в походную колонну, мы увидели, что в последней шеренге идет только один.

— Значит, то был не вчерашний, — сказал я. — Наверное, он умер ночью в коттедже.

Страатен ничего не ответил.

Мы решили спуститься поближе к резервации. Караульные вышки пустовали, другой охраны тоже не было видно. Мы дошли до самой границы леса и, присев на заросшие сухими лишайниками камни, принялись ждать возвращения рабочих на обед. Ждать оставалось тридцать минут. Мы выкурили по сигарете, тщательно закрыли окурки.

Наконец из клетки вышли первые рудокопы. Колонны построились и направились в резервацию.

— Взгляни на их головы. — Страатен протянул мне бинокль.

Сначала я ничего необыкновенного не увидел. Усталые, но отнюдь не изможденные лица. Много бритоголовых, но у некоторых волосы уже успели отрасти.

— Хорош адвокат! — сказал я. — Разве ты не знаешь, что заключенным сбывают волосы?

— Посмотри, что у них на голове. На голове! Понимаешь?

И тогда я увидел рожки. Точнее, рожками мы назвали это уже потом, когда многое поняли. А в тот раз я увидел только тонкие проволочные усики, подрагивающие на темени в такт шагам.

Вот и все, что мы увидели в тот день.

А ночью нас разбудил стрекот вертолета. Мы вылезли из палатки, но ничего не смогли разглядеть сквозь мрак и туман. Вертолет опустился где-то очень близко. У самого подножия горы. Потом опять поднялся в воздух, и шум его мотора постепенно затих. Мы вернулись в палатку продрогшие от ночной сырости и поспешили забраться под одеяло.

Утром Страатен уверял, что видел внизу расплывчатые световые пятна. Но ему могло показаться. Обычно ведь свет горел над резервацией только пятнадцать минут. После десяти часов. . .

В этот день мы отважились спуститься еще ниже. Как только рабочие скрылись в шахтах, мы вышли из-под прикрытия деревьев и направились к ограждению. Пролезли через дырку в проволоке и осторожно подобрались к пулеметной вышке. В резервации стояла мертвая тишина. Стараясь, чтобы нас не увидели из окон «столо-

вой» и «мертвецкой» — там в этот час могли быть люди, — мы полезли на вышку.

Посеревшие от времени деревянные лестницы скрипели при каждом шаге. Мы часто останавливались. Прислушивались. Оглядывались по сторонам. Потом лезли выше. Я впереди — с пистолетом, а сзади Страатен — с автоматом.

Но площадка, как мы и ожидали, оказалась пустой. Там стоял спаренный, уже начинающий ржаветь пулемет. Он был не заряжен. На полу валялись давным-давно окаменевшие окурки. Ровный слой пыли тоже свидетельствовал о том, что сюда уже давно никто не подымался. Я хотел влезть на площадку, но Страатен удержал меня.

— Не надо оставлять следов, — сказал он и начал спускаться.

Пригнувшись и перебегая от дерева к дереву, мы подкрались к окнам одного из коттеджей. Но, сколько мы ни вглядывались в темное стекло, толком ничего разглядеть не сумели. Слишком уж светло было на дворе. Войти внутрь мы все же не решились. Зато обследовали трансформаторную станцию, расположенную на границе с одной из африканских резерваций. Гудели только четыре трансформатора, очевидно дававшие ток в шахты и на подвеску. Остальные, наверное, включались по мере надобности.

Немного побродив по территории резервации, мы решили зайти в душевые. Они сверкали кафелем и никелем. В каждой кабинке краны с горячей и холодной водой. Блестящие баки наполнены каким-то темно-зеленым мылом. В одной из раздевалок мы наткнулись на шкафчик, в котором висели новые рубы. Молча переглянувшись, мы взяли один комплект, вместе с ботинками и пластмассовой каской с фонарем. В каске была проделана узкая щель. Очевидно, для рожек.

Больше в этот день мы не сделали ничего. И ничего нового не узнали.

Наше пятое утро на Курумани было дождливым. Не хотелось вылезать из-под одеяла. Я откинул полог, и в палатку ворвалось сырое дыхание леса. Матово-серебряные стволы почти растворились в сероватом мареве. Белые, как размочаленная веревка, струи хлестали по брезенту.

Избегая глядеть друг на друга, мы молча решили не покидать палатки. Я сварил на спиртовке кофе, и мы выпили его с сухарями. Со вчерашнего дня мы стали экономить провизию. Потом я забрался под одеяло и заснул.

Проспали до полудня. Дождь кончился. Солнце дрожало и переливалось в мириадах капель. Птицы кричали оглушительней, чем когда-либо.

Я вылез из палатки. Над «столовой» клубился веселый дымок. Близился час обеда. Страатен провел рукой по щетине на подбородке, прищурился на солнце и оглушительно чихнул.

— Проспали так проспали, — сказал он. — Черт с ним! Пошли скорее вниз.

На этот раз мы подобрались к резервации так близко, что отпала необходимость в бинокле. Как только колонна отошла от шахты, я по уже выработавшейся привычке начал пересчитывать шеренги. Взглянув краем глаза на Страатена, я понял по его шевелящимся губам, что он занят тем же.

Потом мы удивленно посмотрели друг на друга и напряженно уставились на приближающуюся колонну. Сегодня в ней было на одного человека больше, чем вчера. Я сразу же увидел, что в последней шеренге шагают двое!

Неожиданно Страатен схватил меня за руку и крепко сжал ее. Он кивнул на высокого, плечистого парня, который шел в этой неполной шеренге, опустив на грудь большую тяжелую голову. Как и у всех, на темени у него подрагивали провололочные рожки. Как и другие, он нес в левой руке пластмассовую каску и не глядел по сторонам. Но он был единственным в этом строю, кто опустил на грудь голову. Остальные спокойно и бесстрастно смотрели прямо перед собой. Так смотрят слепые, навсегда смирившиеся со своей слепотой.

Я с трудом узнал в нем могучего весельчака Брайтона. Может быть, потому, что никогда не видел его бритым. Скорее всего, я понял, что это Брайтон, по напряженному волнению Страатена, по его плотно сжатым губам и четко обозначившимся скулам.



Только на следующий вечер, во время «игр», нам удалось установить с Брайтоном контакт. Брайтон вел себя не так, как остальные. Он явно не знал, что ему делать. Хмурил лоб, оглядывался по сторонам, словно вспоминал что-то очень для него важное. Он направился было к бассейну, но на полпути вернулся и нерешительно пошел к перекладине.

Сидя в кустах у самой бреши в проволочном заграждении, мы видели каждый его шаг. Когда он подошел к нам достаточно близко, Страатен позвал его. Брайтон вздрогнул и обернулся.

— Иди скорее сюда! — почти крикнул ему Страатен и, высунувшись из кустов, помахал рукой.

Брайтон сосредоточенно посмотрел на него. Улыбнулся. Потом вдруг опять обрел сосредоточенный вид человека, забывшего какую-то необыкновенно важную вещь.

— Лезь сюда! — сказал Страатен. — Тут в проволоке проход. Лезь и беги! Мы тебя прикроем.

Брайтон молчал. Он смотрел прямо на нас, но я не уверен, что он хоть что-нибудь видел.

— Ну, чего же ты! — Голос Страатена звучал недоуменно и горько.

Лицо Брайтона исказилось мгновенной, как молния, судорогой. Он отрицательно покачал головой, повернулся и пошел к бассейну. Там как раз составлялись новые команды для поло. Больше он не подходил к нам. Намеренно избегал олеандровых зарослей вдоль проволочного заграждения.

Мы просидели там до самого конца. Только когда зажглись и погасли фонари вдоль песчаной дорожки, мы молча выползли из кустов и направились в горы.

— Я был прав тогда, — сказал Страатен. — Это не люди. Проволочные рожки сделали из них рабочий скот... Нужно похитить Брайтона. Иначе... — Он грубо выругался.



Когда рабочая колонна прошла мимо нас, я выскочил из-за кустов и зашагал вслед. Разработанный нами план выглядел весьма просто. Я, поскольку Брайтон не

знает меня в лицо, пристраиваюсь к колонне и некоторое время иду в последней шеренге рядом с ним. Потом, выбрав удобное мгновение, сбиваю его с ног. Тотчас же ко мне на помощь приходит Страатен. Вдвоем мы связываем Брайтона и уносим в горы. Мы были почти уверены, что никто из рудокопов не обернется.

Но в последний момент мне пришла в голову великодушная идея. Я решил пробраться вместе с колонной в шахту. Страатен сначала воспротивился, но я все же сумел уговорить его.

Я быстро надел робу, нагнал колонну и зашагал в ногу со всеми. Брайтон и его сосед не обратили на меня никакого внимания. Они шли спокойным, размеренным шагом, сосредоточенные и отрешенные. Так, наверное, идут на казнь, которая кажется избавлением от долгих пыток.

Клеть вмещала человек сорок, и колонна быстро рассасывалась. Переминаясь с ноги на ногу, я ожидал своей очереди. Вошли в клеть. Пол подо мной сразу же куда-то провалился, и я полетел, глотая слюну, в черную трубу. Изредка во мраке вспыхивали маслянистые огни и уносились вверх, как пузыри изо рта утопленника.

Наконец резкое тошнотворное торможение. Один за другим мы все так же строем вышли из клетки. Надели каски. Зажгли фонари. Я старался не отставать от других. Никто нас не встречал, не объяснял, не руководил.

Мы сами разбились на бригады. Две шеренги — бригада, две шеренги — бригада, две шеренги... В нашей бригаде только семь человек. Сразу же пошли на свой участок штрека. Вот мои отрывочные впечатления об этом...

Оглушительно стучит компрессор. У рессивера восемь ответвлений. Один рессивер на восемь человек. Один компрессор на бригаду.

Неожиданно получаю затрещину. Ударивший меня человек смотрит куда-то мимо. Он уже забыл обо мне. За что он меня? Не успеваю прийти в себя, как получаю еще один удар. Оборачиваюсь, но и этот уже возится со своим перфоратором. Тут только я замечаю, что каждый занят каким-нибудь делом. В желтых бликах света мелькает глянец потных лиц, красноватые огоньки перебегают в глазах. Кто-то больно ударяет меня ногой. И сразу же на меня обрушивается град ударов. Зады-

хаясь от боли, я хватаюсь за пистолет. Очевидно, меня разоблачили и сейчас убьют в этой ужасной шахте. Я падаю, глотая терпкую соленую кровь. Некоторое время лежу лицом вниз. Жду новых ударов. Но, кажется, меня оставили в покое. Осторожно приподымаюсь. Черные тени пляшут по стенам штрека. В уши врывается дробный стук перфораторов. И лишь тогда я понимаю, чего они от меня хотят. Хватаю перфоратор и бросаюсь на свободный участок. Осколки породы больно врезаются в щеки. Надеваю очки. Некоторое время работаю, лихорадочно нажимая на перфоратор. Потом вхожу в ритм и откалываю вполне кондиционные куски. Все работают как проклятые, не разгибая спины. Для меня это явно не привычно. Вытираю платком разгоряченный лоб. Мерзавцы! Разбили мне губы. Кровь все еще сочится, и губы очень распухли. Острая боль обжигает ногу. Кто-то запустил в меня куском породы. Подгоняют. Очевидно, здесь отдыхать нельзя. Но им-то какое дело? Разве они надзиратели? Ведь каждый отвечает только за себя. Или у них круговая порука? Наверное, их кормят в зависимости от выработки. Только кто ведет учет этой выработки? Во всяком случае, не эти лемуры, откалывающие вагонетки. По-моему, они негры. Впрочем, здесь все похожи на негров. Особенно я, с опухшими губами.

Становится жарко. Пот щекочет нос и шею. Стук отбойного молотка больно отдается в висках. Больше я так не могу. Но стоит мне перевести дух, как они начинают драться. Нет, уж лучше не надо.

Я перестаю нажимать на рукоятку. Перфоратор стрекочет почти вхолостую. Несколько минут отдыхаю, закрыв глаза. Начинаю находить в своем положении смешные стороны. Надо же было так влопаться! Хорошо еще, что я не начал стрелять.

Зато кто-то стреляет мне в спину. Ну и нравы здесь! Таким булыжником можно сломать позвоночник. В чем я опять провинился? Ага! Мой участок жилы уже явно начинает выпирать. Остальные ушли куда глубже. Работают сосредоточенно, исступленно. Точно от этого зависит их жизнь. Больше, чем жизнь. Никто не только не испытывает ко мне или к кому-то другому личной вражды, но и вообще не глядит по сторонам. Так, случайно, между делом и не во вред работе, подгоняют они

отстающих. Подгонять может каждый. В итоге каждый подгоняет прежде всего себя.

Я беру несколько кусков породы и атакую ими своих ближайших соседей. Они даже не оборачиваются. Только вздрагивают от ударов и еще яростней наваливаются всем телом на перфораторы.

А я еще удивился, что смертники работают так мало, всего десять часов! Да эти десять часов стоят целых суток. Люди так работать не могут, животные — тоже. Это какой-то единый часовой механизм, с каждой секундой все ускоряющий свой бег.

Перед глазами уже плывут зеленые и малиновые кольца. Я чувствую, что теряю сознание. Сколько времени прошло? Час? Секунда? Вечность? Черт с ними! Пускай кидаются. Больше я так не могу... Кладу перфоратор на землю. На всякий случай сую за пазуху несколько кусочков породы. Карманов в робе нет.

В каску ударяет камень. Другой попадает в стенку, выбивает из нее голубоватые искры. Снова берусь за проклятый перфоратор, заставляющий плясать мои внутренности в каком-то адском ритме.

А что, если люди теряют человеческий облик именно от такой вот работы? Сейчас это предположение кажется мне вполне правдоподобным.

Я оглох, ослеп, отупел, перестал чувствовать свое тело. Я давно подозревал о существовании страшной власти человека над временем. Я как бы соскользнул в такую область, где времени нет. Оно по-прежнему продолжало течь для всех людей на земле и для моего тела, конвульсивно содрогающегося в темном штреке. Но мое сознание парило над временем. Оно блуждало по силурийским лесам, цепенело в космическом холоде немигающего звездного света и медленно утопало в бездонных озерах с коричневой, как кофе, водой.

Я пришел в себя от наступившей внезапно тишины. Руки все еще судорожно сжимали перфоратор. Но он был неподвижен. Сжатый воздух больше не поступал по резиновому шлангу. Молчали компрессоры. Медленно останавливались вращающиеся лопасти вентиляторов.

Механически я занял свое место в шеренге. Побрел к клетки. Солнце больно хлестнуло меня по глазам. Свежий ветер опалил горло, точно кислородная струя, оставившая окалину на разогретой болванке. Мне казалось,

что вместо губ у меня на лице шевелятся разбухшие от крови пиявки. Левый глаз заплыл. Щеки саднило от крохотных порезов.

Мы пошли к резервации. И я почувствовал, что у меня не хватит сил, а может, и воли отделиться от этой серой толпы. Впрочем, это состояние продолжалось не более минуты. Глубоко вздохнув, я вновь ощутил свою отдельность от колонны. Потом я обрел и власть над собственным телом и сознанием.

Мои глаза уже не отрывались от цветущих олеандров, а уши прислушивались к каждому звуку.

Уловив условный свист, я осторожно взял Брайтона за руку и потянул его к себе. Он задержал шаг. Молчаливая серая колонна отделилась от нас светлым просветом истоптанного песка. Я наступил Брайтону на ногу и другой ногой с силой ударил его под колено. Он упал на спину, взрывая локтями песок. Я навалился на него всем телом, мучительно соображая, что делать дальше. К счастью, подоспел Страатен. Мы быстро связали Брайтона и утащили в кусты.

Колонна как раз подходила к душевым. Никто, конечно, не обернулся. На всякий случай мы заткнули Брайтону рот и потащили его к себе. Это оказалось чертовски трудной задачей, и, когда мы наконец добрались до палатки, я свалился как подрубленный.

* * *

Отдохнув и умывшись в ручье, я за обедом рассказал Страатену свои приключения. Меня буквально взбесило, когда он рассмеялся.

— Прости меня, старина, — оправдывался он, — но в этом деле есть и смешные стороны. Я уверен, что пройдет время и ты со мной согласишься. Но суть не только в этом. Просто нужна хоть какая-то нервная разрядка. А смех — это самое лучшее, что можно придумать.

— Когда весело обоим, — притворно обиженным тоном проворчал я.

— Правильно! Поэтому я и постараюсь развеселить тебя своим рассказом. Я ведь тоже не терял времени даром. Мне удалось забраться в один из коттеджей.

— Ну!

Несмотря на боль во всем теле, способность удивляться, очевидно, меня не покинула. А может, наступила именно та нервная разрядка, о которой говорил Страатен. Но мне вдруг стало смешно. Очень смешно. Я начал смеяться и долго не мог остановиться.

— Конечно, мне повезло меньше, чем тебе, — пождав, пока я успокоился, сказал Страатен. — К сожалению, меня никто не бил. Надеюсь, ты не сердишься на меня за это?.. Ну и прекрасно.

— Что в коттеджах?

— Спальни.

— И только?

— Чистые, просторные, комфортабельные спальни. Ничего лишнего. Голые стены. Ни столиков, ни тумбочек, ни стульев. Всюду одни только кровати. Зато у каждого изголовья розетка, от которой идет провод с двумя черными клеммами.

— Зачем?

— Я обследовал все помещение. На чердаке какая-то электронная аппаратура. Всякие там выпрямители, понизители, трансформаторы. Туда подведен питающий кабель. Очевидно, после различных преобразований энергия поступает к розеткам. У каждого изголовья розетка. Понимаешь?

— Пойду поговорю с Брайтоном. Это слишком чудовищно, чтобы быть правдой.

— Развяжите меня, — сказал Брайтон, когда я влез в палатку. — Развяжите меня. Я не убегу.

Он просительно смотрел на меня.

— Нет, — сказал я, — нет...

Я сел около Брайтона и немного ослабил путы.

— Мы хотим спасти вас. Мы пошли на все, чтобы спасти вас.

— Даже если я этого не хочу?

— Вы этого хотите, Брайтон. Не хочет лишь сидящий в вас искалеченный человек.

— Отпустите меня. Прошу вас, — тихо сказал он. Потом вдруг закричал, как раненый зверь: — Отпустите! Это низко! Подло!..

На его ресницах задрожали мелкие бешеные слезы.

— Ну как вы не можете понять, что мне нужно вернуться туда? Зачем вы меня мучаете?

— Расскажите мне все, что вы знаете, Брайтон.

— Ничего я вам не скажу, пока вы не развяжете мне руки.

— Брайтон! Вы же человек! Посмотрите, во что вы превратились. Да во имя вашего дела вы должны рассказать все! Или вы хотите, чтобы все... все, с кем вы были вместе, превратились бы в такое же...

— Спрашивайте.

Лицо его побледнело, и резко обозначились тени на висках.

— Когда вам сделали операцию?

— Не знаю... После суда меня отвели обратно в камеру. Потом пришел Страатен... по поводу кассации. А дальше я ничего не помню. Очнулся я здесь.

— Вы не догадываетесь, зачем вам ввели в мозг эти проволочки?

— Они подключаются к таким штепселям... В общем...

— Кто вас подключает?

— Никто. Каждый подключается сам.

— Зачем?

— Чтобы испытать наслаждение. Вы отпустите меня? Не сейчас, а потом, вечером?

— Какое наслаждение?

— Наверное, вы не поймете. Это смысл жизни... Понимаете? Невероятное наслаждение! И свобода, и любовь, и ликование, и полная безопасность, и удивительная нега.

— Вы подключаетесь вечером? С десяти до десяти пятнадцати?

— Да, после отбоя. Только я не знаю, сколько это длится. Я очень быстро засыпаю. Счастливым. И все остальные тоже счастливы.

— Кто заставляет вас работать?

— Никто.

— Зачем же вы работаете?

— Если мы не выполним норму, то не будем счастливы. Тогда, наоборот, нас охватывает ужас, смятение и страшная боль. Это безысходный кошмар! Я пережил его только однажды. Но не дай бог, чтобы со мной это еще раз случилось. Мы все очень боимся этого.

— Какая у вас норма?

— Не знаю... И никто не знает. Надо работать в полную силу, и тогда норма будет выполнена.

— И вы довольны такой жизнью?

— Доволен.

— Да понимаете ли вы, что это пытка электротоком? Вы раб! И остальные рабы тоже! Такого рабства еще не знала Земля. Неужели вы не понимаете?

— Понимаю. Но это ничего не меняет. Я уже не могу... иначе. Я умру без этого наслаждения. Раньше я не боялся смерти, теперь боюсь.

— Это все страшная болезненная иллюзия. Это только слабый электроток, раздражающий центр удовольствия вашего мозга. И ради этого вы влачите самое страшное рабство.

— А вы?

— Что я?

— Разве ваша жизнь построена иначе? Разве вы живете не для того, чтобы ток чаще раздражал ваш центр удовольствия и реже центр ужаса? Какая разница между нами? Все сводится только к тому, что ток удовольствия рождается в вашем теле под влиянием денег, которые вы получаете, женщин, с которыми пьете в блестящих ресторанах. Вот к чему все сводится. А ко мне удовольствие приходит от штепселя, минуя все эти ненужные стадии. И оно настолько сильнее вашего, насколько смерть сильнее простого сна. Мы оба щекочем свой мозг. Вы непроизвольно, а я — сознательно. Поэтому оставьте меня в покое. Отпустите меня, наконец!

Он опять закричал страшно и дико, нечеловеческим усилием пытаюсь разорвать веревки. На губах у него выступила пена.

— Успокойтесь. Мы отпустим вас... вечером. Кто они, ваши товарищи по резервации?

— Такие же, как и я. Несчастные скоты или бесмертные боги, думайте, как хотите.

— Кем они были раньше?

— Не знаю. Мы мало говорим между собой. Тут есть убийцы и насильники, шпионы и ревнивцы, борцы за свободу и контрабандисты. Но мы все становимся тут одинаковыми. Все живем ради одного.

— Кто были те, кто умерли до вашего приезда?

— Не знаю. На воле тоже умирают. Но остальным это не мешает жить.

— Вас еще можно вылечить, Брайтон. Найдите только в себе силы...

— У меня нет ни сил, ни воли, ни желания! Оставьте меня в покое. Это единственное, чего я хочу. Отпустите меня!

Я больше не мог выдержать. Быстро вылез из палатки и, ломая спички дрожащими руками, пытался закурить сигарету.

— Я все слышал, — сказал Страатен и щелкнул зажигалкой. — Я примерно догадывался, в чем тут дело, но не мог даже вообразить, насколько все это чудовищно. Теперь мне понятно, почему никто не пытается бежать. Здесь не нужна охрана. Правильно сделали, что ее сняли. Нет лучшего стража, чем электромагнитное реле. Оно включает ток на подвеске, в штреках и в кухне, подсчитывает выработку и в зависимости от этого посылает в мозг сигнал наслаждения или боли. Как просто! Как автоматически и бесчеловечно просто!

— Что мы будем делать с ним? — Я махнул рукой в сторону палатки.

— Он конченный человек. Это наркоман в последней стадии. Я видел таких. Они неизлечимы.

— Но он же здесь совсем недавно!

— Прогресс, дружище! Прогресс! Чтоб так изуродовать человека, простому морфию нужны были годы. Электроток сделает это за один сеанс.

— Ты считаешь, что тут есть связь?

— К сожалению, этот несчастный прав. Тот же морфий, попав в кровь, превращается в мозгу в обычный электрический ток. Это электронаркомания. По-моему, дело безнадежное.

— Но ведь таких лечат.

— Не так уж успешно, как это принято думать.

— А если их лишить наркотика?

— Они либо добудут его, либо умрут, либо выздоровеют.

— Тогда мы не должны отпускать Брайтона. Он был сильным человеком. Должен вынести.

— Что ж, попробуем... У нас в аптечке, кажется, есть ампула пантопона. Попробую ввести ему. Может быть, немного успокоится.

Страатен полез в палатку. А я прислонился щекой к влажной холодной коре. Мне было так жутко, как никогда в жизни. Впервые я задумался о таких вещах, как бытие, сознание, конечная цель. Я не мог забыть

горячечных слов, которые выкрикивал Брайтон. Я тогда не нашелся, что возразить на них. Но дело не в этом. Брайтону не нужны никакие возражения. Они нужны мне! Но я по-прежнему не нахожу их. Как же жить дальше? Неужели все в жизни лишь импульс тока? Нужно избегать неприятного и стремиться к приятному. Мы просто машины, не осознающие, как дешево нас надувает природа. Но ведь это не так! А искусство, а самопожертвование... Ненависть. Ненависть к тем, кто построил эти резервации, например. Я же могу во имя этого отдать жизнь? Наверное, могу. Тогда в чем дело? А если бы я оказался на месте Брайтона? Я стал бы таким же? Вот в чем загвоздка! Я стал бы таким же... Но все же это был бы уже не я, а кто-то другой, больной, искалеченный. Мало ли больных людей в мире! Взять хотя бы тех же наркоманов. Ведь никто еще не усомнился в человеческих ценностях, глядя, как они беснуются. Почему же я теперь подвергаю все мучительной переоценке? Просто слишком чудовищно само преступление. Вот отчего шевелятся на голове волосы. Это же фашизм. Страшный механизированный фашизм атомного века. Индустриальное порабощение человеческой психики. Растление душ. Низвержение моральных устоев. Вот что это такое...

— Спит. Я, кажется, усыпил его, — сказал Страатен.

— Слушай, Страатен. Мы пришли сюда помочь ему. Теперь все иначе. Помогать нужно всем: тебе, мне, людям, которых мы даже не знаем. Понимаешь?

— Я рад, что ты так думаешь. Я и раньше кое-что знал об этой резервации. Мне казалось, что я ввязываюсь в это дело только ради него. Теперь я вижу, что это не так.

— Мы должны во что бы то ни стало вывезти отсюда Брайтона. Даже ценой его жизни. Пусть это звучит жестоко, но мы должны так поступить. Ты понимаешь, зачем он нам нужен?

— Я все понимаю. Но у нас слишком мало ампул. Нельзя же его все время держать связанным.

— Если другого выхода нет — можно. У него сильный организм. Я думаю, он вынесет. А здесь он все равно скоро погибнет.

— Ты думаешь, это так сильно истощает психику?

— Не только это. Вот, смотри. — Я достал из кармана несколько кусочков породы, подобранных в шах-

те. — Это золотиносные конгломераты, содержащие уранинит. В таких шахтах должны работать машины, а не люди. Понимаешь? Все они обречены на страшную смерть.

— Пойду сделаю ему еще один укол, — сказал Страатен. — Жаль, что у нас нет морфина.

* * *

Всю ночь меня мучили кошмары. Тяжелые и горячие удавы упругими кольцами сжимали грудь, гипнотизировали безумными белыми глазами. Отдаленно я сознавал, что сплю, но это не мешало мне цепенеть от безысходного, невыразимого ужаса. Хотелось кричать, но глубины сна, как водные толщи, поглощали все звуки.

И вдруг немота прорвалась, как набухшая подо льдом река. Я не слышал, что говорил Страатен. Я просто дышал, легко и свободно. И с каждым вздохом успокаивалось колотящееся сердце и в груди разливалось блаженство успокоения и безопасности. Но постепенно до меня стал доходить смысл слов.

— ...невероятной силы, — донеслось ко мне из далекого надзвездного мира.

— А? Что? — переспросил я, ошалело тараща глаза.

— Он же разорвал веревки! Он ушел туда, назад, а мы даже не проснулись.

Брайтона в палатке не было. Я взял у Страатена фонарь и направил его на обрывки веревки. Конечно, Страатен ошибся. Брайтон не разорвал, он просто перегрыз их. Но факт оставался фактом — Брайтон ушел.

Мы больше не ложились. Говорить не хотелось. Я сварил кофе.

— Что ж! Не выгорело. Надо собираться. Будем уходить, — вздохнул Страатен.

— А может, еще раз попробуем? — робко предложил я, зная, что вторая попытка почти наверняка провалится.

Да и не стали бы мы ловить Брайтона еще раз. Ничего не поделаешь, раз уж так вышло. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь.

— Продовольствия у нас остается только-только чтобы вернуться. — Страатен выбросил сигарету в серый треугольник, чуть видимый в черноте палатки. Впервые он не зарыл окурки в землю.

Сонно прокричала какая-то птица. До рассвета оставалось часа полтора. Я не заметил, как задремал.

А когда начался день, мы увидели с нашего наблюдательного пункта Брайтона. Он шел в последней шеренге. На этот раз там была полная четверка. Может быть, доставили новеньких, или же этой ночью умерло сразу двое. Сейчас мне это было безразлично...

С четырех сторон ползли к терриконам большие серые гусеницы.

— Заберемся в вагонетку, как только остановится подвеска, — сказал я.

— Да. Сегодня же вечером.

— А если мы испортим всю эту музыку?

— Что ты имеешь в виду?

— Не притворяйся, адвокат. Ты прекрасно понимаешь, что я говорю.

— Можем ли мы взять на себя такое...

— Брайтона мы же попробовали... изолировать.

— Он был один. А здесь десятки несчастных. Они же умрут.

— Здесь они все умрут, Страатен! И ты это знаешь. Но ты сам сказал, что часть наркоманов выживает. Мы должны спасти хоть кого-нибудь из них. Шахта все равно их доконает.

— Ты думаешь, они перестанут ходить в шахту? Ошибаешься. Срабатывает рефлекс. Они не перестанут добывать этот конгломерат, не перестанут. А мы их лишим единственного, что у них осталось.

— Если мы уничтожим питающий кабель, то парализуем не только агрегаты электропыток. Работы в шахте тоже приостановятся. Встанет клеть, не будет вырабатываться сжатый воздух, замрут вентиляторы, погаснут лампы.

— Об этом я не подумал.

— Естественно. Откуда тебе знать, что такое шахта? Ну так как, ты согласен?

— Ты точно знаешь, что работа в этих шахтах смертельно опасна?

— Да. Я хорошо знаю эндогенные урановые руды. В них очень много полония. Рак легких, не только лучевая...

— Ладно! Давай тогда попробуем. У тебя есть план?

— Я уже все продумал. Мы взорвем все трансформаторы, кроме того, который обслуживает подвеску.

— Почему?

— А как мы тогда отсюда выберемся? И в городе сразу же подымется тревога, если подвеска встанет.

— Да. Конечно. Ты прав. Давай дальше.

— Что с тобой? Ты какой-то угнетенный, подавленный... В чем дело, Страатен?

— Так. Пустяки. Пройдет. — Он махнул рукой. — Дальше.

— Чтоб надолго вывести этот лагерь смерти из строя, хорошо бы взорвать и коттеджи тоже. И мост через ущелье между африканскими резервациями.

— На мост у нас не хватит взрывчатки.

— Наверное, не хватит, ты прав... Впрочем, там должна быть минная галерея, но все равно не хватит. А на коттеджи хватит! Их всего восемь. Нужно заложить снаряд прямо на чердаке среди аппаратуры.

— Их не восемь. По крайней мере в четыре раза больше.

— Ты имеешь в виду резервации черных?

— А они что, не люди?

— Успокойся, Страатен! Что ты, в самом деле? Просто я не подумал об этом. Все же внимание было сосредоточено на этой резервации. И вовсе не потому, что она европейская. Здесь же Брайтон, твой друг. Разве не так?

— Не знаю. Не уверен. Может, и так. Во всяком случае, взорвать все коттеджи мы не сумеем. Давай взорвем только трансформаторы.

— Идет. Начнем закладывать?

— До обеда не успеем. Подождем до конца перерыва. Это трудно — взорвать трансформаторы?

— Плевое дело! Жаль, что у нас не так много времени. Хорошо бы заминировать фундамент. Тогда бы и сам черт здесь не уцелел. Пришлось бы все начинать сначала. Понимаешь, в чем неудобство? Нам придется просто подвязывать заряд. Без всякого уплотнения. Конечно, и на поверхности здорово покалечит. Но такой силы уже не будет. Слишком большое рассеяние, а кумулятивных зарядов у нас нет.

— Я так и не понял тебя. Получится у нас что-нибудь или нет?

— Получится! Об этом не волнуйся. Просто мне хочется полностью парализовать этот Майданек. Вот если бы взорвать еще шахты...

— Дай тебе волю, ты взорвешь весь мир. Выведем из строя резервации на месяц, и то хорошо. За это время можно поднять вокруг этого большой шум.

— Рискованно это.

— Почему?

— Да не оставят они свидетелей! Понимаешь? Они их сразу же ликвидируют. Здесь же все приговорены судом к смерти. Их расстреляют без всяких церемоний, сразу же, как только ты подымешь шум.

— Мы это предусмотрим.

— Как?

— Твое дело — хорошо организовать взрыв, а политическую кампанию организую я и... другие компетентные люди. Во всем должен чувствоваться профессионализм. Ты геолог, подрывник... в общем, техническое лицо. А я юрист, следовательно, политический деятель... Доставай свой динамит. Я к нему и прикоснуться боюсь.

* * *

Взрыв произошел в 10 часов 02 минуты, сразу же после того, как на дорожках зажглись фонари. Резервации потонули в густо-синем растворе ночи.

— Ты уверен, что трансформатор подвески не пострадал? — спросил Страатен, все еще лежа на земле.

— Уверен. Вставай, пойдем отсюда. Там же семь секций: четыре обслуживают резервацию, две — шахту и одна — подвеску. Ошибиться невозможно.

— А ее не заденет при взрыве?

— Не думаю. Хорошо, если как следует обрабатывает те, что нам надо. Слишком мало взрывчатки все-таки...

— Больше не унести. Жаль, что взорвалось так рано. Надо бы попозже, пока все уснут.

— Не рассчитал немного длину шнура. Сойдет и так. Даже лучше, что так получилось. Считай, что лечение началось. Мы переночуем прямо у подвески?

— Конечно! Кто нас увидит? Безлюдье... Ровно в шесть заберемся в вагонетку, и — прощай, резервация рогатых смертников.

— Палатку, я думаю, ставить не будем. Не хочется распаковывать.

— И не надо. Место сухое. Переночуем и так.

Мы уже подходили к подвеске, когда услышали рокот. Так шуршат муравьи, растекающиеся всепожирающей лавиной по джунглям, и гудит зачинающийся над сухим вельдом пожар. Сначала ни я, ни Страатен не обратили на него особого внимания. Мало ли что может шуметь теплой африканской ночью! Но шум нарастал, и мне показалось, что я слышу какие-то стоны, всхлипы, отдельные выкрики.

— Что это может быть? — спросил Страатен и потянул меня за рукав.

— Не пойму никак... Вроде толпы на площади...

— А если это они?

— Не может быть, — сказал я и вдруг увидел, как ночь загорелась яркими огоньками. Точно в сонном городе вдруг зажглись окна или затанцевал рой светляков.

— Да, это они, — спокойно сказал Страатен. — Они надели каски и зажгли фонари. Может быть, нам уйти?

— Зачем? И некуда уходить. Они почти окружили нас. Разве что бросить все и побежать вдоль подвески.

Серп из золотых мятущихся огоньков медленно и плавно смыкался в кольцо. Мне стало страшно. Я лихорадочно искал выхода. Мы слишком промедлили. Теперь, вероятно, было поздно бежать даже вдоль подвески.

— Наверное, это просто паника тоски и отчаяния. Побеснуются и успокоятся. Они же не знают, в чем тут дело, — сказал я.

— Как ты думаешь, если мы залезем на опору, они нас заметят?

— Не знаю. Скорее всего — нет.

Кольцо вокруг нас сомкнулось и стало сжиматься. Но я все еще хранил какие-то иллюзии.

— Откуда они знают, что мы вообще есть на свете? — сказал я. — Тем более, они и подозревать не могут, что мы причастны к взрыву, который лишил их приятных снов.

— Доставай скорее автомат и полезай вверх.

— Почему я?

— Да не трати время, идиот! Я же лучше тебя умею... Лезь. Я сам найду. Куда ты его сунул?

— Он на дне твоего рюкзака. Кто мог знать, что...

— Лезь же! — Он почти кричал.

— Вот они! — услышал я голос. — Вот они! Это они! Они!

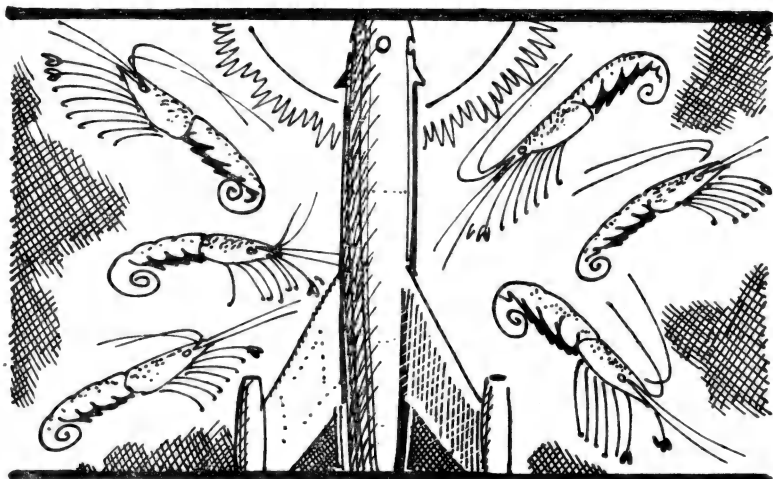
Я зажмурился от яркого света и шарахнулся в сторону. Но со всех сторон набегали желтые кометы. Золотые яблоки с режущими нитями лучей.

Страатен толкнул меня к опоре, нагнулся и подставил плечо. Я почти ничего не сознавал тогда. Как в сонной одуре или в гипнозе, я полез вверх, в кровь обдирая руки на острых стальных ребрах. Я оглянулся, как только вырвался из светового плена. Толпа смыкалась уже почти подо мной. Я успел увидеть только мощную фигуру Брайтона. Он указывал на меня пальцем и что-то кричал. Но я не слышал слов. И еще я увидел Страатена. Лицо его серебрилось в электрическом свете, как самолет, пойманный на скрещении прожекторов. Он так и не успел достать автомат. Но я не знаю, почему он не стрелял из пистолета. Пистолет у него был. Они сомкнулись над ним, как створки ворот. В середине стало темнее, чем по краям. Они топтали его, опустив головы с сияющими огнями на лбу.

Я лез все выше и выше, становясь невесомым от страха. Не помню, как достиг вершины и пошел по тросам.

Когда я наконец обернулся, никто не преследовал меня. Море света отхлынуло и растекалось в бессильном отливе.

Они шли чинить трансформаторы.



ЗЕЛЕНАЯ КРЕВЕТКА

Начальник штаба дружины Володя Корешов получил письмо от невесты. В кабинете было темно и тихо. В окно стучалась ночная бабочка. По белому листу бумаги карабкалось какое-то чахлое существо с прозрачными зелеными крылышками. Володя сдул его на пол и мечтательно уставился в потолок.

Спешить было некуда, и он мог себе позволить оттянуть те приятные минуты, которые обещал ему голубой конверт авиапочты, окаймленный красно-синей полосой.

Глаша, невеста Володи, улетела в Антарктиду сразу же после распределения. Она окончила Ленинградский институт климатов и работала младшим научным сотрудником в лаборатории искусственного солнца. Володя тоже в ближайшее время собирался в Антарктиду.

Через три с половиной месяца кончается срок его полномочий (по специальности он инженер-дозиметрист и до сих пор не может понять, почему именно его избрали начальником штаба). Впрочем, за все время пребывания его на этом посту не произошло ни одного события, которое

потребовало бы железной физической силы, хитроумных заключений или напряжения воли. Раньше Володя втайне гордился, что выбравшие его товарищи сумели разглядеть в нем, скромном и тихом парне, все эти замечательные качества, но теперь он с горечью думал, что с такой работой может справиться кто угодно. Он искренне жалел, что ему ни разу не пришлось хоть как-то проявить себя, но уже примирился с бесцельно, как он считал, потраченным временем.

И вот сейчас, держа в руке письмо из Антарктиды, он думал о той интересной работе, которая ему там предстояла. Это были приятные мысли.

Вдруг пронзительно взвыл зуммер.

Володе показалось, что обрушилась стройная и сверкающая стеклянная башня. Хрустальные конусы и призмы раскалывались друг о друга, со звоном и скрежетом растрескивались зеркальные плиты. Володя удивленно и оторопело смотрел на висящий в углу красный видеофон спецсвязи. За все двадцать месяцев, которые Володя провел в этом кабинете, аппарат ни разу не звонил. В течение какого-то мгновения, пока аппарат молчал, Володя готов был поверить в слуховую галлюцинацию. Он уже собрался облегченно вздохнуть, но зуммер вновь распорол тишину.

Володя вскочил, опрокинув стул. Зацепился ногой за ковер и чуть не упал. Больно ударился плечом об угол стола. Потер ушибленное место и, выставив вперед руки, точно лунатик, пробрался к аппарату и нажал кнопку.

Экран не засветился. Значит, это звонил автомат. Бесстрастно и четко он отчеканил: «Катастрофа на комбинате «Металлопласт». Тревога объявлена. Через две минуты за вами заедет пожарная машина ПМ-1075. Сигнал тревоги подал инженер-диспетчер Борис Михайлович Слезкин. Все приведено в готовность. Какие будут распоряжения?»

— Никаких! — ответил Володя, уже успев прийти в себя.

Выключив аппарат и взглянув на часы, открыл дверцы стенного шкафа. Снял с вешалки плащ, достал из ящика стола сигареты. Огляделся по сторонам, не забыл ли чего, и, выключив свет, вышел из кабинета.

Большой голубой конверт остался нераспечатанным. А в нем содержались удивительные вещи.

«Володя, милый, здравствуй! — писала Глаша. — Как ты живешь? Если б ты знал, какое со мной было приключение! Эх, ты! Живешь себе, прозябаешь в тиши, а еще начальник штаба. Вот тебя бы сюда, к нам, тогда бы ты узнал, почему фунт лиха! Но, нет, тебе даже не снится такое. И не надейся, что я тебе сразу все выложу. О нет! Я тебя сначала как следует помучаю. Ты только не смей заглядывать в конец письма или пропускать строчки, а то я тебя знаю! Ой, Володька, до чего же соскучилась без тебя!..

Обязательно вызову тебя по видеофону в среду часов в семь-восемь, так что будь дома. И вот еще, Володенька, чтобы не забыть. Пришли мне обязательно шерсть. Все равно какого цвета. Только настоящей, а то у нас все синтетика. А теперь, говорят, в моде настоящая шерсть. У нас в лаборатории все что-нибудь вяжут. Мне тоже очень хочется. Я уже научилась вязать английскую резинку. Мне и спицы в механических мастерских сделали. Великолепнейшие.

Ну, вот как будто бы и все, вроде ничего не забыла. Теперь можно и о моем Приключении. Оно заслуживает большой буквы, ты это сейчас увидишь. Ну так вот.

Дней десять тому назад — это было шестого — меня послали в командировку к американцам, в Мак-Мердо. Если б ты знал, какой это большой и шумный город! В нашем Мирном народе живет не меньше, но у нас уют, тишина и покой. А там! Это просто какой-то кавардак и калейдоскоп. Все крутится, сверкает и летит куда-то.

Полицейские — они летают низко-низко на огромных прозрачных вертолетах-циклоляриях — едва успевают регулировать движение. То и дело где-нибудь возникает свалка или драка. Несколько лет назад здесь была небольшая научная станция. А теперь... Всюду рекламируется какой-то арлей — золотой напиток бессмертия. Он действительно золотой. Настоящее жидкое золото — я видела. Но вот насчет бессмертия, так это извините. Напьются арлея и сидят. А глаза рыбы, стеклянные. Потом падают и валяются на тротуарах. Циклолярии едва успевают их собирать. Смотреть и то противно.

Зато мне очень понравился их космодром. Чистота идеальная и порядок. Все сплошь из титанопласта — прозрачное и сверкающее. Вокзал из стеклобетона,

в форме спирали, так и ввинчивается в небо. Каждые две недели отсюда стартуют ракеты на Луну. Мне повезло, и я видела. Это захватывающее зрелище. И величественное. Наш космодром далеко, на самом полюсе, и я там никогда не была. Нужно будет обязательно съездить. Он, наверное, тоже очень красивый.

Сейчас здесь период ночей, и непрерывно пылает наше высокочастотное солнце. Если б ты знал, какое оно капризное! То и дело теряет устойчивость. А знаешь, как это на климате отражается, на урожае? Вот и приходится непрерывно следить. В Антарктическом институте, это который при ООН, на модели климата установили, что нужно добавить еще один излучатель. Электронно-вычислительная машина определила, что его лучше всего поставить у американцев, где-нибудь на окраине Скоттвилла. Меня послали всё согласовать. Надо сказать, что люди они практичные и деловые. В течение часа всё подсчитали, взвесили и согласились. Так что моя командировка окончилась очень быстро.

Я позвонила в аэропорт и справилась насчет самолета. Оказалось, что в моем распоряжении еще очень много свободного времени. Вылетать можно было только завтра, да и то под вечер.

Один американец, Дональд Юнг, молодой и симпатичный, в два счета устроил меня в лучшую гостиницу и посоветовал, что следует в первую очередь посмотреть. Поехать на космодром — это была его идея.

Я все время отвлекаюсь и никак не могу начать рассказ о Приключении. Но я это не нарочно, ты не сердись. Я пообедала у себя в номере. Пообедав, решила немного погулять и вечером сходить в мюзик-холл. Прошла пешком весь город до самого вокзала. Вокзал совершенно своеобразный. Представь себе мост в виде гиперболы. В фокусе на нитях из стеклобетона подвешен трехосный эллипсоид — там всякие помещения. В ветвях гиперболы лифты, пакгаузы, таможня, камера хранения, а снаружи открытые площадки, окруженные легкими перилами из какого-то серого сплава. Стоишь себе на такой площадке и любишься солнцем. Оно голубоватое, как спиртовое пламя, и ласковое. А внизу под тобой проносятся бесконечные гремящие ленты составов. На этой площадке все и случилось!

Я спокойно прогуливаюсь, дышу свежим воздухом,

любуюсь панорамой города. Он весь какой-то лунный и полупрозрачный, точно тающий в голубой дымке. Вдруг слышу внизу какой-то грохот! Гляжу и глазам своим не верю. Ни с того ни с сего переворачивается одинокий отцепленный вагон-рефрижератор. Потом что-то как зашвистит и трахнет по вокзалу! Все так и загудело. Перила дрожат, как струны. Не успела я опомниться, как рядом со мной очутилось какое-то синее страшилище. Какое оно, я так и не разглядела. Наверное, из-за дыма. Оно все дымилось. Помню только какой-то резкий запах, что-то похожее на хлор. Хочу крикнуть и не могу.

Страшилище бросилось ко мне, я шарахнулась в сторону, за что-то зацепилась и упала. Это спасло мне жизнь. Страшилище проскочило мимо меня, и тут я увидела, что моя любимая брошка сорвалась с платья и отлетела в сторону. Помнишь ты мою сверкающую брошку? Хрустальный шар с зеленой креветкой? Ту, что Федя на Венере поймал? Помнишь? Ну так вот — страшилище схватило ее и, точно девчонка мячик, начало подбрасывать и ловить брошку. Играет себе, радуется, а я от страха ни жива ни мертва. И вдруг страшилище брошку упустило. И полетела она прямо вниз. А там как раз состав проходил с диоптазом. Это минерал такой драгоценный, зеленый-зеленый и блестящий. Раньше его только в Конго добывали, а теперь и в Антарктиде нашли.

Ну, моя брошка и полетела на этот самый диоптаз. Разбилась, конечно, и унеслась неизвестно куда. Жалость такая, слов нет! На всей земле только у меня такая брошка была. И как она шла к моему платью! Тому самому, с вышивкой, помнишь?

Чудовище тоже, наверное, огорчилось страшно и как закричит! Потом — раз — и исчезло. Точно в воздухе растаяло. Ну что ты скажешь о моем Приключении? Может быть, еще и не поверишь!

Для подтверждения моего рассказа посылаю тебе несколько американских газет. Из них, кстати, ты узнаешь, кем на самом деле было напавшее на меня страшилище. Я ужасно рада такому изумительному Приключению. Только креветку жалко...

Ой, Володька, мне уже на работу пора! Опаздываю. Пиши мне каждый день, скучно без тебя страшно. В среду я тебя снова вызову. Целую крепко-крепко.

Твоя Глафира»

Сначала взорвались ректификационные колонны. Желтый коптящий язык взлетел в ночное небо и слизнул звезды. Через какое-то мгновение лопнули змеевики азеотропных смесителей, потом рванул бак с циклогексаном. Жутким зеленым огнем полыхнули окна восьмого цеха. Завод перестал существовать.

Очнувшись от оцепенения, Борис впился пальцами в красные кнопки тревоги. В башне дистанционного управления стояла глубокая тишина, но ему казалось, что вокруг все ревет и звенит.

Борис утопил в пазы панели девятнадцать клавишей, но экраны были пусты. Все девятнадцать цехов погибли. Дымилась земля, ветер шевелил какие-то съездившиеся хлопья. И тут он впервые почувствовал страх. Словно что-то холодное осторожно дотронулось длинными пальцами-сосульками до сердца. Он не мог поверить своим глазам. От огромного завода не осталось ничего — ничего, в самом полном смысле этого слова.

Испарились многотонные плиты и тюбинги из железобетона, растаяли в воздухе стальные двутавры и швеллеры.

Борис поставил максимальное увеличение, но не мог нигде обнаружить даже обрывок проволоки или осколок кирпича.

Он бросился к сейсмопотенциометру. Повернул ручку и дернул ее на себя. Прибор не открывался. Борис начал растерянно шарить по карманам в поисках ключа. На голубой пластик пола посыпались какие-то протертые изгибах бумажки, канцелярские скрепки, библиографические карточки и прочая чушь. Ключа нигде не было. Почему-то этот ключ вдруг показался ему совершенно необходимым. В этом кусочке металла для Бориса сосредоточилась вся бессмыслица минуты. Словно, открыв прибор, можно было спасти исчезнувший завод.

Затрещал видеофон. На экране появилось заспанное и ошарашенное лицо директора. Левая ноздря у него почему-то дрожала. Это было странно и смешно.

— Что там у вас случилось? — спросил он, аккуратно и терпеливо откручивая пижамную пуговицу. По тому, как он спросил, Борис понял, что он уже все знает. Борис мучительно старался вспомнить, куда он дел ключ от сейсмопотенциометра.

— Чего вы молчите? — тихо спросил директор и, внезапно вспыхнув, заорал: — У вас там все полетело к чертовой бабушке, а вы молчите! Да знаете ли вы, что произошло?!

Голос его срывался на высоких нотах и по-бабьи дрожал. Борис слышал, как он тяжело, с сухим присвистом дышит. Потом он опять начал кричать, через каждое слово поминая черта.

И тут Борис вспомнил, что вчера положил ключ в ящик стола. Он хотел что-то сказать, но махнул рукой и, выключив аппарат, побежал к себе в комнату. Выдвинув ящик стола, он побросал на пол переплетенные отчеты, оттиски статей, пачку бумаги. Ключ нашелся довольно быстро. Он устроился между коробочкой с кнопками и логарифмической линейкой. Борис схватил его, зажал в кулаке и вдруг забыл, что собирался делать дальше.

Несколько секунд он лениво, в какой-то сонной одуре, пытался сообразить, что нужно делать. Так ничего и не придумав, он вернулся в диспетчерскую.

Видеофон надрывался и дрожал, точно хотел оторваться от стенки и улететь. Борис подошел к аппарату и нажал кнопку. Яркая звезда на экране расширилась, и в лучевых пересечениях возникло лицо Володи Корешова, инженера-дозиметриста и начальника районного управления общественного порядка.

— Как это произошло? — тихо спросил он.

— Не знаю. Все случилось за какую-то секунду. От завода не осталось ничего. Совсем ничего...

— Люди были?

— Нет. Четвертая бригада контроля должна заступить в четыре часа тридцать минут. Инженер по наладке всегда приходит утром. Вот только...

— Что только?

— Я имею в виду восьмой цех. Модест Ильич любит сам проследить за сменой кадмиевых стержней...

— И ты думаешь, что он был там?!

— Нет... Не знаю. Вряд ли он придет ночью.

— Так что же, да или нет?

Борис почувствовал, что рука у него стала горячей и мокрой. Он разжал кулак и увидел ключ.

— Что ты молчишь? — спросил Корешов.

— Я думаю, был ли в тот момент на заводе Модест Ильич.

— Нечего думать! Я сейчас позвоню к нему домой. Кто-нибудь еще мог быть там в момент взрыва?

— Нет. Больше никого не могло быть.

— Хорошо хоть это... Ну ладно, я сейчас к тебе приеду.

Борис еле дождался, пока Корешов отключится, и, побеговав к сейсмопотенциометру, открыл его.

Взрыв произошел в 3 часа 57 минут. Борис быстро нашел нужную линию. Но никакого зубца на кривой против нее не было. И опять ему стало как-то не по себе. На минуту даже показалось, что все это только снится. «Ну да, я сплю, — уговаривал он себя, — вчера целый день провел в бассейне и здорово устал, вот и заснул во время ночного дежурства. Сейчас проснусь, сделаю над собой усилие и проснусь».

Он подошел к огромному окну. В синеем небе застыли побледневшие звезды. Над темной гребенчатой каймой леса ярким александритом мерцала Венера. Где-то там, далеко за лесом, только что исчез огромный химический комбинат...

Борису показалось, что он видит, как небо постепенно насыщается малиновым огнем далекого пожара. Но это, наверное, была заря. Он вернулся к экранам. Они были по-прежнему пусты. Покрытая пеплом и хлопьями земля почти не дымилась. Нигде ничего не горело.

Борис включил в диспетчерской свет. Как глаза фантастических насекомых, смотрели на него из темноты бесчисленные шкалы и стрелки приборов.

Все они стояли на нуле. Им больше нечего было показывать, они уже ни с чем не соединялись.

Борис прижался лбом к стеклу и попытался хоть что-нибудь разглядеть в лежащей под ним черной бездне. Лишь изредка на лакированном листочке кустарника проскальзывал звездный свет. Степь спала, глухая и черная.

Он знал, что сейсмические приборы регистрируют любое сотрясение почвы на территории завода. Неужели во время этого странного взрыва, оставившего после себя полную пустоту, не обрушились на землю трубы, не попадали стены и перекрытия? Не могли же башни, колонны, циклоны и газгольдеры сгореть в воздухе, до того как они упали? Но равнодушная сейсмограмма упрямо твердила одно и то же: «Могли».

Борис готов был допустить даже внезапный распад вещества, теоретически невозможный и беспричинный. Эта еретическая идея хоть что-то объясняла...

Подтащив к стене стремянку, он взобрался на нее и открыл щиток восьмого сектора. Бобины не вращались. Им уже не нужно было прокручивать ленты программы. Борис перемотал ленту на левую съемную бобину и вынул ее из гнезда.

Если на заводе и случались изредка непредвиденные вещи, они были так или иначе связаны с восьмым цехом. Борис мысленно перебрал в памяти все секторы комбината: органический, элементо-органический, минерального сырья, синтеза, гетерогенного катализа, высоких давлений и электрохимии.

Ни один из них не мог стать источником таких разрушений. Если только полное исчезновение можно назвать разрушением. Оставался лишь восьмой цех, где производилась нейтронная сварка полимеров и реакции горячих атомов в растворах. Если даже допустить невероятное — что там взорвался урановый реактор, — то и этим нельзя объяснить ни полное отсутствие разрушений, ни взрыв без взрывной волны. Поэтому восьмой цех тоже отпадал. Но Борис все же поставил бобину в гнездо дешифратора и прокрутил всю ленту недельной программы.

Конечно, он был прав в своих сомнениях с самого начала: это ничего не дало. Ничто не могло вызвать взрыв: ни сварка пятисот тонн титанопласта, ни синтез привитых сополимеров иридия, ни замена части графитовых блоков в котле. Вот уже семь лет все эти процессы с идеальной четкостью протекают без всякого вмешательства человека. В чем же дело? На всякий случай он просмотрел кривую регистрации излучений на территории восьмого цеха. Радиация была в пределах нормы. При таком фоне можно было даже находиться на территории в обычных костюмах защиты. Оставалось поверить в чудо. Но он не хотел, не мог называть гибель лучшего в мире химического комбината таким хорошим и волнующим словом, как «чудо».

Прозрачная, как аквариум, диспетчерская осветилась. По панелям фотонно-счетных устройств скользнули голубые лучи далеких фар. По шоссе шли машины. Штук пять или шесть. Борис спустился по крутой винтовой лестнице вниз и вышел во двор. В лицо ударил теплый

и тугой ветер. Ночь дышала запахом настоянных на солнце цветов. Горьковато и нежно пахла полынь. Вокруг фонаря, как завороженные, клубились мошки. С сердитым гудением стукнулась о матовый колпак мохнатая ночная бабочка. Все дышало спокойствием и миром, ласковой и грустной тишиной. Даже подумать, и то было бы кощунством, что в такую ночь может прийти беда.

Стало слышно, как шуршат по бетону протекторы и изредка потрескивает ударяющийся в крылья гравий. Головная машина сбавила скорость и свернула к башне. Борис прикрыл глаза рукой, защищаясь от яркого света.

Подъехав к самой двери, машина остановилась. Водитель выключил двигатель и погасил фары. Лишь в подфарниках переливались тревожные красные огни. Борис различил темный причудливый силуэт пожарной машины. Хлопнули дверцы. С двух сторон к нему подбежали Корешов и незнакомый пожарник в полной амуниции, но без шлема.

— Жданов! — представился пожарник.

Поздоровались.

— Садитесь быстрее — время дорого, — потянул Бориса за рукав пожарник.

— Нам некуда спешить, — ответил Борис, — все уже сгорело.

— Как так? — не понял пожарник. — Ведь после вашего вызова прошло всего девять минут! Давайте, мы еще успеем. — И он кинулся к машине.

— Погодите! — крикнул Борис ему вслед. — Я же говорю, что все сгорело!

Жданов остановился, слегка пригнулся и медленно, на пружинящих мускулах, повернулся. Вся его фигура выражала недоверие. Но, вероятно поняв, что диспетчеру нет никакого смысла его обманывать, он вернулся.

Корешов закурил сигарету. В свете фонаря дым расплылся тусклой лунной радугой.

«Неужели только девять минут?» — подумал Борис.

Корешов торопливо затянулся два раза подряд, бросил сигарету на землю и затоптал красный жгучий огонек.

— Рассказывай! — бросил он Борису и поднял воротник плаща.

— Где остальные машины? — спросил Борис пожарника и неприязненно подумал про Корешова: «Рисуется... Шерлок Холмс!»

— Поехали к месту. А что? — ответил Жданов.

— Так... Сколько их?

— Шесть.

— И все пожарные?

— Да. А какие же еще? — В голосе пожарника слышалось удивление.

— Это хорошо, что все пожарные, — пробормотал Борис, думая о своем.

Он почему-то не решился спросить о Модесте Ильиче. Но раз нет «скорой помощи», значит, его не было на заводе... Как бы почувствовав эту невысказанную мысль, Корешов сказал:

— Людей там не было. Я, пока мы мчались сюда, обзвонил всех. Модест Ильич уехал на рыбалку. Ловит шук жерлицами... — Он замолчал.

Борис понимал, что ему трудно спрашивать про все, что случилось. Слишком уж все это было невероятно. «Наверное, он втайне надеется, что я сошел с ума или напился», — подумал Борис.

— Ну что ж, ребята, — сказал Борис, — давайте поедем... туда, а на обратном пути заедем в диспетчерскую. Так оно лучше будет.

Пожарник пошел к машине. Корешов похлопал Бориса по плечу и сказал:

— Ты, брат, подымись к себе и захвати плащик, а то простынешь. Мы подрждем... раз спешить некуда.

Борис кивнул ему и пошел в башню.

Шоссе таяло под фарами, как черный весенний снег. В машине было тепло и уютно. Борис сидел между водителем и Корешовым и смотрел в залитое предраассветным сумраком ветровое стекло. На спидометре было 120, и машина визжала на поворотах. Краем глаза он видел, как в красном свете сигареты из серой полутьмы выплывают большой добродушный нос и полные губы Корешова. Мимо неслись лохматые контуры кустов и фосфоресцирующие дорожные указатели.

Борис коротко рассказал Корешову обо всем, что узнал и пережил в диспетчерской. Корешов слушал с напряженным вниманием, не прерывая.

Водитель, малый лет двадцати, с выющимся, взлохмаченным чубом, не проронил ни слова. Но по тому, как во время рассказа он слишком внимательно смотрел на дорогу, Борис понял, что он весь ушел в слух.

Когда до комбината оставалось километров восемь, машина резко сбавила скорость. Людей качнуло вперед. В свете фар Борис увидел впереди поблескивающие красным лаком бока пожарной машины. За ней было еще несколько машин, вокруг которых суетились пожарники в сверкающих силотитановых шлемах.

Медленно подъехав к затору, шофер затормозил и, приоткрыв дверцу, крикнул:

— Колька! Что это тут у вас?

Молоденький пожарник только махнул рукой куда-то вперед.

Борис и Корешов вышли из кабины и пошли, куда указал Колька.

— Погодите-ка, я с вами! — сказал, догоняя их, Жданов и крикнул остальным: — А ну, давайте по машинам!

Борис понял, что он здесь старший.

Пожарники заняли свои места. Лишь у головной машины, которая почему-то стояла поперек шоссе, остались два человека. По-видимому, они поджидали Жданова.

Вскоре стала понятна причина затора. В головную «пожарку» врезался автофургон. Наверное, в последнюю минуту сработала блокировка, потому что машины почти не пострадали.

— Как это произошло? — спросил Жданов одного из пожарников — видимо, водителя головной машины.

— Странная история какая-то. — Водитель развел руками. — Едем это, значит, мы с Витей, — он указал рукой на своего соседа, — вдруг из-за поворота автофургон выскакивает. Без огней! А впереди, я знаю, еще поворот, и крутой. Я включил дальний свет: давай, мол, левее. А он не реагирует. Я тут же смекнул, что дело неладно. Обычно ведь машины без шоферов соблюдают правила движения, как автоинспекция. А тот на сигнал не реагирует и без огней. Очень мне это подозрительно показалось. Автофургон-то шел от комбината... «Странное дело, не находишь?» — это я Вите говорю. Так ведь, Витя?

Витя молча кивнул.

— Ну, долго раздумывать некогда — до фургона метров сорок. Я взял да и развернулся ему поперек пути. Но блокировка у него поздно сработала. Помял слегка.

Все подошли к автофургону. Левая фара была разбита, и немного покорежило радиатор. Корешов открыл

дверцу и залез в кабину. Услышав удивленное восклицание, Борис подошел к нему.

— Действительно, чудеса! — воскликнул Корешов и, высунувшись, махнул рукой пожарникам.

— Посмотрите-ка, ребята, — сказал он, — непонятно, почему автофургон вдруг поехал. В автошофере нет перфокарты.

— Нет перфокарты? — удивился Жданов. — Как же он поехал?

— Без перфокарты не включается зажигание, — пробашил Витя.

— Автомат в самоволку подался, — сострил его приятель, — крутанул налево.

— М-да, ничего не понимаю, — согласился Корешов и задумчиво протянул: — Правда, машина не на тормозе, а по инструкции полагается, изъав перфокарту, ставить на тормоз...

— «По инструкции»! — усмехнулся Витя. — Так то по инструкции... А кто ее так уж досконально соблюдает, инструкцию-то эту?

— Вот потому-то, что не соблюдали инструкцию, автофургон и поехал.

— Только поэтому? — с нескрываемым ехидством в один голос спросили пожарники.

Корешов засмеялся:

— Нет, не только поэтому! Но если бы машина была на тормозе, она бы не тронулась с места. А с чего она все же поехала, хоть убейте, не пойму...

— Может, в радиаторе замкнулась цепь? — спросил Жданов.

— Вряд ли, — ответил Корешов, — я эти автофурунны хорошо знаю. Радиаторы у них неразборные, штампованные. Автофургонное топливо совершенно не детонирует и никогда не вспыхивает без искры.

— Может, разрежем радиатор и посмотрим? — предложил Борис.

Корешов молчал, видимо что-то обдумывая. Потом он махнул рукой и сказал:

— Давайте отбуксируем его на обочину и поедем дальше! А на обратном пути разберемся.

На территории уже орудовали дозиметристы. Они прибыли сюда на вертолете за несколько минут до пожарников. Около проходной (к великому изумлению Бориса,

бетонный забор, огораживающий комбинат, совершенно не пострадал) собралась плотная толпа людей. Они ожесточенно спорили и размахивали руками. Там был директор, главный инженер и еще кто-то из начальства. Увидев Бориса, директор молча протянул руку и сейчас же отвернулся. Может быть, ему стало стыдно за недавнюю вспышку.

Из проходной вышел высокий дозиметрист в прозрачном свинцово-силоксановом балахоне и взмахнул над головой руками. Можно было пройти на территорию. Очевидно, активности не обнаружили.

Наверное, даже водородная бомба не могла бы оставить после себя больших разрушений. До самого горизонта тянулась совершенно ровная площадка. В третьем секторе, где было двадцать семь строений, не уцелело ни одного кирпича.

Борис шел, с трудом передвигая ноги в мелкой бурой и желтоватой пыли. От его шагов подымались тяжелые облачка. Пыль медленно оседала, как муť в аквариуме с плохо промытым песком. В бледных, сырых лучах рассвета все казалось тусклым и приглушенным.

Прежде всего Борис обратил внимание на странные буро-оранжевые кристаллики. Они показались ему очень знакомыми. Только он не мог вспомнить, как они называются. И вдруг вспомнил! Он даже вскрикнул от неожиданности.

— Да ведь это же азотный ангидрид N_2O_5 . И как это я сразу его не узнал?! — изумился Борис.

Но тут же откуда-то из потаенных щелей просочилось сомнение. В третьем секторе занимались тонкими электрохимическими процессами. Здесь производились полупроводники с особыми свойствами. Все это не имело ничего общего с окислением азота. Откуда же тогда взялись кристаллы ангидрида? Да еще в таком количестве!

Вокруг, сколько охватывал глаз, они тускло отсвечивали тяжелым, каким-то болезненным светом. В лужах кристаллы таяли и расплывались желтыми тяжелыми струями, как сахар в стакане чая. Борис достал из нагрудного кармана комбинезона рН-индикатор и сунул его в лужу. Там была азотная кислота. Если пойдет дождь, то весь ангидрид перейдет в раствор, и территория окажется буквально заполненной дымящейся, с резким запахом азотной кислотой.

«Не мог же ангидрид образоваться из воздуха? — невольно подумал Борис, оглядывая пугающую и грозную пустоту вокруг. И точно повинаясь законам наведенной индукции, навязчиво затрепетала вспыхнувшая мысль: — А что, если азот и кислород воздуха соединились? За счет неведомо откуда родившейся энергии!»

Борис прикинул приблизительно величину этой энергии и махнул рукой. Такая колоссальная энергия не могла ни с того ни с сего возникнуть из мира привычных, налаженных вещей. Но все же нелепая и вздорная мысль не прошла даром. Он чувствовал себя как после тяжелой болезни. Тело было каким-то чугунным, голова гудела, звуки достигали ушей точно профильтрованные через вату.

Вдруг все это исчезло. Мозг стал жадным и восприимчивым.

Борис хорошо знал третий сектор. Но теперь, когда перед ним не было ни одного ориентира, он не представлял себе, где находится сейчас. Он огляделся по сторонам. Метрах в трех от него работали люди: две красные фигурки, одна желтая и одна голубая — двое пожарников, дозиметрист и эксперт-химик. Борис пошел к ним.

Пожарники стояли возле большой дымящейся лужи и о чем-то беседовали. Борис подумал, что нужно торопиться, а то протекающие в азотнокислых лужах реакции могут здорово исказить картину и помешать экспертизе.

Дозиметрист сидел на корточках среди низенького частокола воткнутых в землю блестящих стержней, соединенных разноцветными лакированными проводками. Рядом с ним стоял открытый ящик прибора со множеством всевозможных гальванометров. Дозиметрист записывал в журнал показания стрелок. «Если азотная кислота не испортит дела, — подумал Борис, — то у нас будет точная картина электронных потенциалов верхних слоев почвы. Это хорошо!»

Эксперт пневматическим миниатюрным монитором вздымал облачка пыли и брал пробы для спектральных анализов.

— У вас есть план сектора? — спросил Борис у пожарных.

— Конечно, — ответил один из них, маленький и щупленький, в котором Борис узнал Колю.

Он видел его совсем недавно, на дороге, возле затора. Но Борису опять показалось, что это было в глубокой древности или во сне. Рассвет серым холодным мечом отсек прошлое от настоящего.

— Вот, смотрите. — Коля протянул планшет.

Борис взял планшет с планом и, подсоединив к скрытой в нем батарееке стилос, стал водить им по территории третьего сектора. На плане она была чуть поменьше ладони. Загорелась крохотная лампочка — люди находились в северо-западной части сектора. Как раз возле башни донорно-акцепторных процессов. А может быть, и в самой башне. Ведь теперь она существовала только на плане.

Борис постарался припомнить, какое здесь было оборудование. И тут же перед его глазами встали огромные платиновые пластины.

«Платина! Ну конечно же, платина! Она не могла окислиться и превратиться в порошок».

Борис подскочил к эксперту и, захлебываясь, начал объяснять ему свою мысль.

— Хорошо, — сказал эксперт и, выключив монитор, пошел с Борисом.

Борис поставил стилос на план, в самый центр башни, и осторожно пошел по кругу, постепенно суживая его.

Вспыхнул свет.

— Здесь! — сказал эксперт и включил монитор.

Но что могла поделаться тонкая, как спица, струя воздуха с рыжими холмами железа, покрытыми зелено-синими пятнами окислов хрома и кобальта?! Мелкий порошок глинозема и кремнезема вился в воздухе. Снежным вихрем крутилась жженная магнезия, но горы не убывали.

— Да-а, слабовато! — сказал эксперт.

— Можете выключить, — ответил Борис и крикнул пожарникам: — Коля! Вызовите сюда аэропушку.

Коля наклонил голову и что-то пробормотал в пуговицу микрофона. Вероятно, ему долго не отвечали. Борис, не отрываясь, смотрел на поблескивающую под прозрачным шлемом никелированную пуговку наушника, точно надеялся увидеть, когда Коле наконец ответят. Прошло минуты три. Коля ждал, не поднимая глаз. Борис молча сгорал от нетерпения. Ему хотелось немедленно разворошить эту проклятую окисленную кучу. Он

даже представил себе, как блеснет благородный серебристо-серый металл, очищенный от белой муки магнезии и ядовито-зеленых оспин окиси меди.

Коля поднял голову и сказал:

— Сейчас прибудет!

Через несколько минут в небе послышался стрекот вертолета. Это летела пушка.

Эксперт осторожно взобрался на холм окисленной пыли и поднял руку. Вертолет остановился прямо над ним и начал постепенно снижаться. До земли оставалось метров десять—двенадцать, когда стрекошущее насекомое неподвижно замерло в воздухе. В первых лучах восходящего солнца вращающиеся винты засверкали, как зеркальные тарелки. Пыль зашевелилась и тысячами крохотных смерчей начала подниматься вверх.

Когда люди отошли подальше, летчик включил пушку. Рыжеватая мгла заволокла мир. Стрекотал невидимый вертолет, выла пневматика. Нежная пыльца оседала на сверкающий пластик костюмов. Шлемы пожарников стали похожими на сливы.

Вскоре вой сорвался на высокий визг, потом перешел в свист и оборвался. Стрекот становился все слабее и слабее, пока наконец не затих совсем. Рыжая мгла по-прежнему висела в воздухе. Разглядеть что-нибудь в такой пыли было невозможно. Но Борис все же не утерпел и, одолжив у Коли его шлем, направился к расчищенному от пыли месту. Он опустил на лицо прозрачное забрало с дыхательными фильтрами и включил приборы инфракрасного видения. Перед ним темнела круглая лагуна чистой земли, окруженная атоллом пыли. Платиновых пластин нигде не было. Борис достал записную книжку и вырвал из нее несколько листочков.

Взяв в разных местах пробы пыли, он завернул их в бумажки, наподобие порошков от кашля. Он сам хотел подвергнуть их спектральному анализу. Он не верил, что платина могла исчезнуть.

* * *

Борис еще бродил по территории комбината, когда Володя Корешов вернулся к себе в кабинет. Так ничего и не выяснив, раздираемый тысячью возможных предположений, он бессильно опустил на стул и уперся

кулаком в подбородок. Ему было не по себе. Он мечтал хоть на секунду забыться, не думать о загадочной катастрофе. Но какое-то странное беспокойство не оставляло его. Отсутствующий взгляд его блуждал по хорошо знакомым предметам, которые он видел каждый день. Может быть, именно поэтому он и не замечал их. Зато светло-голубое пятно на ковре невольно привлекло внимание Володи. Думая свои невеселые думы, он еще долго смотрел на это пятно, не понимая, что именно оно собой представляет. Потом почти механически нагнулся и протянул к пятну руку. Так в его руках оказалось письмо Глаши. Через минуту он целиком ушел в чтение. Особенно заинтересовали его присланные Глашей газеты. Именно тогда Володя почувствовал тот самый нервный укол, о котором столько впоследствии рассказывал.

Вот что он узнал из американских антарктических газет, читая в основном между строк.

* * *

Воспоминания приходили к Соакру, когда он просыпался. На границе между сном и явью в его мозгу неожиданно возникали давно забытые образы прошлого.

Сегодня ему привиделось, что он спускается к реке по лесной тропинке, засыпанной осенней сырой листвой. Остро пахнет гнилью, ветер срывает с веток последнюю листву, ослепительно, до боли в глазах, сверкает поверхность реки. Небо чистое, прозрачное, и в нем яркое холодное солнце. Потом он сразу увидел себя в клетке. Он грызет, гнет лапами металлические прутья и бессильно рычит на странные, непередаваемо уродливые фигуры людей.

Соакр хорошо запомнил неприятный привкус металла. Люди в его памяти навсегда соединились с металлом и болью. Только не хозяин. Хозяин не похож на других.

С этим ощущением Соакр проснулся. В клетке никого не было.

Заворчав, Соакр сел на своем ложе. Он с неудовольствием лизнул лапу: в последнее время его плотная мягкая шерсть стала жесткой, как проволока. Удивительно изменилось тело. Соакр чувствовал, что он сильно отяжелел, его мышцы налились таинственной могучей силой.

Похожий на многотонный пресс, он тем не менее передвигался легко и бесшумно.

Хозяина очень долго не было, и Соакр захотел есть. Его тело требовало специальной пищи. Соакр коротко рывкнул, но никто не пришел. Тогда он прошелся вдоль гладких стен, ощупал и лизнул их шершавым, как напильник, языком. Его внимание привлекло бледное пятно на стене. Он ощущал легкие воздушные струйки разнообразных запахов, идущих отсюда. Соакр рванулся и вдруг попал в поток запахов.

Запахи, самые неожиданные и удивительные, обрушились на него, точно струи, которым предстоит переплестись в тугую косу стремительно бегущей реки.

Запахи срывались со стен, как капли дождя с крыши. Но пока он не интересовался этой связью. Соакр не слышал главного запаха, от которого так сладко и легко сокращаются мышцы живота.

В воздухе не было запаха еды.

И вдруг судорога пронизала его тело.

Соакр рванулся — навстречу ему неслась плотная густая струя. Еда! Соакр стал жадно и торопливо принахиваться. Но еда ускользала от него. Спазма острого голода потрясла его существо. Он метнулся вперед... Клетка не выдержала. Соакр пронесся по каким-то запутанным коридорам, выскочил во двор, потом на улицу, сметая все на своем пути.

... В комнате агента-эксперта Пита Уилсона вспыхнул яркий свет. С экрана телевизора глядело суровое и желчное лицо начальника городской полиции.

— Пит, дружище, вы мне очень нужны. Вылетайте немедленно.

— Слушаюсь, шеф! Но что случилось?

— Объясню на месте. Вылетайте.

В кабинете начальника полиции было много людей. Непрерывно включались экраны. На них мелькали лица дежурных агентов. Торопливая речь, бегающий взгляд и прерывистое дыхание делали их одинаковыми и удивительно похожими на загнанных гончих.

— Шеф, на двадцать третьей улице убиты старик и девочка!

— Шеф, в воздухе на высоте шести метров подбита полицейская циклолярия. Регулировщик Уиллоуби ранен, он без памяти!

— Угол Сто седьмой и Двадцать третьей, сбит кино-репортер!

— Покалечена женщина с двумя детьми!

С экранов лилась кровавая река. Уилсон ошеломленно вертел головой. Он ничего не понимал.

— Что это значит, шеф?

— Это я могу у вас спросить, — утомленно сказал начальник. — Город подвергся нападению организованной террористической банды. За пятьдесят минут совершенно около ста преступлений в самых разных частях города. Бандиты действуют поодиночке, но одновременно. Поражает невероятная жестокость преступлений. Не щадят никого: ни детей, ни женщин, ни стариков. В этой проклятой Антарктиде нет ни военных баз, ни казарм. А то бы я вызвал полк для наведения порядка. Мои ребята прямо сбились с ног и разрываются на части.

Уилсон кивнул и стал наблюдать.

Через минуту над городом повисли тысячи «ос» — маленьких чрезвычайно подвижных воздушных лодок. Полицейские проносились над домами следящим душой свистом. На «осах» человек в воздухе был как дома. Полицейские то скользили над улицами, то взмывали на уровень последнего этажа небоскребов. Они легко проникали в разбитые окна и развороченные двери.

Уже через десять минут выяснилось, что все террористы исчезли. Ни одного из преступников поймать не удалось. Уилсон спустился в комнату, где давали показания свидетели.

— Когда это случилось? — спрашивал агент пожилую женщину.

— Было около десяти, когда муж послал меня в магазин за табаком. Я сделала несколько шагов и вдруг услышала страшный, надрывный крик. Я увидела, что по улице бежит человек и несет в руках другого человека, который, не смолкая, вопит. Из рта убийцы шел дым. Он сделал несколько шагов, бросил жертву на землю, и тут же раздался взрыв. Я стала смотреть, что это такое, и вижу — отвалился угол тридцать второго дома. Когда я очнулась, убийцы уже не было. Остался только изуродованный труп.

— Как был одет неизвестный?

— На нем был темный ксилоленовый костюм. Больше ничего я не успела заметить.

— Вы рассмотрели его лицо, фигуру?

— Лица я не видела, он был далеко от меня. Рост, по-моему, средний, фигура толстая и мешковатая.

— Хорошо, благодарю вас.

Следующий свидетель, полный старик, рассказал:

— Я иногда захожу в кафе «Фебос» выпить рюмочку-другую арлея.

— Вы не помните точно время, когда это случилось? — внезапно вмешался Уилсон.

— Точно?.. Пожалуй, было что-то около десяти. Без нескольких минут. Только я успел присесть за столик, как потолок кафе с треском провалился. Это я видел собственными глазами, клянусь честью! Кто-то дико крикнул и замолк. Когда дым и пыль немного осели, все увидели на полу искалеченное тело старого Уотерса. Мы даже рта не успели раскрыть! Мне показалось, что убийца выпрыгнул в дыру на потолке; другие поговаривают, будто он просто растаял в воздухе.

— Какая внешность у незнакомца?

— Существо выглядело очень странно: на нем были какие-то коричневые лохмотья. Лица я не успел разглядеть, да и никто в кафе не успел опомниться, как все кончилось.

— Говорил он что-нибудь?

— Нет, молчал.

Очевидцы сообщали самые нелепые сведения о террористах.

— Сэр, я собственными глазами видел, как этот волосатый тип свалился на улицу из окна двадцатого этажа!

— Сэр, он был низенький, приземистый, покрытый пятнами. Сила в нем страшная. Он схватил троих полисменов и расшвырял их по сторонам, как кегли. Один из них так и остался лежать.

— Сэр, было около десяти, когда один из этих убийц...

— Почему вы говорите «один»? Разве их было много? — спросил Уилсон.

— Я-то видел одного, но вот люди говорят, что в то же время в других местах города работали и другие убийцы.

— Говорите только то, что видели вы, — заметил Уилсон. — Вы не помните точное время убийства?

— Что-то около десяти или четверти одиннадцатого.

— Сэр, — сообщал очередной свидетель, — я видел, как террорист проломил витрину химического магазина, проник внутрь и вытащил оттуда бутылку с жидкостью. Затем он прыгнул вверх и исчез.

— Куда прыгнул? — удивился следователь.

— В воздух, сэр, вверх. Метров на тридцать взлетел и исчез в одном из окон небоскреба Лутидана.

— Что в этой квартире? — обратился Уилсон к следователю.

— То же, что и везде. Пробит потолок, высажены окна. Какой-то снаряд, не взрываясь, проткнул дом, как иглолка масло.

— Содержимое похищенной бутылки известно?

— Да, плавиковая кислота.

— Вы помните точное время происшествия? — обратился Уилсон к свидетелю.

— Половина одиннадцатого.

Через пять часов все тридцать свидетелей были опрошены. Уилсон пришел к шефу. Тот как раз прослушивал магнитограмму опроса свидетелей.

— Что вы скажете на это, Пит?

— У меня нет пока никаких идей.

— А мне все ясно. — Начальник полиции встал, выпитив грудь. — Это рука коммунистов.

— Что? — широко раскрыл глаза Уилсон.

— Да, коммунистов. Именно так. Коммунисты не ограничиваются тем, что захватили три четверти земного шара. Они протягивают руки к последнему оплоту свободного мира. Сегодняшний террористический акт блестяще подтверждает эту мысль. Вы обратили внимание на нечеловеческую жестокость преступлений, на их иступленно-садистский характер?

— Да, бессмысленные, механические убийства.

— Вот именно. Именно так. Механические! Ведь ничего не похищено, унесена только жалкая бутылка с плавиковой кислотой. Пострадали самые разные лица, никак не связанные друг с другом. В этом нет никакой логики. Это сделано не людьми. Это сделано кибернетическими убийцами, подосланными коммунистами.

Идея у них была такая: начать массовый террор в Главном городе. Возникшую панику использовать в це-

лях пропаганды, что привело бы к всеобщему взрыву и революции. Вы понимаете, Пит, что нам угрожало? Они хотят выжить нас с материка!

— Но где же кибернетические убийцы? Ведь ни один не пойман!

— Пит, не говорите глупостей! Разве вам не известна летающая, плавающая и ползающая модель человека системы Орха? О чем вы говорите?

— Я знаю эту модель, шеф. Дело не в ней. Она слишком слаба для таких преступлений. Здесь что-то другое.

— Бросьте, Пит, все ясно: киберы-убийцы работали по программе, заданной коммунистами. При появлении опасности они взлетали в воздух и исчезали.

— Почему же наши «осы» не зафиксировали их в воздухе?

— «Осы» опоздали.

Уилсон помолчал, потом вздохнул и сказал:

— Я уверен, что вы ошибаетесь, шеф.

Он направился к выходу. За его спиной раздался голос начальства:

— Хэлло, мисс, соедините меня с Центром прессы.

К вечеру радио, телевидение и газеты Главного города были полны сообщений о новых чудовищных происках коммунизма. Мэр потребовал у Высшего городского совета чрезвычайных полномочий против коммунистов.

Через несколько часов шеф опять вызвал Уилсона.

— Пит, — сказал шеф, — нашли чертову бутылку с кислотой. На морском берегу, километров в семидесяти отсюда. Слетайте посмотрите, в чем дело.

Когда летающий «бокс» с Уилсоном и молодым сыщиком, по кличке «Майкл-Бульдог», опустился на берег, там никого не было.

— Вот бутылка. — Майкл ткнул рукой в осколки разбитой пласткерамической посуды, на которой еще оставался кусок фирменной наклейки. — Вот песок, вот камни, там море, а здесь небо. Обстановка вполне ясная.

Уилсон огляделся. Голый, безлюдный берег тянулся до самого горизонта; прибрежные камни, заливаемые морскими волнами, сверкали на солнце, словно смазанные бриолином.

— Кто обнаружил бутылку?

— Кибернетическая овчарка.

Уилсон долго разглядывал осколки посуды, золоти-

стый черный песок, камни и море. Затем он выгрузил из «бокса» ультразвуковой молоток, совки, паклю и тряпки.

— Майкл, — обратился он к юноше, — отправляйтесь в город, приобретите четыре микрогрузчика, непрозрачный фторопластовый гроб самого большого размера и возвращайтесь сюда часам к девяти вечера.

Майкл-Бульдог привык повиноваться. Через минуту «боек» взвился и пропал в сияющем солнечном небе.

Исполнив все указания, Майкл вечером возвратился на условленное место. В ярких голубоватых лучах искусственного солнца он увидел, что Уилсон возится около темного продолговатого предмета.

— Все в порядке, беби, тащи сюда свой гроб! — крикнул он Майклу.

Предмет неопределенной формы, обмотанный тряпками, был поднят микрогрузчиками и осторожно опущен в ящик. Дно ящика треснуло, и поклажа оказалась на песке.

— Вот досада! — вскричал Уилсон.

— Ого, Пит, вы, кажется, собираетесь увезти самый тяжелый камень с побережья?

— Не самый тяжелый, а самый нужный. Ну давай грузить его так.

Они с большим трудом втиснули свой груз в «боек».

— Не развалить бы нам этим метеоритом машину! — заметил Майкл.

— Ничего, «боек» — не циклолярия, выдержит. Курс — мой дом.

На другой день Уилсон включил телегазету, ожидая увидеть продолжение антикоммунистической компании. На его удивление, первые кадры газеты вновь оказались заполненными сверхсенсационным открытием этого всем надоевшего доктора Кресби.

Лицо Кресби минут пятнадцать не сползало с экрана.

Гениальное открытие!

Пища передается по воздуху! Внушение ощущения сытости и довольства! Всеобщее блаженство!

«Очевидно, кто-то очень влиятельный заинтересован, чтобы о вчерашнем поскорее забыли», — подумал Уилсон.

Он достал из почтового ящика плотную пачку газет. Разобрав почту, он отложил в сторону «Мак-Мердо тудей», «Зюйде штерн», «Кроникл» и «Куин-пингвин».

Быстро пролистав страницы, пестрящие «дровами» (огромными черными литерами), бесконечными объявлениями и рекламой, он остановил внимание на крохотной заметке в «Кроникл».

«Говорят, что доктору Кресби удалось получить биокатализатор чрезвычайной активности, способный превратить в пищу обычный воздух или воду. Ученому, по словам осведомленных лиц, удалось накормить животных на расстоянии четверть мили от катализатора. Утверждают даже, что подобное кормление приводит к совершенной перестройке жизнедеятельности организма. В авторитетных источниках, из которых наша газета черпает свою информацию, высказывается мнение, что животные доктора Кресби постепенно теряют характерное для всех обитателей земли строение белковых молекул.

Как известно, в основе организма лежат углерод, водород, кислород, азот и сера. Доктору Кресби, однако, удалось присоединить к молекулам еще и атом фтора.

Этот элемент-разрушитель ведет себя в организме, как смиренный ягненок, придавая ему невероятную энергетическую активность и силу».

Больше в газете ничего интересного Уилсон не нашел. Его удивило гробовое молчание, которое хранила газета по поводу вчерашних событий. Он еще больше уверился, что это неспроста.

В «Пингвине» он вырезал ножницами всего семь строчек: «Прославленный гражданин нашего города, доктор биологии Уильям Кресби смело экспериментирует с таинственным биокатализатором. Нам удалось узнать, что этот биокатализатор, мы бы назвали его философским камнем древности, привезен с Венеры. Он испускает каталитические волны, превращающие воду в нефть и возвращающие людям молодость и силу».

«Куин-пингвин» оказался тоже скуп на слова: «Говорят, что вчерашняя суматоха вызвана какими-то таинственными экспериментами одного из наиболее уважаемых наших горожан. Причиной ее якобы был медведь колоссальной силы, биологическая активность которого в сотни раз превосходит нормальную. Наши научные обозреватели решительно отвергают подобные домыслы.

Мы уверены, что в ближайшее время наш славный доктор продемонстрирует публике своего огнедышащего медведя».

«Ишь ты, черти, ловко, — восхитился Уилсон, — тень брошена, а попробуй их привлечь за диффамацию. Молодцы!»

Выходящий на немецком языке «Зюйде штерн» высказывался довольно определенно.

«Нам достоверно известно, что Кресби создаст такое оружие, которое в один миг сокрушит коммунистов. Это будет славная биологическая война!»

«Теперь понятно, — подумал Уилсон, — почему они решили замять вчерашнее дело. Если только газеты не врут, как всегда... Очень уж все это сомнительно... Философский камень с Венеры!»

Уилсон засмеялся.

На экране появились питомцы доктора Кресби: бывшая старушка, исполняющая акробатический этюд, вчерашние старички, устанавливающие рекорды по поднятию тяжестей.

Уилсон внимательно прослушал две передачи подряд о Кресби и отключил экран. Затем вызвал Майкла.

— Хочешь увидеть разгадку вчерашнего преступления?

— О, конечно!

— Прилетай ко мне около двенадцати.

В 11 часов Уилсон и Бульдог сидели рядом и наслаждались обезникотиненным виргинским табаком.

— Наш шеф глупо поступил, начав возню с коммунистами, — заметил Уилсон. — Но это не мое дело. Главное в другом. Начальник стареет, у него хромает логика. Первая ошибка в том, что он допустил возможность одновременного выступления всех террористов. Это я понял еще при опросе свидетелей. Посмотри на карту. — Уилсон раскинул перед Майклом карту Главного города. — Вот здесь нападение совершено около десяти часов вечера, но это «около» десяти означает без четверти десять, здесь убийство произошло также «около» десяти, но уже без трех минут, здесь опять-таки «около» десяти, а именно в четверть одиннадцатого и так далее. Если все сто происшествий расположить во времени, то получается непрерывная зигзагообразная линия, проходящая через город с севера на юго-восток. Начало ее упирается в район Больших Клиник, а хвост выходит на самое побережье. Создается впечатление, будто выпустили на город невидимый снаряд, который пронесся,

убивая и поражая встречных. На основании этого я сделал свой главный вывод — убийца был один.

— Никто не способен один изувечить за пятьдесят минут сто человек! — воскликнул Майкл.

— Это сделано не человеком, во всяком случае, не обыкновенным человеком.

— Киберы?

— Нет. В преступлениях действительно видна жестокость и мощь машины. Но там есть одна важная деталь: бессмысленность. Полная бессмысленность и алогичность. Это не свойственно киберам. Для кибернетических убийц характерна, напротив, изощренная избирательность, цель и логическая последовательность действий. И я никогда не разгадал бы загадки, если бы не бутылка с кислотой. И затем как следствие вот эта штука. — Уилсон вынул из ящика большое пластмассовое кольцо с неизвестной монограммой. — Майкл, — сказал он, — выясни в справочной, чей это фирменный знак.

Через несколько минут юноша бодро доложил:

— Это знак предприятий Кресби. А такими вот кольцами метят всех подопытных животных доктора.

— Теперь все становится на свои места, — удовлетворенно сказал Уилсон. — Сейчас мы посетим истинного убийцу.

— Мне проехать к прокурору за ордером?

По лицу Уилсона пробежала пасмурная тень.

— Нет, — ответил он, — нет. Мы не сможем его арестовать. И вообще лучше держать язык за зубами... Для нас лучше.

* * *

Когда Володя окончил чтение, у него не было еще никакого готового решения. Не было даже мало-мальски четкой рабочей гипотезы. Мысль его устремилась сразу по нескольким направлениям. Это было похоже на блуждание по темным галереям лабиринта, из которых лишь одна ведет к свежему воздуху и солнечному свету. Вообще у Володи в голове был полный сумбур.

Из всего прочитанного он помнил и усвоил лишь следующее:

1. Американец Кресби нашел биокатализатор, каталитические волны которого действуют на расстоянии.

2. Питомец Кресби похитил у Глаши брошь — подарок брата.

3. Брат Глаши — астролетчик привез с Венеры на Землю эту удивительную креветку.

4. Брошь полетела с моста и упала на платформу, груженную диоптазом.

Здесь не было и намека на связь с недавними событиями на химкомбинате. Да Володя и не искал этой связи. Он хотел только на некоторое время отвлечься от катастрофы на комбинате и отдохнуть. Но не думать о таинственном взрыве он не мог, и, как люди, которые в перерыве между длительными умственными усилиями начинают разгадывать первый попавшийся кроссворд, Володя ухватился за секрет зеленой креветки.

Володя снял трубку и попросил, чтобы ему прислали материалы, связанные с недавней космической экспедицией, в которой участвовал Глашин брат Федя.

Вот что он узнал из этих материалов...

В инфракрасных лучах горячие, окутанные паром воды Северного озера казались белыми, как бегущий из летки чугун. Уровень воды поднимался буквально на глазах. Озеро кипело и корчилось, раздираемое рождающимися где-то в глубинах огромными газовыми пузырями. Пар стлался над самой водой, как поземка, бегущая по черному зеркалу мостовой.

Почва едва ощутимо вибрировала под ногами. Сквозь незаметные трещины сочился желтый дым. Порой взрывался зеркальный гейзер расплавленного олова. Металл, застывая в полете, падал серыми сморщенными, как молочная пенка, шариками.

Косолапо переваливаясь и останавливаясь через каждые пятьсот метров, Федор брел назад, к котловине. Порывы ветра сметали с поверхности почвы вулканическую пыль и глину. Точно бронзовый и золотистый мох, проступали под ногами кристаллики пирида. Исполинскими агавами, раскрытыми во все стороны, высились кварцевые друзья. Мертвый минеральный мир был по-своему прекрасен и многолик. Но это была суровая и мрачная красота, лишенная теплоты и мягкости, при-сущей жизни.

На краю котловины Федор остановился. Круто вниз уходили гладкие серовато-голубые стены. Где-то там, на глубине трех километров, поблескивали ртутные озера,

обычно скрытые желтым или кроваво-красным флером испарений. Федор впервые видел молнии сверху. Они висели между ним и дном котловины, как сетка в провале лестницы. Здесь постоянно бушевали грозы. Тре-сские грозовые ливни разрядов баламутили жирную коллоидную атмосферу, насыщенную парами воды, аммиаком и углеводородами. Почти в самом центре котловины возвышалось небольшое розоватое плато.

Федор провел рукой по гладкому астролиту шлема и вытер пыль.

Но видимость не улучшилась. Мягкая голубоватая дымка, на которую он обратил внимание еще утром, потемнела и плотной свинцовой завесой закрыла горизонт.

Федор присел на гладкий базальтовый валун немного передохнуть. Мешок с образцами был набит до отказа, а предстояло еще спускаться на самое дно котловины и несколько километров тащиться к розовому плато.

Федор думал о земле, о лесе, о сестренке Глафире, и все окружающее казалось ему нереальным. Он представил себе, как в грозовую ночь идет по скользкой раскисшей тропинке вдоль высокого берега Оки. Рюкзак намок и стал еще тяжелее, жесткая осока путается в ногах, а тут еще заросли зонтичных высотой с человека или сплошные кусты ивняка. Темно, хоть глаз выколи. Только в ртутном свете молний внезапно вспыхнут вокруг белые мокрые листья. Федор идет, мучается, чертыхается и в то же время знает, что все это пустыки, охота пуще неволи, и где-то совсем рядом светлая веранда, стол с белой скатертью, черное вишневое варенье в розеточках и старинный серебряный самовар. Но он идет, чтобы провести ночь где-нибудь в лесу, просушивая одежду у чудом разведенного костра. Этот костер, его непередаваемый запах и гудящее голубое пламя в мохнатой еловой лапе — драгоценная награда и вожаденная цель. Федор продирается сквозь кусты, хлюпает ногами в невидимых болотах и думает только о костре. А у костра он будет думать о туманном утре, о первых солнечных лучах, путающихся в стволах, и о спрятавшихся в росистой траве грибах. А какой будет клев! Что может сравниться с внезапно дрогнувшим поплавком!

В теплой недвижной воде лениво разбегаются круги. Над ней еще стелется пар. А камыши — те просто залиты молоком. В них что-то плещется и полощется,

бормочет и шуршит. Жирная вода в черных туманных камышах и рогозах. Там прячутся утки и выдры, щуки жрут рыбью мелочь, лягушки мечут крупную икру.

Федор вздрогнул и вскочил. Над котловиной поднялся огромный столб, окутанный тяжелыми облаками. Черная, закопченная сигара какой-то миг висела в воздухе, опираясь на этот столб, и вдруг исчезла. Только где-то высоко-высоко можно было различить меркнувшее световое пятно.

Федор почувствовал, что у него вспотели руки. Стук сердца отдавался в ушах, в горле пересохло. Он все еще стоял, задрав голову вверх. Но в бездонном серебристо-фиолетовом небе уже ничего не было видно. Над котловиной все так же бушевали грозы. Розовое плато едва виднелось, окутанное двойной пеленой непогоды и дыма.

Потом Федору стало стыдно за свой испуг, и он поспешил успокоить себя: «Если Лешка Теренин взлетел, значит, это было необходимо. Может, ему пришлось спасать корабль от какой-то внезапно нахлынувшей беды... Не ждать же, пока я дотащусь со своим мешком...»

Но отогнать смутное чувство тоски, которое холодной струйкой просочилось куда-то под самое сердце, было труднее. Федор представил себе весь трагизм и ужас положения. Он один на неисследованной планете. Только что неизвестно куда улетел планетолет, и у него, Федора, нет ни малейшего шанса вернуться на Землю. Ему опять стало страшно.

Федор сел на тот же черный базальтовый валун и взглянул на висевший у пояса скафандра манометр. Воздуха было еще часов на тридцать. «В самом худшем случае это продлится тридцать часов», — подумал он и внезапно совершенно успокоился. Он нажал на кнопку, и к его губам придвинулась теплая пластмассовая трубка. Выпив немного бульона, он лег, чтобы сэкономить побольше воздуха, и стал ожидать возвращения Алексея.

Когда в наушниках сквозь шум и потрескивание выплыл знакомый голос Алексея, Федор решил, что стал жертвой слуховой галлюцинации. «Не мог же он возвратиться так скоро», — подумал Федор.

— Федюшка! Где ты? Произошло несчастье! — кричал Алексей.

Но Федор молчал. Ему было радостно и стыдно.

Не улавливая смысла обращенных к нему слов, он

упивался их музыкой. Он еще не мог осмыслить всего, что произошло. Несоответствие между недавно стартовавшим планетолетом и этим живым близким голосом еще не коснулось его сознания.

— И как это я мог подумать, что Лешка меня бросил здесь... Даже если нужно было спасать корабль, даже если сто тысяч раз нужно было улететь... — тихо шептал он, счастливо и глупо улыбаясь.

— Чего ты там молчишь?! Настройся поточнее! — Голос Алексея стал сердитым. — Несчастье произошло. Слышишь?

— Да, слышу! — ответил Федор.

Он был рад, что Алексей не слышал его слов и вообще не знает, о чем он тут думал, когда валялся на рокочущей от подспудных вулканических сил почве.

— Немедленно возвращайся! «Вечер» улетел...

— К-как ул-летел? Сам?!

До сознания Федора еще не доходила реальность обстановки. Воображаемое несчастье настолько сильно отпечаталось в нем, что никакая действительная беда уже не могла взволновать его сильнее.

В спокойной обстановке Федор бы понял, что случившееся несчастье куда страшнее воображаемого. Если бы Алексей и поднял планетолет, спасая его от какой-то беды, то возвратился бы за Федором во что бы то ни стало. Тут не могло быть никаких сомнений. Теперь же на возвращение планетолета нечего было рассчитывать. У Алексея, как и у Федора, оставался весьма ограниченный запас воздуха, и оба они должны были неизбежно погибнуть.

Но Федор пока ни о чем не думал. Он был бесконечно счастлив, что он здесь не один, что где-то совсем рядом находится друг. Федор тихо засмеялся.

— Чего ты хохочешь, дегенерат! — закричал Алексей. — Понимаешь, что произошло?! — И тут же сказал тихо и мягко: — Что-нибудь случилось, Федюшка? Ты где сейчас?

Федор понял, что Алексей принял его смех за психический припадок. Такое бывает иногда вдали от Земли, особенно при сильном страхе.

— Все в порядке, Леша, это я так, про себя, ты не обращай внимания. Я у самой котловины. Жди... Скоро буду.

Федор с изумлением обнаружил, что все еще лежит в тени валуна. Он вскочил на ноги. Рядом валялся мешок с образцами. Теперь он был совершенно не нужен. Федор подумал об этом с удивительным спокойствием. Но, сделав два или три шага, он вернулся и поднял тяжелый мешок. Потом, подойдя к самому краю котловины, включил ракету и прыгнул вниз. Он проделал все это четко и деловито, как акробат, летящий из-под циркового купола на упругую и надежную сетку. Под ним ведь тоже колыхалась сетка непрерывно вспыхивающих ветвящихся молний.

* * *

Они сидели рядом, прижавшись друг к другу прозрачными астралитовыми шлемами, как будто это могло улучшить радиосвязь между ними. Вокруг крутились песчаные вихри. Песок стучал по скафандрам, поднимался смерчеобразными столбами до самых молний.

Вокруг была черная мертвая природа, от которой им нигде было укрыться. Запас воздуха должен был иссякнуть через двадцать два часа.

— Сразу же после того, как ты ушел, — рассказывал Федору Алексей Теренин, — я занялся гравиметрическими исследованиями в долине Ртутных озер. Не успел я установить приборы, как увидел их... креветок.

— Кого-кого? — удивился Федор.

— Не знаю даже, как тебе сказать... В общем, они похожи на креветок. Ты видел креветок?

— Ел.

— Ну и я видел в море. Так вот, эти создания очень напоминали креветок. Зелено-голубые, светящиеся, с красными точками. Их было несколько (штук десять или девять), сидели они на тех самых железных обнажениях, которые нас тогда так поразили. Помнишь?

Федор молча опустил веки.

— Обстановка там резко восстановительная, поэтому меня сильно удивило, когда я увидел, что вокруг креветок расплываются рыжие пятна ржавчины. Понимаешь теперь, откуда они черпают энергию для жизни? Я поймал четыре штуки, посадил их в контейнер и занялся своими приборами. Не успел я определить гравитационную постоянную, как контейнер исчез.

Федор молча слушал рассказ товарища. Он уже не удивлялся. Недавнее возбуждение сменилось абсолютным равнодушием ко всему, даже к собственной судьбе.

Алексей видел это. Его спокойствие было кажущимся. Мысленно он считал каждый удар сердца. Украдкой поглядывая на манометр, он думал, что нужно немедленно начать действовать. С каждой секундой все меньше оставалось шансов на жизнь. И все же он продолжал рассказывать спокойно и обстоятельно, чтобы дать Федору время прийти в себя.

— Представляешь, Федька, иридиево-осмиевый контейнер исчез, рассыпался, превратился в кучку окисленной пыли. Во какая мощь!

Алексей сжал руку в кулак и потряс им.

— Это меня заинтересовало, — продолжал он свой рассказ. — Я вернулся к кораблю и взял там несколько сфер из свинцового хрустала. Это те, которые мы прихватили с собой на случай, если найдем здесь необычные радиоактивные минералы. Знаешь, о чем я говорю?

Федор опять едва заметно кивнул.

— Ну так вот. Я наполнил их такой неактивной штукой, как высокомолекулярный стеклопарафин и бегом помчался назад. Пока я отсутствовал, проклятые креветки сожрали все обнажения подчистую. Вместо серебряных железных плоскостей я увидел рыжие холмы окиси. Креветки поднялись вверх по склону и принялись глотать кристаллы халькопирита. Три штуки, словно водомерки на пруду, скользили по глади ртутного озера. Они оставляли за собой окисленную дорожку. Я полез наверх, поймал трех креветок и поместил их в сферы. Они застыли там, точно залитые в жидкое стекло. На всякий случай я опустил сферы в дюар с жидким аргонном. Он и теперь там... Только дюар улетел вместе с нашим «Веспером» неизвестно куда.

— Почему корабль улетел? Почему? — Федор говорил уже не безучастно.

Алексей сразу это почувствовал. Он хотел уже было тряхнуть друга за плечи и сейчас же вместе с ним начать поиски путей к спасению, но потом решил еще немного подождать.

— Я не знаю, почему улетел «Веспер». Но кое-какие соображения на этот счет у меня есть. Мне важно знать, что ты думаешь обо всем случившемся. Вот смотри...

— Какая разница, Леша? Корабль все равно не вернешь, так не все ли равно нам, отчего он вдруг стартовал.

— Значит, поместил их в дюар, — продолжал рассказывать Алексей, словно не расслышав вопроса Федора, — и вернулся к своим исследованиям. Когда я закончил работу и уже собирался домой, то увидел недалеко от себя еще одну креветку. Я посадил ее в сферу, а так как в дюаре больше места не было, положил сферу в карман. Это была моя первая ошибка.

Уже около корабля я вспомнил, что сегодня день ухода. Конечно, мне нужно было дожидаться тебя, но я решил, что быстро управлюсь и один. Тем более, что по эксплуатационной карте сегодня требовалось только сменить горючее в стартовом баке и проверить систему питания. Все это я проделал довольно быстро. В стартовом баке горючего было на самом доннышке, и я решил просто его вылить. Это была моя вторая ошибка.

Алексей взглянул на часы и, помолчав, продолжал.

— Почему ошибка? — спросил он сам себя. — Дойдет очередь — объясню... Значит, слил это я всю элементосинтетику в автоканистру и полез проверять зажигание. Все было в полном порядке. И тут я вспомнил об этих проклятых креветках. Если они могли окислить осмий-иридий, то им ничего не стоило сожрать и наш «Веспер». Я не на шутку перепугался и решил принять меры. Я включил зажигание и замкнул его на корпус. «Теперь нам не страшна никакая коррозия», — подумал я тогда. И действительно, при постоянном притоке электронов никакие креветки не смогут направить процесс в другую сторону. Проведя все это, я переоделся, принял душ и позавтракал. Повалился полчасика с книжкой и решил немного вздремнуть до твоего возвращения. Но я так и не заснул. Очень уж мне захотелось узнать, что там мои креветки подделывают. Не съели ли они после ртутного озера и ту натриевую лужу, на дне которой лежит наш «Птенчик». Я быстро надел скафандр и помчался в форкабину. Когда открылся люк, я так резко выскочил наружу, что не удержался и упал. Что-то со скрежетом треснуло. Мне показалось, что треснул скафандр. Я ощупал себя пядь за пядью — все было в порядке. А раз все в порядке, то я и пошел куда хотел. И недаром я так рвался. Меня ожидал сюрприз. И ка-

кой! В блеске молний скупое сверкали железные плоскости обнажений. Будто и не было никаких креветок, а все это мне только померещилось! Представляешь себе мое состояние? Тут я вспомнил, что у меня в кармане должна быть сфера с креветкой. Я сунул туда руку, но карман был пуст.

Алексей посмотрел прямо в глаза Федора. В них теплились крохотные жгучие огоньки. «Как у мальчишки, слушающего фантастический рассказ», — подумал Алексей и взглянул на часы. Пять минут истекло.

— Вот что, браток, давай-ка собирайся. По дороге к Ртутному озеру я тебе все доскажу. Времени у нас с тобой мало, каждую секунду надо беречь. Сбрось с себя все лишнее. Возьмем только лазеры. Больше ничего не нужно.

Федор молча начал отстегивать карманы и ракетный ранец за спиной.

Через минуту они шагали по широкому языку застывшей стеклообразной лавы к Ртутному озеру.

— В кармане я нашел только осколки хрусталя, — все так же обстоятельно рассказывал Алексей. — Я сразу же вспомнил свое падение. Сфера лопнула, карман раскрылся, и... одним словом, я убедился, что креветки мне не привиделись. Конечно, в восстановительной атмосфере окисленное железо могло обрести свой прежний облик. Но не так скоро и не так полно! Я был здорово удивлен и заинтересован. И решил еще раз проанализировать состав этих железных обнажений. Я надеялся, что он должен был хоть как-то измениться в результате вызванной креветками метаморфозы. И я был прав! Ты делал несколько дней назад анализ этого железа и должен его помнить. Так?

— Помню, — согласился Федор.

— Сколько там было феррум пятьдесят семь?

— Ноль, тридцать семь промилей.

— Точно! — подтвердил Алексей и, помолчав, выпалил: — Теперь там нет, вообще нет радиоактивного изотопа железа.

Федор даже остановился.

— Ну давай, давай, нечего время терять. — Алексей подтолкнул его в спину.

— Понимаешь теперь, — продолжал он, — за счет чего они живут, эти твари? Окисляют металл, делят его

на молекулы окислов и выискивают среди них радиоактивные. Так осуществляется цикл ассимиляции. А диссимиляция, выделение, протекает у них как восстановление окислов до металлов. Только в условиях такой нищеты, как здесь, могла развиваться подобная жизнь. Перевернуть тысячи тонн вещества в поисках лишь одного грамма радиоактивной пищи! Нет, на это природа может решиться, только когда исчерпаны все иные энергетические ресурсы.

Только я подумал об этом, как раздался взрыв и такой хорошо знакомый мне свист. Наш «Веспер» поднялся над котловиной и ушел в космос... Сам, неизвестно почему. Вот так-то, брат. Теперь у нас жизни только на двадцать один час. И нет у нас иной заботы, кроме «Птенчика».

* * *

Пункт телеметрического наведения, или просто «Птенчик», погиб в первый же день высадки. Он потонул в расплаве. Сначала все шло совершенно нормально. Точно на Гобийском испытательном полигоне в день инспекции. Как только «Веспер» лег на круговую орбиту, Федор включил гамма-эхолот и приник к осциллографу. Сигналы были очень нечеткими. Светящаяся изломанная линия напоминала своими очертаниями дальнюю стынущую в осеннем утреннем тумане гряду леса. Одновременно зримую и призрачную. Порою кажется, что там, на горизонте, вовсе не лес, а синие полосы рассветных облаков. Вот-вот из тумана выкатится умытое солнышко, и невесомая гряда растает вместе с тонким ледком, застеклившим маленькие черные лужи. На душе тогда бывает легко и грустно. Подобное же смутное чувство охватило Федора, когда он взял в руки френлоновую ленту осциллограммы.

— Что-то я не пойму здесь, Алешка, — сказал Федор, — то ли вода, то ли суша.

Алексей сидел за пультом кодатора и составлял программу для «Птенчика». Его сильные руки с набухшими венами уверенно мелькали среди великого множества разноцветных кнопок и рычажков.

— М-м, ну что там у тебя? — промычал он, не поворачивая головы.

Федор подsunул ему ленту под самый нос.

— Вот, смотри, — сказал он, удерживая ленту руками, чтобы она не скрутилась, — общий фон совершенно расплывчатый. Но вот эти отдельные скачки явно свидетельствуют о наличии электропроводящих энтузий.

— Да, похоже... Нечто вроде металлических платформ. А это какие-то непонятные простирания с разно-
слойным поглощением...

— На что же ориентироваться?

— Садиться придется вот на эти металлические платформы. Дай мне их координаты и вероятные отклонения.

Приблизительно через час данные гамма-эхолотирования были обработаны и включены в программу пункта телеметрического наведения. Алексей еще раз все тщательно проверил и взялся за красный рычаг десантного устройства.

— Ну, пускать, что ли? — спросил он.

Федор молча кивнул головой.

Толстый и короткий указательный палец Алексея просунулся в спусковую скобу и, помедлив немного, нажал курок. «Веспер» отозвался легким встряхиванием и незначительным вибрированием. «Птенчик» полетел в плотную и мутную атмосферу незнакомой планеты.

Информация стала поступать почти сразу же. Вскоре исследователи уже имели исчерпывающие сведения о газовом составе и температуре верхних слоев, об увеличении градиента давления по мере приближения прибора к цели, о магнито-электрических потенциалах. Но они почти не следили за приборами. Затаив дыхание они ждали момента, когда «Птенчик» коснется поверхности. От характера этой поверхности зависел успех или неудача экспедиции.

Квантовые часы переливались россыпью то загорающих, то тухнувших лампочек. В рубке стояла тишина, которая казалась еще полнее и глубже от тихого жужжания приборов. Внезапно эта тишина наполнилась нежным и мелодичным звоном. Потенциометры второго сектора ожили. «Птенчик» благополучно достиг цели. Передаваемая им информация с молниеносной скоростью обрабатывалась в памятных блоках машин и поступала на каскады навигационного пульта.

— Полный порядок! — обрадованно сказал Алексей и стукнул кулаком по голубому пластику пульта. — Только десять процентов риска!

Сердце Федора учащенно забилося. Он почувствовал, как кровь прилила к вискам, обдала лицо сухим жаром и бессильно отхлынула. В груди что-то оборвалось и упало. Федор проглотил слюну и облизал сухие губы.

— Неужели все-таки сядем, Алешка? А? — почему-то не сказал, а прошептал он. — Неужели через каких-нибудь полчаса мы все это увидим?

— Ну конечно, увидим, чудак! Ты лучше послушай, что нас ожидает.

Федор видел, как шевелились губы Алексея, как он то улыбается, то хмурит брови и ожесточенно рубит воздух ладонью. До ушей долетали даже отдельные слова: твердый грунт, атмосфера, псевдогидросфера, высокая температура, расплавленный натрий и еще и еще что-то. Но он не понимал значения этих слов. Он жил ощущением приближающегося чуда, готовился к встрече с удивительным. К действительности его вернул окрик Андрея:

— Ну чего ты молчишь? Я к тебе обращаюсь!

— А? Что? Прости, пожалуйста, это я так просто... О чем это ты?

— Мечта-а-тель! — скривив рот, протянул Алексей. — Место для посадки выбрано отличное. Все, как предполагается, только вот не нравится мне сейсмоспектр. Опасность, правда, небольшая, извержения не предвидятся, но почва все-таки трясется...

— Ну и что?

— Как -- ну и что? Садиться будем?

— А как в других местах?

— Это самое лучшее.

— Значит, сядем здесь. Да? Ты-то как думаешь?

— Десять процентов риска. Можно рискнуть! Ну иди ложись в кресло

Алексей включил автоматику и тоже пошел ложиться в кресло. С этого момента «Веспер» подчинялся только сигналам «Птенчика».

Посадка прошла идеально. Федор прильнул к экрану, его расширенные зрачки, как линзы в фокус, вбирали в себя картины неведомого мира. Но как беден был этот мир! Вокруг были лишь камни и кипящие озера легко-

плавких металлов. Скупым хмурым блеском отсвечивали ровные грани каких-то гигантских кристаллов. Из миллионов трещин сочились струйки густого дыма. В самом центре экрана Федор различил причудливый силуэт «Птенчика». Прибор неподвижно замер у подножия невысокого холма. Слева от холма темнела расщелина, похожая на огромную черную каракатицу.

— Прибыли, Алешка! Прибыли! — радостно закричал Федор.

— Ну и прекрасно. — Алексей, как всегда, напускал на себя олимпийское спокойствие. Но Федор понимал, что он так же ликует и удивляется.

— Возвращай «Птенчика» на борт! — приказал Алексей.

Федор с замирающим от счастья и нетерпения сердцем сначала отключил автомат, а потом линию обратной связи. Проделав все это, он получил сигнал возвращения.

«Птенчик» зашевелился. Точно надкрылья майского жука, раскрылись листы внешнего кожуха, и показались мощные гусеницы. «Птенчик» развернулся на левой гусенице и неторопливо пополз к планетолету. Но не прошел он и ста метров, как из-под земли ударил тугой фонтан расплавленного металла. Почва треснула и расплылась, открыв сверкающую поверхность. «Птенчик» провалился в расселину. Тяжелая зеркальная жидкость невозмутимо сомкнулась над ним, и он исчез. Ни кругов на поверхности, ни пузырей из глубины. Федор бросился к пульту и включил обратную связь. Но «Птенчик» молчал. Металл полностью поглощал направленные радиоволны. Связь между планетолетом и пунктом наведения была прервана. Там, где минуту назад виднелся «Птенчик», поблескивало маленькое озерцо расплавленного натрия. В восстановительной атмосфере планеты поверхность его не мутнела. Она сверкала бесстрастно и грозно.

* * *

Когда астронавты достигли долины Ртутных озер, воздуха у них оставалось еще на восемнадцать часов. Где-то глубоко в недрах планеты klokотали грозные силы. Почва под ногами едва заметно дрожала. Натриевый расплав был спокоен.

Федору смутно мерещилось, что все случившееся с ними за последние несколько часов — лишь какой-то смутный отзвук неведомо где шумящей жизни. Все казалось нереальным и болезненно застывшим. Он вдруг подумал, что восемнадцать часов, которые им оставалось прожить, — это не так уж мало. Нет, это удивительно много! Эти часы растянуты, как годы неестественно обостренного бытия. Он, Федор, не беднее любого из жителей земли. Какая, по сути, разница — годы привычной, налаженной жизни или вот эти неповторимые секунды в чужом, враждебном мире?

Как всегда, из оцепенения его вывел голос Алексея: — Федюша, измерь-ка глубину каньона и крутизну его северо-западного откоса.

Алексей с неизменным спокойствием и деловитостью налаживал свой лазер. Федор давно уже понял, что Алексей нисколько не рисуется своим спокойствием. Оно так же присуще ему, как непрерывная жажда деятельности. Здесь была четкая взаимосвязь. Работа рождала спокойствие, спокойствие требовало новой работы.

«Интересно, — подумал Федор, — какое у него было бы выражение лица, если бы он совершенно оказался без дела?»

— Ну что ты стоишь? Выполняй!

Федор вздрогнул:

— Какой откос, какой каньон? Что ты плетешь? Меня отвлечь хочешь? Да?! Не беспокойся, сумею умереть не хуже тебя!

Федор кричал все громче и громче. Его захлестывала непонятная обида и нестерпимая злость к кому-то, кого он никогда не знал и, наверное, не узнает.

Алексей молча продолжал возиться с прибором. Наладив фокусировку, он вновь поднял глаза на товарища и так же спокойно спросил:

— Как, ты опять тут? Измерил?

Федор выругался, махнул рукой и побежал к каньону. Остановившись у самого края, он внезапно почувствовал, что успокоился. Не то чтобы он поверил Алексею. Нет, надежды у них не было никакой. Просто он понял, что беситься совершенно не к чему. И лучше, как Алексей, встретить смерть с оружием в руках.

Федор вспомнил о книгах, которые читал в детстве. В памяти, как облака на фоне закатного неба, вспых-

нули и пронеслись лихие конники, размахивающие клинками, автоматчики, прижавшиеся к стенам разрушенных домов.

Забыв обо всем, Федор механически проделал все необходимые измерения и возвратился к озеру.

— Вероятно, есть какой-то большой смысл в том, что обреченные берутся за оружие, — неожиданно для себя сказал он. — Иначе как можно измерить подвиг восставших в концлагерях и гетто?

— Все это так, — спокойно ответил Алексей, не прерывая своего занятия, — но мы с тобой не обреченные... В этом все дело. Нужно только успеть достать ПТН. На это немного шансов, но они есть. Какой там уклон?

— Сорок градусов... Неужели ты надеешься?

— Да, надеюсь. Я хорошо помню, что, пытаясь спасти ПТН, ты включил обратную связь. Она так и осталась включенной. Значит, у нас есть шансы связаться с «Веспером».

— Да, но «Веспер», наверное, уже далеко. Пока он вернется... Мы не дождемся, не дождемся.

— Это уже другой вопрос, — все так же спокойно сказал Алексей, — это уже область догадок. Может, и дождемся. Установи свой лазер на холме!

— Что ты хочешь сделать?

— Осушить эту лужу и достать ПТН.

— Ты собираешься испарять натрий в лучах лазеров? — Федор на секунду подумал, что Алексей помешался. От этой мысли ему стало действительно страшно. Может быть, впервые за все это время.

— Не говори глупостей. Мы проделаем канал в грунте. Совсем небольшой. Я все рассчитал. Отсюда до каньона семьдесят три метра. Расплав самотеком уйдет в каньон, и мы достанем ПТН.

— Да знаешь ли ты, сколько там этого натрия! — закричал Федор. — Да пока он вытечет, от нас останется лишь тухлая жратва для твоих креветок!

— В этом-то и весь риск. Девяносто девять процентов риска. Все же один шанс у нас есть, и мы обязаны его использовать. Это приказ и обсуждению не подлежит. Выполняй.

Федор послушно начал карабкаться на холм. Воздуха оставалось меньше чем на семнадцать часов.

С высоты холма озерцо казалось похожим на таз. Алексей уже включил лучевое орудие, и от озера к обрыву медленно, как улитка, поползла белая, нестерпимо яркая точка.

— Пойдешь от обрыва мне навстречу, — прозвучал в микрофоне голос Алексея.

— Хорошо, — ответил Федор.

Что было потом, он помнил плохо. Все застилал какой-то липкий горячий туман. Мышцы шеи и спины, казалось, готовы были разорваться от боли. Руки дрожали. Горячий едкий пот заливал глаза. Казалось, что он вот-вот переполнит скафандр. Федор хотел включить охлаждение, но, точно поймав на лету его мысль, отошел Алексей:

— Только не вздумай включить охлаждение — простудишься.

Федор ничего не ответил. Он только проглотил немного бульона. Гортань свело болезненной судорогой. Федор поморщился и облизал языком воспаленное нёбо. И опять потянулись часы величайшего напряжения. Сквозь поляроидный фильтр Федор видел, как две яркие точки медленно ползут друг другу навстречу. Расстояние между ними постепенно сокращалось. Глаза стали сухими, моргать было больно. В распухших веках при каждом движении появлялась резь.

— Медленно води луч, — сказал Алексей, — канал должен быть с уклоном.

— Хорошо, — ответил Федор и поднял вверх сначала одну руку, потом другую, чтобы отхлынула кровь.

Потом он уже не отличал реальности от бреда. Он не мигая следил за ползущими звездами, и глаза его, казалось, тоже прожигали грунт.

Когда расплав побежал наконец по каналу и первый сверкающий каскад металла хлынул в каньон, запас воздуха был почти исчерпан. Его оставалось меньше чем на четыре часа.

Федор по-прежнему не выпускал из рук лучевое орудие, и над зеркальной нитью канала подымалось желтое облако. Это обращался в пар бегущий по каналу натрий. Алексей с трудом отцепил от аппарата прикипевшие мертвой хваткой руки Федора. Федор покачнулся и упал. Алексей выключил лазер и склонился над другом. Он осторожно повернул его спиной вверх. Отыскал карманчик

под левой лопаткой, расстегнул его и нажал кнопку. В ногу Федора вошла тонкая длинная игла, впрыснувшая анабиотический раствор. Алексей перевел регулятор и понизил температуру в скафандре Федора до $+4^{\circ}\text{C}$.

После этого он вынул из гнезда ампулы с твердым кислородом и вставил их в свой скафандр. Теперь они могли продержаться еще часов семь. Чтобы расходовать поменьше воздуха, Алексей лег. Он ждал, когда весь расплав перетечет наконец в каньон...

* * *

Володя отложил папку в сторону, побарабанил пальцами по стеклу письменного стола и, подперев рукой подбородок, уставился в потолок. По нему медленно ползла вниз головой яркая тропическая ящерица. В окно залетела маленькая шелковистая моль. Покружившись вокруг лампы, она уселась под самым потолком и, пошевелив усиками, принялась обдумывать какие-то свои проблемы. Голубой капюшон на шее маленького дракона раскрылся, окраска ящерицы из зеленой сделалась малиновой. Молниеносно и бесшумно она бросилась к моли. Раскрылась маленькая розовая пасть, подобно часовой пружине выскочил свернутый в тесную спираль язык и вновь исчез. Моли на стене не было.

«Знает свое дело», — усмехнулся Володя и шумно вздохнул. Поймав себя на том, что он вот уже полчаса с интересом наблюдает за ящерицей, Володя по старой школьной привычке зажал ладонями уши и, нахмутив лоб, склонился над столом. Он написал запрос в Академию наук по поводу биологической активности и энергетических особенностей венерианских креветок. Потом позвонил в отдел снабжения химических предприятий. Он затребовал оттуда справку, откуда и когда на комбинат поступил диоптаз.

Минут через сорок справка уже лежала у него на столе. Ответ из Академии наук пришел только к концу дня.

* * *

«Отдел снабжения Лугового района. Сектор химической промышленности. Начальнику штаба общественного порядка Лугового района т. Корешову В. С.

На Ваш запрос (телефонограмма 13-72).

8/7 с. г. на химкомбинат «Металлопласт» было отправлено 62 тонны кристаллического диоптаза (кондиционного). Диоптаз закуплен у австралийской фирмы «Дейвис-Минерс энд Корпорейтед». Паспорт прилагается.

* * *

Академия наук Союза Советских

Коммунистических Республик.

Институт астробиологии.

Начальнику штаба общественного порядка

Лугового района т. Корешову В. С.

На Ваш № 13-72

Креветка Венерианская (*Efemeridium Venusae*), К. В., подотряд беспозвоночных эфемерид отряда псевдоракообразных. Головогрудь сравнительно короткая, брюшко длинное. Тело обычное, сжатое с боков, реже цилиндрическое. Голова вооружена направленным вперед лобным выростом панциря — рострумом и вместе с грудью покрыта единым головогрудным щитом, соединенным на спинной стороне со всеми грудными сегментами.

Передняя часть головы (протоцефалон), несущая стебельчатые глаза — антеннулы (первые усики) и антенны (вторые усики), отчленена от задней части (гнатоцефалона), несущей жвалы и челюсти и срастающейся с грудью. Антеннулы и антенны длинные. 1, 2 или 3 пары передних ходульных ног вооружены клешнями или подклешнями. Пять пар передних брюшных ног всегда хорошо развиты и служат для скольжения по поверхности расплавленного металла и передвижения на суше. К. В. раздельнополы, однако у некоторых К. В. наблюдается протандрический гермафродитизм, то есть особь после достижения половозрелости становится самцом, затем превращается в самку, а к концу своей жизни (у некоторых видов) снова в самца. Самка откладывает яйца на свои брюшные конечности, реже прямо в расплавленный металл. Из яиц выходит личинка, находящаяся на стадии зоса.

К. В. широко распространены в районе Розового плато Великой котловины, где и были впервые открыты

А. Г. Терениным. Этим, однако, их ареал ограничивается. В коллекции Института астробиологии имеется 2 К. В. Особенности жизни К. В. — см. приложение.

Старший научный сотрудник *Б. Каноненко*

* * *

П р и л о ж е н и е

Энергетический цикл К. В. складывается из окисления элементов до высокого окисла и последующего извлечения окислов нестабильных изотопов с сравнительно коротким периодом полураспада. Последние и являются источниками жизненной энергии К. В. После извлечения радиоактивных изотопов остальные изотопы вновь восстанавливаются из окислов. Продолжительность цикла от нескольких часов до четырех суток. К. В. легко переносят резкие температуры колебания (от 0 до 1300°K).

К. В., по некоторым данным, способны, понижая энергию активизации, окислять вещества даже на расстоянии без непосредственного воздействия. Жизненный цикл К. В. подобен цепной реакции. Под определенным воздействием К. В. взрываются, и их энергия высвобождается. В отличие от молекул взрывчатых веществ, К. В. не раздробляются на отдельные составные части. Разрывается лишь небольшая часть макромолекул К. В., а затем они восстанавливаются, реконструируются из образовавшихся при взрыве обломков.

К. В. обитает лишь в резко восстановленной среде. В присутствии кислорода воздуха они быстро гибнут, успевая, однако, совершить 1—2 цикла.

Младший научный сотрудник *С. Ленецкий*».

* * *

Володе все было совершенно ясно. Разгадка лежала на самой поверхности. Стоило лишь нагнуться и взять ее, чтобы все сразу же стало на свои места, и еще вчера таинственный и молчаливый мир вновь превратился в солнечный и привычный.

Володя не задумывался, почему именно он сделался избранником случая, почему именно к нему протянуты нити неведомого.

Постепенно в его мыслях стала выкристаллизовываться основная схема сложнейших причинно-следственных связей, которая вела к катастрофе на «Металлопласте». Эта схема ветвилась и обрастала плотью живописных подробностей и ослепительных мелочей.

«Сначала появляются эти проклятые К. В., — рассуждал Володя. — Они окисляют все без исключения минералы, вытягивают из них нужные изотопы и вновь восстанавливают окислы. Досадная небрежность Алексея Теренина плюс действие К. В., и ракета улетает без людей. С другой стороны — цепная реакция окисления на «Металлопласте» и встреча с автофургоном на шоссе. Два одинаковых следствия одной и той же причины. Так... Хорошо! Теперь посмотрим, как эта причина, или просто креветка, оказалась на «Металлопласте».

Федор подарил привезенную им с Венеры диковину Глаше. Глаша попала в Мак-Мердо. Профессор Кресби ведет какие-то странные эксперименты. Поскольку они непосредственно к делу никакого отношения не имеют, не будем обращать на них никакого внимания. Важно, что убежавшее от Кресби чудовище подхватило Глашину брошь, внутри которой была креветка.

Итак, креветка попадает на платформу с диоптазом, причем защитная оболочка, очевидно, разбивается. Далее. Диоптаз попадает на комбинат, и креветка, очнувшись после долгой спячки, принимается творить свои привычные дела. Хорошо, что наша атмосфера богата кислородом, а то проклятая К. В. могла сожрать всю землю. Все как будто бы логично и стройно. Теперь попробуем подвести итоги...»

Володя достал блокнот и собрался уже записать свою версию по поводу катастрофы на комбинате. Но его внимание было привлечено приглушенным голосом диктора местной трансляции. Володя повернул рычажок на полную мощность:

«...вершенно загадочный феномен. Это случилось сегодня утром на стадионе «Динамо», где проводились мероприятия районной спартакиады. Участники бега на дистанцию в три тысячи метров показали совершенно неожиданные результаты. Занявший последнее место школьник Петр Воротников побил мировой рекорд, установленный шесть лет назад гвинейцем Мбулу. Результаты же призеров забега просто фантастичны. По мнению

специалистов, они превосходят возможности, потенциально заложенные в человеческом организме. Интересно, что через три часа после забега ни один из участников не смог повторить свой чудесный рекорд.

Подробности об этом замечательном соревновании вы сможете узнать в нашем специальном спортивном выпуске в одиннадцать часов пять минут по первой и пятой программам».

Володя прослушал сообщение, пожал плечами и только собрался было протянуть руку к блокноту, как зазвонил видеофон.

— Товарищ Корешов?

— Да.

— Здравствуйте. Это говорят из лаборатории. Только что закончили анализ... Поразительная вещь...

— Все идет, как надо, — перебил Володя. — В изотопном спектре не оказалось нестабильных изотопов. Не так ли?

— Да, не оказалось! А вы откуда знаете?

— Знаю! Я даже больше знаю. Завод восстановится сам собой! Без всяких усилий с нашей стороны, как в восточной сказке.

— Вы... это, того, серьезно?

— Абсолютно серьезно! Настолько серьезно, что сейчас же распоряжусь удалить всех с территории и никого туда не пускать. Чтоб не мешали...

— Да, нужно обязательно установить там автокинокамеру. Ведь это же очень интересно... Как феникс из пепла.

* * *

Но феникс из пепла не воскрес. Металлы восстановились, а завод — нет. Он лежал пустой и далекий, как озеро, скованное рыхлым весенним льдом. Холодно поблескивали на солнце огромные пространства порошкообразного железа, тускло серел алюминий, в темных промоинах цемента красной чешуей отсвечивала медь.

Да никто и не верил, что может произойти чудо. Кроме Володи, конечно.

Итак, когда в один прекрасный день окисленная пыль восстановилась, все не могли прийти в себя от удивления.

Конечно, собранный Володей материал был весьма

убедителен, но чересчур уж все это было странно. Есть, знаете ли, в мышлении такая инерция, которую не так-то просто преодолеть.

Природа многолика, и наш ум просто не успевает следить за ее игрой.

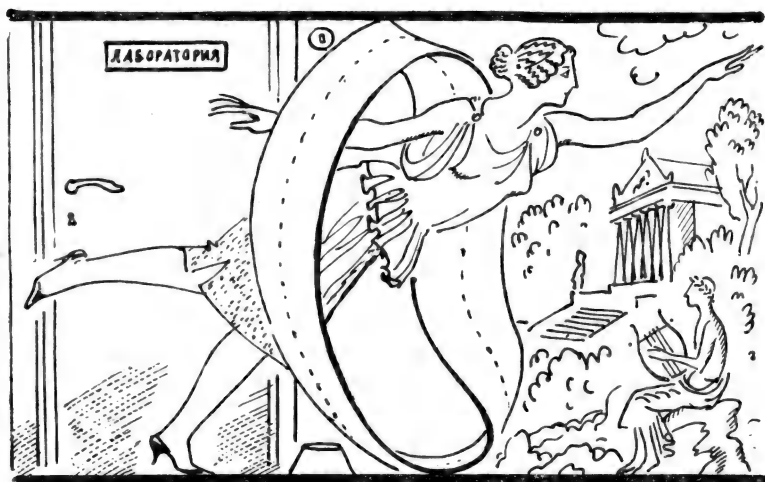
Вас, конечно, в этой истории конец интересует. А его-то и нет, конца.

Продолжается история зеленой креветки, разветвляется и углубляется.

Комбинат, конечно, жаль, что там говорить. Но думается, что использование некоторых свойств зеленой креветки сторицей окупит и потери и волнения. Ее жизненный цикл поразителен. Он отдаленно напоминает чудесное вещество АТФ, которое во всем живом мире служит единственным преобразователем и накопителем энергии: будь то работа мускула или размножение вирусов. И между взрывом на комбинате и случаем на стадионе есть глубокая связь. Корешов ее не заметил, пропустил, но кто-нибудь обязательно докопается, обязательно!

Хоть и коварна природа, но ведь и мы — люди — тоже природа!

Поэтому еще посмотрим, кто хитрей!



ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА

ДИАЛОГ

— И вы по-прежнему уверены, Рита, что опыт с петлей времени удался?

— Уверена.

— Но как же так можно! Вы же исследователь, а не какой-то там... ну, в общем, неважно... Чем вы это докажете?

— Прибор зарегистрировал суперпозиционный эффект петли.

— Опять вы про прибор! Да ведь эти ваши пики на ленте потенциометра легко истолковать и так и сяк. В лучшем случае это может считаться необходимым доказательством. Необходимым, но недостаточным! Вы понимаете меня?

— Я понимаю. А вот вы меня понять не хотите. Я же говорила вам, что вычерченную самописцем кривую обсчитали в счетно-решающем центре.

— Но вы же сами говорите, что ничего не видели. Так? Или теперь вы уверены, что видели?

— Ну, знаете... Если вы и дальше будете в таком тоне...

— Да нет же! Нет. Ну что вы, ей-богу... Мы же о деле говорим. Меня интересует, почему вы ничего не видели.

— Из-за этих нарушений сплошности. Связь была односторонней. Я уверена, что они меня видели!

— Тогда давайте спросим их! Что для этого надо? Машину времени, ковер-самолет, колоду карт для гадания? Что?

— Мне все же кажется, что разговора у нас с вами не получится. Вы даже не пытаетесь вникнуть в мои слова. Связь была. Для меня это несомненно. Пусть односторонняя, это не имеет принципиального значения, но она была. Временную поверхность можно изогнуть в фигуру. Петля Времени — физически доказанная реальность.

— Значит, всему виной нестационарные вихри?.. Послушайте, Риточка, вы когда-нибудь говорили по неисправному автомату?

— То есть как это?

— Очень просто. Бросаешь монету в автомат, набираешь номер, слышишь гудок — все нормально. Но вот ваш абонент снимает трубку и говорит: «Алло». Вы здороваетесь с ним, а он вас не слышит. Вы кричите в трубку что есть силы, дуετε в нее, а он все «алло» да «алло». Потом он говорит: «Перезвоните» — и вешает трубку. Вы тоже вешаете, и монета со звоном возвращается к вам. Автомат, как говорится, не соединяет. Не проглатывает монету, когда на противоположном конце провода снимают трубку. Что нужно делать в подобных случаях?

— Это вы популярно иллюстрируете мою идею об односторонней связи? Аналогия не очень удачная. Но не в этом дело. Если у меня, как вы говорите, не соединяет, я иду искать другой автомат. Мне понятно, к чему вы клоните. И я обязательно поставлю второй опыт. Починим установку, и я поставлю. Смею уверить вас, что добьюсь двусторонней связи. У меня будет... соединять.

— Ну что ж, очень хорошо. Тогда и поговорим. Жаль только, что ждать придется долго... А пример с автоматом я вам вот почему привел. Из собственного опыта я знаю, что, когда автомат не соединяет, по нему есть

смысл хорошенько стукнуть кулаком. Тогда монета провалится, и связь станет обоюдной... Мне не понятно, почему вы этого не сделали.

— Так ведь я попыталась! Я бросила всю мощность на ликвидацию нелокальности. И в этот момент перегорела установка.

ЦВЕТOK ИЗИДЫ

Орфей хотел невозможного. Тень Эвридики явилась ему под мрачными сводами пещер Эллады. Но он не смог вывести ее к лучезарному сиянию дня. Одержимый безумной надеждой, он сел на финикийский корабль, который направлялся в Египет, чтобы обрести высшее знание, перед которым отступает смерть.

Орфей сошел с корабля в мемфисском порту в месяце эпифи. Было время сбора фиг и винограда. Вода в Ниле упала на сорок пядей. Каналы высохли и источали зловоние. Горячий ветер пустыни припудривал серой пылью акации и оливы.

После церемонии царского посвящения, происходившей в тайных святилищах, новый фараон показался перед народом. Он взошел на большой золоченый щит, который осторожно подняли с земли двенадцать носителей опахал. Двенадцать молодых жрецов уже несли по главной улице на шитых золотом подушках знаки верховной власти: царский скипетр с головою Овна, меч, лук и булаву. Солнце играло на обритых головах жрецов, лоснилось на пантерьих шкурах, пронзительными стрелами срывалось с царских регалий.

Шествие замыкали двор и жреческие коллегии, сопровождаемые посвященными в большие и малые мистерии. Белые тиары и усыпанные драгоценностями нагрудники верховных жрецов в блеске и пышности соперничали с одеяниями придворных щеголей. Сановники двора несли знаки Агнца, Овна, Льва, Лилии и Пчелы, медленно раскачивающиеся на чеканных цепях над многоцветной, как крылья бабочки, толпой.

Орфей шел по узким кривым улочкам. Шум праздника становился все тише. Он знал, что с наступлением ночи тревога и безумие опустятся на город. По черной глади искусственных озер заскользят расцвеченные

огнями барки с оркестрами и мечущимися в священном танце обнаженными танцовщицами. Раскроются двери вертепов, а хозяева таверн расстелют ковры прямо на улицах, чтобы каждый мог подставить глотку под бьющую из бурдюка тугую красную струю. Заклинатели змей, фокусники, глотатели огня, атлеты, танцовщицы и жрицы любви доведут накал страстей до неистовства.

Скоро, скоро снизойдет на город душная томительная ночь.

Орфей пересек оцепеневший город и вышел на широкую пальмовую аллею.

От дельфийских жрецов он слышал о Книге Мертвых, таинственном свитке, который клали под голову мумии, перед тем как закрыть саркофаг. С жадным вниманием и затаенной дрожью слушал Орфей повествования о долгом странствии Ка¹ после смерти, об изнурительных страданиях в подземном огне и очищении астральной оболочки. В его воображении вставали картины дымящейся Леты. И словно сами собой слагались тогда лучшие строки его трагедии.

«...Когда я тело ее увидел, сжигаемое в погребальном огне, когда урна скрыла пепел ее и все исчезло, как следы на песке под пеной морской, я спросил себя: где же ее душа? И ушел в невыразимом отчаянии с переполненной чашей непролившихся слез. Я тогда обошел всю Элладу. Я молил жрецов Самофракии вызвать душу ее, я искал эту душу в глубинах земли, среди лунных лесов, среди гор, освещенных звездами, но нигде не явилась ко мне Эвридика. Под конец я пришел к Трофонийской пещере.

Через черную трещину я опустился до огненных рек. Мне жрецы рассказали, что здесь, под землей, люди часто приходят в экстаз, и у них пробуждается тайное око. Приближение этого мига легко распознать в затрудненном и частом дыхании. Наступает удушье, и горло немеет, только хрип вырывается тенью растаявших слов. Одни отступают в испуге и возвращаются с полпути, другие упорствуют и умирают среди желтых паров голубыми огнями сжигаемой серы. Остальные же сходят с ума.

Я дошел до конца. И увидел такое, что нельзя передать на людском языке. Я вернулся в пещеру и впал

¹ Так древние египтяне называли душу.

в летаргический сон. В этом мертвом, как черные воды, глухом нескончаемом сне и явилась ко мне Эвридика. Витала она в окружении сияний, бледная и нежная, как лунный свет. И слова ее падали в душу мою, прямо в сердце, минуя оглохшие уши.

Трижды хотел ее я поймать, и трижды она ускользала из моих объятий, неуловимая, как тень. Я сердцем услышал звук словно лопнувшей струны, и затем голос, слабый, как дуновение, грустный, как прощальное касание губ, прошептал: «Орфей!»

И я проснулся.

Дельфийские жрецы рассказывали Орфею о встрече Ка со злым кормчим, сидящим в лодке и глядящим всегда назад, и с добрым кормчим, смотрящим прямо в глаза; о суде, где душа держит ответ перед сорока двумя земными судьями; о ее оправдании Тотом и вступлении в преображающее сияние Озириса.

Орфей мучительно старался понять, какая истина прячется в этих рассказах, отделить высокую древнюю мудрость от мифа. «Озирис и Изида знают о том», — отвечали ему греческие жрецы. Кто же были эти боги, о которых жрецы упоминали, приложив к губам палец? Орфей чувствовал, что трепещущее пламя потустороннего мира сожжет его, если он не получит ответа на свои вопросы. И он сел на финикийский корабль, идущий в Мемфис.

Солнце уже закатилось. Над высокими пилонами загородных храмов поднялась огромная медная луна. Длинные тени пальм легли на дорогу. Из пустыни доносился плач шакалов. В воздухе кружились летучие мыши.

Пахло бродильными чанами и подсыхающей тиной каналов.

Орфей подошел к воротам храма. Развязал мешочек с пеплом погребального костра и посыпал голову. Потом разулся и припал грудью к горячей и сухой земле. Она пахла нежной, чуть горьковатой пылью и солнцем.

Оставив сандалии на дороге, он подошел к самым воротам и, взяв в руки бронзовую колотушку, постучал. Глухой и печальный звон поплыл по лунным пространствам. Захлопали крыльями спящие на крышах птицы. Звук медленно угасал, как световая дорожка на воде в часы заката. Орфей закрыл лицо грубой холстиной и

прижался ухом к холодной меди ворот. Но ничего не услышал. Только кровь билась в висках.

— Кто стучится к нам в столь поздний час? — Голос слышался откуда-то сзади, не из-за ворот.

Орфей вздрогнул и обернулся. Никого. Только косые квадраты света и тени да черные силуэты колонн.

— Смертный, по имени Орфей. — Он ответил так, как научили его в Дельфах.

— Зачем ты пришел?

— Обрести свет познания.

— Какое у тебя на это право?

— Я получил посвящение в храме Юпитера. Участвовал в праздниках Диониса в Тэмпейской долине.

Открылась маленькая калитка. Перед Орфеем выросла фигура жреца. В лунном свете его белые одежды казались сделанными из алебастра. Он простер руки и тихо сказал:

— Войди. Да снизойдет на твою мятущуюся душу божественный покой, и да исполнится все то, о чем ты просил богов в смиренной молитве у врат этого храма.

Орфей припал к ногам жреца.

— Во имя того, кто есть, был и будет, — прошептал жрец, делая над головой Орфея какие-то таинственные знаки.

Служители подняли Орфея и провели его под портик внутреннего двора, толстые колонны которого были высоки, как ливанские кедры. Капители их тонули во мраке.

— Искренне ли твое желание обрести истину? — спросил жрец.

— Да, — тихо ответил Орфей.

— Готов ли ты принести свою жизнь на ее алтарь?

— Да.

— Что связывает тебя с миром?

— Ничего.

Жрец — Орфей мысленно называл его иерофантом¹ — подошел почти вплотную. Величие его облика, спокойствие лица и сверкающие глаза произвели на Орфея сильное впечатление. Он почувствовал, что от этого человека невозможно что-либо скрыть.

С трепетом ждал Орфей окончания этой короткой проверки. От нее зависело многое. Если иерофант сочтет его

¹ Иерофант (греч.) — жрец, посвященный в высшие тайны.

недостойным приблизиться к мистериям, то сразу же укажет на дверь. И тогда ни один египетский храм не откроет своих ворот перед Орфеем.

— Спокоен ли твой дух? — спросил жрец.

— Нет. — Этого вопроса Орфей боялся больше всего. Но он знал, что не сумеет скрыть правду, и ответил без колебаний: — Нет. Мой дух в смятении. И только вода из источника мудрости погасит снедающий меня огонь.

— Ищешь ли ты мудрости ради нее самой?

— Нет. Я ищу власти, которую дает знание Книги Мертвых.

— Зачем тебе эта власть?

— Я хочу вернуть к жизни женщину, которую люблю.

— А знаешь ли ты, что князь Гестатеф, когда прочел «чистую и святую главу Книги, написанную Голубым на алебастровой плитке, не приближался более ни к одной женщине и не ел более мяса животных и рыб?»¹

— Да.

— Тогда готов ли ты к тому, что знание убьет желание?

— Готов.

— Во имя того, чье дыхание наполняет мир зримый и незримый, иди за мной.

Орфей тяжело и медленно выдохнул воздух. Напряжение отхлынуло от него. Он вытер пот со лба и пошел вслед за иерофантом.

Они проходили через многочисленные портики и внутренние дворы, через аллею, высеченную в скале и открытую сверху, окаймленную обелисками и сфинксами.

Тусклый световой глянец лежал на исполинских ногах богов и богинь, лица которых едва угадывались в глубокой тени. Все же Орфей различил и бога Луны Хонсу с серпом на лбу, и Мут — богиню войны и неба, и Гора с птичьей головой, и бога-творца Хнума с головой барана.

Аллея кончилась у небольшого храма, служившего входом в тайные подземные святилища. Дверь, ведущая к ним, скрывалась огромной статуей Изиды. Лицо ее было закрыто, а у подножия холодным огнем светилась

¹ Отрывок из Книги Мертвых, глава LXIV.

Здесь и далее все гимны, клятвы, описания ритуала и т. п. заимствованы из подлинных источников.

надпись: «Ни единый смертный не поднимал моего покрывала».

Сердце Орфея сжала какая-то томительная тоска, тревожное и сладкое предчувствие грядущих перемен, которые сделают навсегда невозможным возврат к прежней жизни.

Иерофант остановился у статуи и коснулся пальцами двух колонн: из розового родонита и черного базальта.

— Здесь дверь в наши тайные святилища, — сказал он, поворачиваясь к Орфею. — Взгляни на эти колонны. Красная символизирует восхождение духа к сиянию Озириса; темная означает пленение его в материи: падение, которое может закончиться полным уничтожением. Здесь начало нашего учения, алтарь, на который приносят жизнь. Безумие и смерть встречаются здесь порочных и слабых духом, вечная жизнь, озаренная светом Озириса, ожидает за этой дверью сильных и праведных. Много легкомысленных юношей вошло сюда, чтобы не вернуться назад. Это — бездна, перейти которую дано лишь избранным. Подумай еще раз, прежде чем ступить за магический круг. И если твое мужество несовершенно, откажись от своего желания. Ибо после того, как эта дверь закроется за тобой, отступление уже невозможно.

Это была традиционная формула, и Орфей спокойно и твердо сказал иерофанту, что его решение остается неизменным.

Жрец молча наклонил голову и магическим жестом запечатал уста Орфея. С этой минуты он не должен был ни с кем говорить. Потом жрец отвел его во внешний двор и передал служителям храма, с которыми Орфею предстояло провести неделю покаяния.

Молча и смиренно Орфей выполнял самые тяжелые работы, слушал гимны, участвовал в вечерних шествиях, производил омовения. Его золотистые кудри были срезаны бронзовой бритвой, и он уже мало чем отличался от младших жрецов и учеников.

Возвращаясь в свою келью, он каждый вечер находил на каменном полу охапку сухой травы, ячменную лепешку и кувшин с водой. Он зарывался лицом в сено, вдыхал его аромат, и ему представлялась, овеваемая ветрами Эллада, пахнущая укропом, полынью, мятой и лавром.

Он слышал, как шумят дубовые рощи на склонах

Кауканона, как многократно отражается эхо в скалах и замирает в базиликах храма Юпитера.

«...Привлеченный каким-то неясным предчувствием в долину Гекаты, я шел однажды зеленым лугом, где росли ядовитые травы. И в сердце прокрался ужас темных лесов, посещаемых вакханками. Станные дуновения касались щек моих, как горячее дыхание страсти. Я увидел Эвридику. Она медленно шла к пещере, не замечая меня. Легкий смех и вздохи доносились из рощи вакханок. Эвридика замирала, трепеща, нерешительная, только все же продолжала свой путь, влекомая властной магической силой. Золотые кудри спадали на дивные плечи, и блаженством и влажною синью светились глаза, точно не знала она, что влечет ее адское жерло. Небо заснуло в ее околдованном взоре. Я окликнул ее, взял бесильную тонкую руку: «Эвридика! Опомнись! Куда ты идешь?» Я ее разбудил от опасного сна. Как она испугалась! Закричала. Рыдая, упала на руки мои. И божественный Эрос нас обоих пронзил единой стрелой. Так мы стали супругами...»

Орфей застонал. В плошке с маслом еще теплился шаткий язычок пламени. Под сводами кельи шевелились тени. Тишина стояла такая, что Орфей явственно слышал удары собственного сердца. Или это стучал пульс у виска? Он отпил немного холодной воды из запотевшего кувшина и заставил себя заснуть...

Наконец настал вечер испытаний. Два младших жреца, или неокора, как называл их по-гречески Орфей, проводили его к двери тайного святилища. Они прошли через зал, скудно освещенный красноватыми огнями факелов.

В неверном, изменчивом свете лики богов казались живыми. Орфею почудилось даже, что бог воды Себек подмигнул ему красным глазом и раскрыл страшную крокодилию пасть.

Из бокового придела показались белые фигуры. Это было ночное шествие жрецов. Они пели тайный мистический гимн, который опять наполнил душу Орфея тоской и сожалением о чем-то прекрасном и навеки утраченном, невыразимом на обычном языке слов.

Пение смолкло, и Орфей снова остался наедине со своими провожатыми. Они прошли по узкому проходу, в конце которого друг против друга стояли мумия

и скелет. Между ними на белом, расписанном иероглифами алебастре стены чернело отверстие. Неокоры молча указали на него Орфею. Он нагнулся и вошел в коридор, передвигаться по которому можно было лишь на коленях.

— Ты еще можешь вернуться назад, — услышал он за спиной. — Дверь святилища еще не заперта. Подумай.

Орфей не ответил. Он знал, что одно лишь сказанное им слово закроет перед ним путь к посвящению.

— Во имя того, кто все сотворил, — сказал один из неокоров и подал Орфею зажженную лампу.

Орфей пополз вперед, каждый раз вздрагивая от гула и лязга захлопывающихся позади него дверей. Но звуки постепенно становились все глуше. Наконец наступила тишина. Такая полная, какой не было даже в каменной келье.

Вдруг пламя в лампе качнулось. Глухой замогильный голос прорыдал:

— Здесь погибают безумцы, дерзновенно стремящиеся к власти и знанию.

Благодаря какому-то акустическому приспособлению эхо повторило эти слова через определенные промежутки семь раз.

Орфей медленно продвигался вперед. Коридор постепенно расширялся, все более и более круто спускаясь вниз. Наконец перед Орфеем разверзлась воронкообразная пропасть. Все дороги назад были отрезаны, и он с замиранием сердца шагнул к бездне. На самом краю провала он увидел висячую лестницу. Лег на пол. Нашупал ступеньки ногами и стал медленно спускаться. Когда его нога, не встретив ступеньки, повисла в пустоте, он впервые решился заглянуть вниз. Под ним чернел бездонный колодец. Крохотная лампа бросала бледные блики в вечную ночь.

Это было похоже на ловушку. Орфей вспомнил глухие слухи, которым раньше не хотел верить, предупреждения жрецов, которым не внял.

И в ту минуту, когда со дна колодца поднялось и просочилось к нему в душу отчаяние, он увидел еле заметное углубление в стене. Цепляясь одной рукой за лестницу, он сунул в отверстие лампу и заглянул туда. Но порыв ветра задул огонек, и Орфей оказался в крошечной мгле. Тогда он бросил лампу и, нашупав руками от-

верстие, осторожно ступил. Сделав несколько робких шагов, он опустился на пол и пополз, руками ощупывая путь. Так дополз он до лестницы, которая спирально подымалась куда-то вверх.

Пока он карабкался по ступеням, чувство времени покинуло его. Он перестал сознавать, давно ли находится в подземелье. Иногда ему казалось, что очень давно. Почти всю жизнь.

Но где-то далеко вверху забрезжил свет. Сначала бессильный и чахлый, болезненно-зеленоватый, как плесень на стенах пещер, он с каждой новой ступенью становился все белее и ярче. Лестница привела Орфея к бронзовой решетке, за которой была широкая галерея, поддерживаемая кариатидами, держащими в руках хрустальные лампы.

Орфей зажмурился от яркого света и толкнул решетку. Бронзовые створки медленно раскрылись, и он пошел вдоль галереи между двумя рядами символических фресок. В каждом ряду он насчитал по одиннадцати алебастровых досок. Вырезанные на них фигуры и иероглифы были расцвечены золотом и яркими красками.

Я не обидел ни мужа, ни жены, ни ребенка.

Рук моих не запятнала кровь.

Я не ел нечистой пищи.

Не присвоил чужого имущества.

Не лгал и не выдал великой тайны.

Я достоин быть здесь, —

прочел Орфей, когда его глаза немного привыкли к свету.

В конце галереи его ждал жрец — хранитель священных символов.

— Ты выдержал первое испытание, и я приобщу тебя к тайнам, запечатленным на этих стенах. Но сперва подкрепись немного. — Жрец дал ему горсть фиников и чашу с холодной водой. Орфей молча поблагодарил его и присел на каменную ступеньку. — Под каждой из этих таблиц, — сказал жрец, — ты увидишь инкрустированные ониксом знак и число. Эти двадцать два символа изображают двадцать две первые тайны эзотерической науки. Это абсолютные принципы, ключи к той великой мудрости и власти, которую дает сосредоточение воли. Думай о вечности, и ты постигнешь смысл священных символов.

Орфей допил воду и поднялся. Жрец пригласил его пройти вдоль фресок.

— Принципы запечатлятся в твоей памяти благодаря их соответствию с буквами священного языка и с числом, отвечающим каждой букве. И числа и буквы выражают троичный закон, который находит свое отражение в мире божественном, в мире разума и в мире физическом.

Подобно тому, как палец, ударивший по струне теорбы¹, пробуждая одну ноту гаммы, заставляет звучать и все близкие ей тона, так глаз твой, созерцающий число, и голос, произносящий букву, и ум, сознающий все ее значение, вызывают силу, которая отражается во всех трех мирах.

Они подошли к таблице, на которой был изображен верховный жрец в белом облачении с золотой короной на голове и скипетром в левой руке.

— Белое облачение означает чистоту, золотая корона — свет вселенной, скипетр — власть. Это А, которой соответствует единица, — абсолютная сущность, из которой происходят все существа, и единство чисел, и человек — вершина земных существ... Я разрешаю спросить меня, если тебе не все понятно.

— Я понял твои объяснения, мудрый наставник. Мне неясно только, как знание тайной азбуки поможет мне проникнуть в мир теней.

— Не зная азбуки, ты не сможешь постигнуть великих наук, дающих власть и над страной мертвых. Перейдем теперь к следующей таблице.

Орфей вслушивался в монотонную, зачаровывающую речь хранителя священных символов, смотрел на бесстрастные лики богов. Его сознание было темно, как подземные коридоры. Только иногда вдруг вспыхивал какой-то огонь, рассыпающийся голубыми и розовыми искрами идей, образов, странных соответствий. Тогда ему начинало казаться, что он близок, необыкновенно близок к пониманию внутренней сути вещей. Что вот-вот оборвется темная завеса, из-за которой хлынет всепоглощающий свет.

— Запомни, что означает корона магов. Она символизирует людскую волю, которая, соединившись с волей

¹ Вид лютни.

божественной, вступает еще в этой жизни в круг силы и власти над всем сущим и всеми вещами.

Орфея вновь охватил мрак. Он хотел сказать жрецу, что все понимает и стремится лишь узнать, как именно можно соединить свою волю с божественной. И вдруг он подумал, что жрец ничего не сможет ответить ему на это. Жрец и сам не знает этого. Он в плену у мертвого знания, ключ к которому давно утерян. Ведь и в греческих храмах говорят о всетворящей воле, но никто не может вызвать ее из внутренней сущности мироздания. В древности египетские и халдейские жрецы могли творить чудеса, теперь остались только таблицы, которые никого не могут научить. Впрочем, и раньше, возможно, жрецы тоже ничего не умели. Это только миф, только красивая и манящая легенда. Они знают о стране мертвых больше, чем о соседних с Египтом Ниневии или Сидоне, но никто из них не хочет умереть раньше срока. Цепляются за жизнь, будто их ждет Эреб, а не свет Озириса. Да и бессмертия, которое иногда даруют боги героям, ни один из магов еще не сумел добыть... Неужели все это только страшный самообман, неведение богача, чье золото превратилось в золу! Но он же видел ее, Эвридику! Она приходила, когда он заснул, надышавшись серных испарений ада. Это же был не просто сон! Он чувствовал ее дыхание, и она говорила с ним. Говорила!

«Ради меня ты не боялся ада. Искал ты между мертвыми меня. И я пришла к тебе. Пришла, твой зов услышав. Знай, я живу сейчас не в огненных пещерах. Эреб — обитель мрака — мой удел. Кружусь я меж землею и луной. Немые и холодные пространства и зыбкая граница двух миров. И плачу я.

Плачу, как и ты, Орфей...».

И Орфей испугался. Он поддался чувству сомнения. Сомнение — это ржавчина. Она разъедает железо, но не смеет тронуть благородный металл. Его сердце из железа. Только слепая вера может укрепить его. Если он не обретет в этом храме великой мудрости, то навсегда потеряет Эвридику. А он позволил себе думать о чем-то другом, кроме тайного смысла букв и чисел, дал волю сомнению, ослаб в вере. Только бы жрец не заметил его слабости.

— Итак, запомни, освобождение духа — вот высшая цель, — закончил жрец объяснение. — Теперь подойди

сюда. — Он указал ему на толстую колонну, сделанную в виде цветка лотоса.

Когда Орфей подошел, жрец коснулся колонны рукой, и она раскрылась.

— Войди.

Орфей вошел в углубление, и колонна тотчас же закрылась. Он опять оказался в полной темноте. Пол под ним начал падать, и он почувствовал, что летит куда-то вниз. Наверное, мудрый жрец все же почувствовал, что он не крепок духом, и решил вышвырнуть его из храма, как гнилой плод, который не даст ни улады, ни зеленого побега. Но только Орфей успел это подумать, как падение прекратилось. Перед ним был узкий коридор, в конце которого полыхало пламя.

— Иди вперед, — раздался голос. — И думай о вечности, тогда пройдешь сквозь огонь, как по долине роз.

Орфей пошел. Но, когда серые хлопья пепла стали долетать до лица, он увидел, что костер — всего лишь оптический обман, создаваемый переплетением горящих смолистых веток, расположенных на проволочных решетках косыми рядами. Он быстро миновал огонь, успев почувствовать только его жар на щеках.

Потом ему пришлось преодолеть стоячую черную воду, окрашенную последними вспышками угасающего огня, проползти сквозь затянутый паутиной туннель и пройти мимо деревьев, с которых свисали черные уреи¹.

Все это уже не пугало, а только утомительно раздражало Орфея. Он все чаще думал о том, что не познает здесь никаких сокровенных учений, а Книга Мертвых, к которой он так стремится, на самом деле окажется лишь сводом схоластических мифов. И лишь надежда хотя бы еще раз в этой жизни увидеть Эвридику заставляла его преодолевать испытание за испытанием. Но потом и надежда ослабела, как стократно преломленный свет, просачивающийся в подземелье из каких-то тайных ходов.

Осталась лишь мечта, больная и неверная, заставляющая галлюцинировать наяву и стонать во сне от преследующих его кошмаров.

... Однажды за ним пришли два неокора и провели его в темный грот, где ничего нельзя было различить,

¹ Кобры.

кроме мягкого ложа, таинственно освещенного бледным светом бронзовой лампы. Здесь его раздели, умастили душистыми эссенциями и, завернув в льняные ткани, оставили в одиночестве.

Он растянулся на великолепном ложе, блаженно ощущая, как сладко ноют на пушистых коврах усталые члены. После всего, что он перенес, эта минута покоя показалась ему необыкновенно прекрасной. Священная живопись, черные обелиски, боги с головами зверей, крылатые змеи и сфинксы медленно выплывали из глубин памяти и пускались в какой-то дьявольский хоровод.

Но ярче всего перед его внутренним оком вставал десятый символ — колесо, ось которого висела между двух колонн. С одной стороны на него поднимался гений добра Германубис, прекрасный, как Антиной, с другой — бросался в пропасть злой Тифон. Их разделял сидящий на самой вершине колеса сфинкс с мечом в львиных лапах.

Заунывные звуки отдаленной музыки, которые, казалось, просачивались сквозь гранитные толщи свода, прогнали видения. Нарастающий металлический перезвон ласкал слух, а нежное журчание флейты и голубиные стоны арфы навевали дремоту. Орфей закрыл глаза и погрузился в синие глубины сна.

Он увидел реку и множество лодок на ней. Вершины гор, нежно окрашенные зарею. Темные ущелья, прорезанные пропастями, и сияющий на вершине лесистого холма храм Диониса. Со всех сторон спешат к храму толпы мистов, вереницы посвященных и женщины, тысячи прекраснейших женщин. И все приветствуют друг друга, потрясая миртовыми ветвями.

Раскрыв глаза, он увидел у своего ложа видение.

Прекрасная нубийка с ожерельем из амулетов протягивала ему увитую розами чашу. Ее смуглое тело лоснилось от масла, источавшего такой сильный и тревожный аромат, что Орфей почувствовал, как к горлу подкатывается душный комок, заставляющий дышать часто и коротко.

Браслеты ее тихо звенели. Каплями расплавленной смолы в полутьме мерцали глаза.

Она медленно подвигалась к нему, и все тело ее было в непрерывном движении, ленивом и томном, как солнечный свет на неподвижной воде.

— Разве ты боишься меня, прекрасный чужеземец? Я принесла тебе награду победителей — чашу забвения и наслаждений.

Орфей не мог понять, произнесла ли эти слова нубийка или они сами родились у него в ушах. Он потянулся к чаше и сразу же отпрянул назад, точно ожегся. Ему вспомнились рассказы жрицы мистерий Милитты.

Нет, он не склонится к влажным губам нубийки, не вдохнет тяжелое благоухание ее смуглых плеч. Иначе утром его встретит презрительный взгляд иерофанта, услышит слова, не оставляющие ни тени надежды:

«Ты вышел победителем из стольких испытаний. Ты победил смерть, прошел сквозь огонь и воду, но ты не сумел победить самого себя. Дерзнув взлететь на высоты духовного совершенства, ты поддался первому искушению чувств и упал в бездну низшей материи. Оставайся же навеки во мраке, раб плоти. Ты был предупрежден об ожидающей тебя судьбе. Жизнь будет оставлена тебе, но ты навсегда останешься в этом храме рабом».

Орфей приподнялся на своем ложе и оттолкнул чашу. Темная жидкость пролилась на драгоценные ковры и тонкой струйкой потекла вниз, на порфирные плиты.

«Я искал тебя в серном дыму, Эвридика. Среди горных провалов и в лесах, посвященных эллинским богам. Ты обещала мне блаженство и счастье, теперь только тень твоя ведет меня к истине».

Нубийка задудла висячую лампу и скрылась поспешно и тихо. Но недолго Орфей оставался один. Двенадцать неокоров с факелами в руках медленно окружили его ложе. Огонь трещал, и пузырилась смола, и густо дымили благовонные шарики кифи. Неокоры повели его в святилище Изиды. В темных переходах к ним присоединялись белые фигуры посвященных. Все пели торжественный гимн Изиде.

В залитом светом святилище их уже ожидала коллегия верховных жрецов. Неокоры один за другим погасили свои факелы и стали вокруг колоссального бронзового изваяния богини.

Увенчанная семилучевой диадемой Изида держала на руках младенца Гора и улыбалась спокойной всезнающей улыбкой. Перед богиней в пурпуровом облачении стоял глава иерофантов. Он повернулся к Орфею, простер

над ним магический жезл из электрона¹ и начал читать обет молчания и подчинения. Орфей повторял за ним грозные слова древней клятвы.

— И если не сдержишь своей клятвы, то будешь проклят! — возвысил голос первосвященник,

— Проклят... — печальным эхом откликнулись жрецы.

— И погибнешь...

— И погибнешь... — повторил хор.

— В этом, видимом, и в том, невидимом, мире.

— ...мире...

Орфей склонился перед жрецом и припал к свисающему до пола пурпуру. Жрец поднял его и каким-то другим, мягким и проникновенным голосом сказал:

— Приветствую тебя, как брата и будущего посвященного.

И все иерофанты повторили эти слова.

— Теперь для тебя начнутся длинные месяцы труда и учения, — сказал первосвященник, и Орфей, который только что явственно чувствовал на себе дыхание бога, тяжело вздохнул и поник головой без веры в сердце.

— Прежде чем подняться к Изиде небесной, ты должен познать Изиду земную, — продолжал жрец. — Ты постигнешь тайны растений и минералов, историю народов и государств, медицину, архитектуру и священную музыку. Ты не только станешь искусен в науках, но и преобразишься, достигнешь нравственной силы путем отречения. Человек может овладеть истиной лишь тогда, когда она делается частью его внутренней сути, естественным проявлением его духа. И не смущай себя понапрасну вопросами, не тревожь свой дух сомнениями. Все придет в назначенный срок. Маслина не созревает в месяце мехир и в месяце тот не расцветает фиалка. Всему свой черед. Работай и жди. Думай о вечности. Иди с миром.

Сколько раз предстоит еще Орфею разбиться о холодные равнодушные камни этих слов... Работай и жди. Жди и работай. И думай о вечности. Только о вечности, больше ни о чем.

Он еще раз склонился перед верховным иерофантом,

¹ Сплав золота с серебром.

но не выдержал и, проглатывая сотрясающие грудь рыдания, спросил:

— Когда же мне будет дозволено вдохнуть розу Изиды и увидеть божественный свет Озириса?

— Это зависит не от нас, — тихо ответил жрец. — Нельзя дать истину. Ее можно лишь обрести внутри себя или вообще никогда не найти. Мы не можем сделать тебя посвященным, ты сам должен сделаться им. Лотос долго растет под водой в черном иле, прежде чем покажет небу свой лиловый венчик. Не пытайся раскрыть лепестки божественного цветка. Все, что должно совершиться, — совершится; надо только терпеливо ждать. Работать и ждать. Ждать и молиться... Теперь иди...

...Окончился месяц тот и начинался месяц паофи. Вода в Ниле прибывала с каждым днем. Люди расплапали изображения крокодилового Себека. Священные ибисы шумно ссорились в зарослях папируса. Вспыхнула эпидемия бубонной чумы.

Но спокойно и торжественно плыли над Египтом душные ночи. Усыпанное звездами эбеновое тело богини Мут накрывало мир сияющей аркой.

Запрокинув голову, Орфей любовался ночью с плоской крыши храма. Ему казалось, что звезды тихо плывут над ним и тают во мраке, растекаясь серебряной пылью млечного пояса.

Может быть, где-то там, в равнодушных высотах, витает душа Эвридики. Мучительно стремясь разомкнуть круг земных форм, обрести новое воплощение где-нибудь на звезде Хор-Сет¹ или там, у горизонта, где тревожно пылает звезда Хор-Ка².

Ночь переливалась живыми искрами летучих насекомых, чадили дымные факелы стражи, дрожали звезды в зелено-черной воде. Воздух был густым и терпким, как настой. Пахло мятой и резедой.

Орфей как зачарованный пересек висячий сад. В терракотовых вазах росли апельсиновые кусты, карликовые алоэ, кедры, ребристые пальмы и мастичное дерево, листья которого жуют женщины, чтобы придать дыханию аромат.

И Орфей вдруг почувствовал суровое очарова-

¹ Юпитер.

² Сатурн.

ние одиночества. Точно его вдруг коснулось дуновение вечности. Ночь длилась, и до рассвета могли незаметно пролететь годы. Странное и целительное преображение ощущал Орфей. Сжигавшие его страсти угасали, как тени, а мысли о вечности и успокоении обретали плоть. И не было в мире другой реальности, кроме этих мыслей. И ему показалось, что ночь поглощает его без остатка, тело становилось невесомым и нечувствительным. Оно превращалось во что-то другое, чистое и возвышенное.

Он быстро сбежал вниз, пересек перистиль, белой тенью пронесся по темным галереям.

Остановился он у закрытых дверей святилища. Упал на гранитные ступени, прижался к ним лицом. И хлынули слезы. Он улыбался, точно не ощущал этого горячего и благодатного ливня. Все растворялось в этих слезах: желания, возмущение, тоска и сожаление. Он целиком отдавался божественному началу, отказывался от себя ради какой-то высокой и неизменной истины, перед которой все его порывы и взлеты не более, чем песчинка у подножия сфинкса.

— О Изиды, — шептал он, — душа моя — лишь слеза из твоих очей, и да падет она каплей росы на души других людей. Я хочу умереть, чтобы слиться с тобой. Дай мне стать искупительной жертвой. Светлой кровью сродниться с тернистой тропой.

И тут он почувствовал, что от него ускользает цель и ему не нужны ни власть, ни познание. Причастность к божеству, слитность с ним, полное растворение в нем и этот экстаз и слезы с улыбкой — вот она, его настоящая цель.

— Благодарю тебя, Изиды! Я обрел, нежданно обрел истину. Это ты направляла меня. Я пришел сюда совсем за другим... А зачем я пришел сюда?... Зачем я пришел?! — Он закричал, как раненый зверь, и гулкое эхо прокатилось по каменным галереям.

Он поднялся, шатаясь, закрывая руками искаженное болью, залитое слезами лицо.

— Что со мной делается? Я забыл о тебе, Эвридика. Я чуть не предал тебя. — Он беззвучно шевелил губами, но ему казалось, что он кричит и боги в дальних пределах отвечают ему хохотом. Он оторвал руки от лица, развел их в стороны, зашатался и упал на шершавый гранит ступеней.

Наутро его нашли почти бездыханным. Осторожно положили в теплую ванну, пустили кремневым скальпелем кровь, растерли благовонными эссенциями и отнесли в келью.

Впоследствии Орфей ничего не помнил об этой ночи и ничего не мог рассказать.

... Однажды ночью Орфея разбудил иерофант, который впервые встречал его у ворот храма.

— Звезда Изиды¹, — тихо сказал он, — горит прямо над храмом, и наши астрономы могут видеть ее из колодца даже днем. Близится миг, когда Изида приоткроет свое покрывало. Ты вступишь в общение с посвященными. Чистота помыслов, стремление к истине и сила отречения дали тебе это высокое право. Но никто не переступал порога Озириса, не пройдя через смерть и воскресение. Следуй за мной, брат. Тебе предстоит пройти через это.

Жрецы Озириса с факелами в руках повели Орфея в низкий склеп. Между четырьмя укрепленными на сфинксах колоннами стоял открытый саркофаг из черного мрамора.

— Ни один человек, — сказал иерофант, — не может избежать смерти, но не всем дано воскреснуть в свете Озириса. Ты же пройдешь через могилу живым и увидишь неземное сияние еще на земле. Ты останешься в этом саркофаге до появления света. Преодолев ужас, ты обретишь волю.

Орфей лег в саркофаг. Прикосновение к холодному гладкому камню заставило его вздрогнуть. Ему хотелось закричать от охватившей его тоски. Громко и страшно, чтоб лопнули уши и разорвалось горло.

Иерофант склонился над ним и коснулся ладонью глаз. Жрецы один за другим погасили факелы. Тени четырех сфинксов сгустились и шарахнулись в наступившую ночь. Орфей остался один. А тоска все нарастала. Она переросла в отчаяние и ужас. Будто неотвратимо рушился мир и все расплылось на первозданные элементы.

Они оставили его умирать. Последние дни он чувствовал себя все хуже и хуже. Непонятная слабость накатывала неожиданно, он начинал терять силы. Они опоили

¹ Сириус.

его отравой. Недаром вода, которую он пил в эти дни, имела странный горьковатый привкус. Наверное, это был медленный яд. Но зачем и за что?

Напрасно Орфей уговаривал себя, что это лишь традиционный обряд, последнее испытание перед посвящением. Тело не слушалось рассудка. Оно трепетало каждой жилкой, и будило, и подгоняло, и сгущало какой-то животный ужас.

Он, который не боялся ни богов, ни людей, певец и воин, бестрепетно спустившийся в подземное царство, трепетал теперь, как выброшенная на берег рыба.

Не смерть страшила его и не близость богов. С каждым ударом сердца от него уходила воля. Ему обещали всесокрушающую небесную волю, а пока отнимали земную, без которой человек перестает быть самим собой. Или это медленный яд отравлял его кровь, убивая все то, без чего нельзя жить на этой земле?

Вдруг послышалось пение, печальное и заглушенное: «Скорбите, скорбите, плачьте, рыдайте, без устали плачьте, так громко, как только вы в силах...»

Мужской хор затих. Но долго еще в воздухе плыла высокая скорбная нота:

«А-а-а-а...»

«Начало всех начал, — вспомнил Орфей, — буква, отвечающая числу «один».

Но только замер печальный отголосок, как вновь поднялась заунывная, разбегающаяся неутомимой тоской волна. Вступил хор плакальщиц:

«О достойнейший путник, направляющий шаги свои в страну вечности, как скоро тебя отнимают от нас!»

Орфей вслушивался в погребальное пение и силился понять, кого отпевают в этот ночной час. Потом вдруг понял. Отпевали его. Живого. Постепенно стынувшего в холодном саркофаге.

И ему стало жалко себя. Так мучительно жалко, что глущие слезы заволокли глаза. Они терзали их и никак не могли пролиться.

«Как прекрасно, как дивно то, что с ним происходит!..» — затянул еще один мужской хор.

«...будешь отныне в земле, обрекающей на одиночество», — рыдая, отозвались плакальщицы.

Но все покрыли высокие голоса первого хора:

«С миром, с миром — на запад... Иди с миром...»

Мы увидим тебя опять, когда настанет день вечности, ибо идешь ты в страну, единящую всех людей друг с другом».

Орфей страдал. Он прошел постепенно через все страдания агонии и впал в летаргию. Его жизнь последовательно разворачивалась перед ним в удивительно ярких картинах. Он все более и более смутно сознавал, где находится сейчас и что с ним происходит. И когда замерли звуки погребальных гимнов, он уже не знал, что лежит в склепе.

Во мраке вспыхнула блестящая отдаленная точка. Она сразу же приковала внимание Орфея, и он не мог больше отвести от нее глаз. Она росла, приближалась к нему, становилась ярче, но не освещала окружающую мглу. Наконец она придвинулась совсем близко. Превратилась в большую звезду, переливающуюся всеми цветами радуги и разбрызгивающую капли магнетического света. Потом она стала солнцем, ослепившим Орфея. И он понял, что видит Розу мудрости, бессмертный цветок Изиды.

Лепестки раскрылись, чашечка окрасилась багряным огнем, и Орфей увидел то, что выбросило его из саркофага и швырнуло на гранит стены. Он ударился об эту стену, как бабочка о хрустальный шар лампы, и медленно сполз вниз, обдирая о шершавый камень лицо и куда-то устремленные руки.

...Утром он нашел возле саркофага шкуру пантеры. Посвящение состоялось.

ОКОНЧАНИЕ ДИАЛОГА

— А! Очень хорошо, что вы зашли, Рита... У вас новая прическа? Очень оригинально. Это под какую же кинозвезду?

— Вы, как всегда, необыкновенно проницательны. Обычно так укладывали волосы женщины в Древней Греции.

— Вот как? Вам идет.

— Благодарю вас. Но я пришла поговорить с вами о другом.

— Пожалуйста. Всегда к вашим услугам.

— Речь будет идти о моем опыте...

— А разве мы с вами не все выяснили в прошлый раз?

— Нет. Не все. У меня есть новые доказательства, что опыт прошел успешно.

— Хорошо. Давайте их. Буду рад, если вы окажетесь правы.

— Вот они.

— Что это?

— Зарубежный иллюстрированный журнал. Взгляните на обратную сторону обложки.

— Ого! Это же ваша копия, Риточка! Только прическа здесь прежняя, лохматая, не эта прическа.

— Это мое изображение. Несколько стилизованное, разумеется, чуть искаженное, но несомненно мое. Вокруг не то лучи, не то лепестки.

— В чем тут дело?

— На девяносто второй странице есть большая статья об этом.

— Все же, в двух словах...

— На прошлой неделе на стене древнего мемфисского храма обнаружили неизвестную ранее стеллу. Ее-то вы и видите на обложке.

— Ну, а дальше что?

— Все.

— Не понимаю...

— Вот вам и доказательство.

— А если это только странное совпадение? Вы просто похожи на эту древнюю красавицу — и все.

— Дело в том, что еще несколько дней назад на этом месте была простая стена из песчаника... Вот здесь для сравнения представлен снимок этого места, сделанный всего месяц назад.

— Искусная подделка. Глупая шутка.

— Радиоуглеродный анализ показал, что краскам на этой стелле не менее четырех тысяч лет.

— Что там написано?

— «Из любви к ней надел я льняные одежды, и великое я получил посвящение, как венец на пути аскетической жизни. Из любви к ней коснулся магической тайны и измерил глубины священной науки. Из любви к ней прошел я пещеры Эллады, и могильные склепы прошел в пирамидах, и колодцы в священных египетских храмах. Я проник в недра смерти, чтоб жизнь обрести там. В оде-

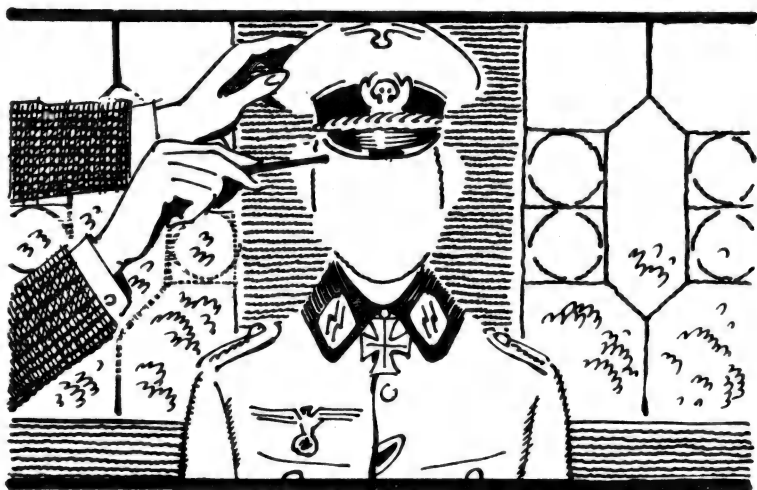
яниях мумий нашел я слова откровения. Стал я братом Изиды жрецов и Озириса иерофантов. У них были одни только боги, у меня же — Любовь. Ее силой я пел, говорил, побеждал.

Мне Изида вернула мою Эвридику. Я увидел ее в лепестках звездной розы. Я к ней руки простер, но она загорелась неистовым светом. И вот я обнимаю камни».

— Получается, что можно влиять на прошедшие события?

— Выходит, так...

— Ну ладно. Не будем больше об этом... Что вы делаете сегодня вечером... Эвридика?



ИДЕАЛЬНЫЙ АРИЕЦ

Юлиус Крюге получил записку еще утром и к трем часам дня уже сидел в кафе «Вихель». Он заказал кружку светлого пива и рогалики, посыпанные хмелем и крупными зернами соли. Вязкая белоснежная пена отражалась в глянцевом пластике стола. Крюге цедил холодное, чуть горьковатое пиво и думал о Максе.

После войны они почти не встречались. Макс ушел порядком хлебнуть горя в прошлую войну. Конечно, не все переживают свои обиды так долго. А Макс буквально задохнулся от горя, он до сих пор не может очнуться от страшных снов войны.

Крюге поднял голову и увидел Макса Штаубе. Он устало брел через зал, разрывая замысловатую паутину табачного дыма. Голова у Макса стала совсем седой, сетка морщин легла на лоб и на щеки. Всякий раз, когда Крюге видел это лицо, что-то тоскливо сжимало сердце. Крюге с трудом глотнул и приподнялся.

Макс сразу заметил художника.

— Дружище...

Они пристально всматривались друг в друга. Художник с досадой покачал головой. Макс выглядел очень неважно. Впавшие щеки словно подернуты пеплом. Добрые глаза смотрят растерянно и тоскливо.

— Послушай, Юлиус, — начал Штаубе и замолк. — Послушай, Юлиус, — опять повторил он, стараясь заглянуть художнику в глаза. — Я отыскал Нигеля.

Юлиус непроизвольно резко дернул плечом. Это могло означать и «неужели» и «черт побери» и выдавало его внутреннюю напряженность.

— Ну и что же теперь? Ты хочешь...

— Если б я нашел его лет пять назад, — задумчиво продолжал Штаубе, не глядя на художника, — тогда другое дело...

Он размял тугую сигарету тонкими пальцами (на левой руке их было только три) и посмотрел сквозь стекло на улицу, где проходили люди в плащах и легких осенних пальто и проезжали яркие автомобили.

— Я встретил его в прошлом месяце.

— И до сих пор!.. — воскликнул Юлиус.

— И до сих пор хожу за ним по пятам. Он преуспел. Весьма преуспел.

Крюге насмешливо и понимающе хмыкнул.

— Он снова стал важной персоной. Идеолог, оратор. Посредник. Чины, богатство, положение.

— Где он был?

— Где они все были... Латинская Америка, Испания, Турция...

— А ты искал его во Франции, Италии, Швеции! Не повезло тебе.

— Как всем, кто ищет. — Штаубе задумался.

Да, ему не повезло. Ему уже давно не везет. А когда это началось?

Штаубе уже не смотрит на друга, перед его глазами воскресает одна июньская ночь тридцать девятого года.

Среди других, более страшных, она вроде ничем не примечательна. И все же...

* * *

Они праздновали тогда день рождения Нигеля в кабинете старого Штаубе. Из высоких шкафов на них тускло смотрели золоченые переплеты. Они сидели за

письменным столом, заставленным бутылками и бокалами. Горки сизого пепла в тяжелых пепельницах, недопитый пунш. Тонкие ломтики янтарного с чернью сыра источали пряный запах, от которого слегка кружилась голова.

Занималось утро. Штаубе отчетливо представил себе узкое окно с решеткой, за которым солнце жадно сжигало рваные края облаков. Он на всю жизнь запомнил это окно, чугунный узор на фоне утреннего неба. Именно тогда ему в голову пришла эта мысль. Крюге был уже сильно пьян, но и он оживился, когда понял наконец суть. А Тюлов минуты три хохотал деревянным голосом, хотя ничего смешного не было, а было только интересно.

— Я сделаю его патриотом, — сказал Штаубе и начал развивать свои намерения: — Он станет у меня перwokлассным немцем. Трудолюбие, дисциплина, чинопочитание, послушание. Вера, вера и вера.

— Прравильно! — воскликнул Крюге. — И-и... этот, как его... идеализм. Кантианство, ницшеанство, гегельянство. Абсолютный дух — пуп вселенной.

— А он согласен? Нужно у него спросить. Эй, Нигель! — крикнул Тюлов.

— Он так не услышит, — улыбнулся Макс и нажал кнопку. — Далеко...

Через некоторое время за дверью послышались осторожные шаги, отрывистый стук, и на пороге появился Нигель. Он производил впечатление деревенского парня. Соломенные волосы, мешковатый костюм, румяные щеки и голубые глаза.

— Хорош! Bravo, Нигельхен! За твоё здоровье. Сегодня отмечается твоё рождение. Пропустишь рюмочку с нами? — Трое пьяных друзей хлопали его по плечу и дергали за рукава.

Парня это нисколько не смутило, он ответил ровным голосом:

— Добрый вечер. Благодарю вас. Благодарю вас. Я никогда ничего не пью.

— Ну, это ты напрасно, Нигельхен, — сказал Тюлов. — Макс, заметь себе, настоящий немец пьет без ограничения. Воспитывать так воспитывать...

— Ему вредно, — отмахнулся Штаубе. — Слушай, Нигель, мы решили сделать тебя человеком. Настоящим немцем,

— Идеальным, — добавил Крюге.

— Ты познаешь все, чему учили лучшие люди нашей нации, — продолжал Штаубе. — Ты будешь сильным, решительным, храбрым.

— Неумолимым, — сказал Тюлов.

— Согласен?

Нигель некоторое время молчал, потом кивнул головой:

— Как вам будет угодно. — Голос его был сухим и безжизненным.

— Ну, марш отдыхать!

После этого... Что было после этого? Штаубе напрягает память. Да, они принялись обучать этого болвана. Какая идиотская затея! Сколько сил было потрачено, сколько времени...

И однажды Тюлов сказал:

— А ты знаешь, Нигель обнаруживает вкус. Он терпеть не может диалектическую неопределенность. Любит конкретность.

— Нигель против Гегеля, — скептически заметил Крюге.

— Вот именно. Наш студент предпочитает «Заратустру». Особенно полюбились ему трактаты Шпенглера, приказы Мольтке, речи Фридриха и Бисмарка.

— Прикладной ум, преклонение перед целью... — начал было Крюге.

Но Штаубе перебил его:

— Друзья мои, это же знаменательно! Какую главную идею мы вкладываем в нашего дорогого ученика? Представление об абсолютном духе, присущее германской расе, как первой среди прочих. Вот фундамент, на котором строится мышление Нигеля. Сущность абсолютного духа заключается в постоянном движении вперед по пути совершенствования. А что такое движение?

Макс взял пожелтевший от времени бильярдный шар и положил его на стол.

— Если шар находится в состоянии покоя, для него не существует такого понятия, как направление. Все пути, по которым он может двигаться, равнозначны. Нельзя назвать каких-то запретных или преимущественных положений. Одним словом, покой есть покой и его нельзя сравнивать с движением.

— Тождественность; в конце концов, самая убедитель-

тельная вещь, — насмешливо заметил Тюлов. — Покой равен самому себе, и нечего от него требовать, чтобы он равнялся чему-то другому.

— Одну минуту, — поднял руку Макс. — Продолжу сравнение. Допустим, что этот шар символизирует человеческое общество. Тогда, если шар стоит на месте, общество тоже не сдвинется с места, ему будет совершенно безразлично, есть ли на свете такая вещь, как направление. Общество в состоянии покоя может допустить одновременное существование десяти партий. Каждая из них будет предлагать свое направление, но шар не двинется, пока не выберет какое-нибудь одно.

Общество, которое не двигается, загнивает и разлагается. Это хваленая демократия Англии, Франции и других. Развращенные нации, они обречены историей.

Абсолютный дух, живущий в нашей душе и крови, толкает немецкую нацию по пути совершенствования. Мы словно шар, жаждущий движения. Что нам нужно? Толчок! Сильная рука. Смелость выбора одного направления из бесконечного множества возможных. Этот выбор мы, немцы, уже сделали. Мы нашли того, кто направил шар в лузу.

— Как бы не вылететь за борт от такого толчка, — тихо сказал Крюге.

— Погодите! — прорычал Макс. — Теперь о Нигеле. Он очень хорошо ощущает дух нашего времени. Мне кажется, все, что происходит вокруг, как-то особенно близко Нигелю. Поэтому мне совершенно понятна его тяга к конкретному мышлению.

— Учитывая его происхождение, — улыбнулся Крюге, — вполне понятна его стихийная целеустремленность.

— Да, понятна, — подтвердил Макс. — Очень понятна, вполне очевидна. Для общества, нашедшего свой путь, необходима единодушная поддержка направления, раз оно уже выбрано. И Нигель чувствует это, ему неприятны бездейственные раздумья философов прошлого. Он становится... арийцем.

Воцарилась тишина. Крюге, подперев рукой щеку, рассматривал Макса, словно видел его впервые. Тюлов погасил сигарету, так что пепел и искры посыпались ему на пальцы, и прохрипел:

— Ты болван, Макс. Ты умный болван, Макс.

— Ты болван, Макс, — услышал он голос Крюге. — О чем ты думаешь?

Штаубе тряхнул головой. Нужно возвращаться к действительности. В кафе «Вихель», где он сидит со своим другом. В осень пятьдесят шестого года, где уже почти никто не помнит о прошлом. Не хотят помнить. Эти люди в серых плащах с замороженной белизной воротничков, они все забыли или делают вид, что забыли. И Крюге забыл. Нет, не забыл, он... смирился. Щеки в красных прожилках и усталый рот...

— Дело вот в чем, — сказал Штаубе. — Я решил ликвидировать Нигеля. Нет-нет, это не месть. Здесь все сложнее.

— Сейчас? После такого перерыва? — негромко спросил Крюге.

— Да, время — страшная штука, Юлиус. Но время не изменяет фактов. Изменяется только наше отношение к ним. Нигель должен был исчезнуть в сороковом, он исчезнет в пятьдесят шестом. Вот и все. И время тут ни при чем. В конце концов, я имею на это право.

— Ты выпустил его из своих рук уже давно. О правах говорить не стоит. Нигель — юридически и исторически зафиксированная личность. У тебя могут быть неприятности.

И тогда Макс сказал великолепную речь. Что на него нашло, Крюге не понял. Но запал у Штаубе был, и говорил он здорово. Крюге смотрел на улицу и видел, что наступает вечер и от высокого кирпичного дома напротив на асфальт упала длинная фиолетовая тень, через которую проскакивали автомашины.

Художник, словно сучая, прослушал монолог своего друга и, когда тот кончил, сказал:

— Ладно, идет. Где и когда?

Макс замолчал.

— Я не знаю, что такое добро, — вяло заключил Штаубе, — и где оно. Но я знаю, что есть зло. И его надо уничтожить. Тогда освободится место для добра. Нигель — это зло. Он должен погибнуть.

— Пустое, — сказал Крюге, наблюдая за фиолетовой тенью напротив. — Нигель не зло, а ошибка. Дефект мышления. Издержка развития. Мы его сами породили.

Просто мы не боги. Каждый раз создавая новое, мы развязываем мешок с чертями. Они влезают нам же на шею. Вот и все.

— Так ты поможешь?

— Еще бы, конечно, дружище!

Макс облегченно вздохнул. Молодец Юлиус.

— Он сегодня будет здесь, в вашем городе. Какое-то торжественное сборище недобитых.

— А-а-а, об этих я слышал. Могу показать тебе их нору.

* * *

Когда они пришли на центральную площадь Ноллингенштадта, перед отелем «Нация» уже стояла толпа.

— «Солдатский клуб» организует здесь свои пьянки каждую пятницу, — сказал Крюге. — Сегодня у них встреча по расширенной программе. К ним придут студенты.

По вечернему небу ползли низкие серые тучи. Несколько капель упало на берет Макса и скользнуло по щеке за воротник. Зажглись огни реклам, и на площади сразу стало тесно и уютно. Внезапно из боковой улочки донеслись звуки марша, послышался нестройный топот ног, и перед мужчинами прошли ноллингенские «бурши». Они были при шпагах, в маленьких черных шапочках, в белых чулках, шелковых накидках и коротких штанишках. Каждый нес в правой руке большой сверток с печатами на шнурах.

Из кафе вынесли длинный стол, а потом оттуда выпала толпа розовощеких плотных мужчин без пиджаков, в белых рубашках. Они быстро и деловито устроили что-то вроде трибуны, студенты расселись вокруг стола, и оркестр заиграл старинный марш.

Макс убрал волосы под берет. Голова у него слегка кружилась. Хотелось спать. Внезапно музыка смолкла, на стол взобрался маленький толстенький человечек и стал кричать. До Макса доносился его голос, прерываемый заунывной негритянской мелодией. На пятом этаже, над кафе, кто-то прокручивал магнитофонную пленку.

Давно забытое чувство, что так уже когда-то было, охватило Штаубе. «Все повторяется, — думал он, — все повторяется. И этот голос на площади, и темный костел, и эти парни с чистой кожей и глазами убийц. Все

это уже когда-то было. Уже случалось. И я стоял так же, согнувшись, вобрав голову в плечи, и покорно слушал и тупо думал. По небу, по черному небу, ползли тогда черные тучи, и вот они ползут сейчас. И этот малый тогда кричал, и вот он снова кричит, а я стою и слушаю. Так уже было, так есть и так будет. Время остановилось. Он кричит, а я стою и слушаю, замерзая на ветру. Всегда найдется один, который влезет на стол, где обедают, завтракают и ужинают другие, и начинает кричать. Он кричит, а те, у кого он забрал обеденный стол и кого он лишил обеда, стоят и слушают. Вот в этом вся штука. Если нам очень сильно и долго кричать, мы всегда будем слушать. Может, у нас выработался уже такой рефлекс. Привычка выслушивания, подслушивания и послушания. Может, это уже в нашем мозгу, в нашей крови.

Мы уже не можем иначе. Нас слишком долго тренировали. Это передается из поколения в поколение...»

— Вот он, — прошептал Крюге, дергая Штаубе за руку, — он у них сегодня самый почетный гость.

Теперь на месте оратора стоял Нигель. Он, конечно, не изменился. Румяное лицо и движения манекена.

«Вот кто не стареет, — равнодушно подумал Макс. — Мы все умрем, а он... Хотя нет, он тоже умрет. Очень скоро. Очень, очень скоро».

Макс сунул руку за борт пиджака и нащупал во внутреннем кармане плоский продолговатый ящичек. Металлическая поверхность была теплой и скользкой.

«Нигель, ты скоро умрешь. Ты очень скоро умрешь вот от этой штуки, которая уже целый месяц живет в подкладке серого пиджака».

Максом овладевают воспоминания. Да разве они когда-нибудь оставляли его? После войны он не расставался с ними ни на минуту. Память о прошлом застилала действительность. Он часами просиживал, безмолвно изучая трещины на стене. Ночами он стонал и кричал под тяжестью нерассказанных кошмаров. Так проходили годы, и самым страшным было то, что прошлое, жившее в нем, не умирало. Оно разрасталось, как рак, и захватило весь организм. Макс не противился, ему даже нравилось совмещать явь с умершими событиями. Вот и сейчас, глядя на очередного оратора и не слушая его, он ушел в воспоминания.

Макс в тысячный раз вспомнил, как тогда приехал Тюлов. По черно-синему потолку пробежали желтые квадратики, потом опустились на стенку и стали узкими, продолговатыми полосами. Когда они погасли, раздался осторожный стук в дверь. Макс удивился, почему Тюлов не звонит, но потом вспомнил, что это условный знак.

Осторожно ступая, чтобы не разбудить мать, спавшую в соседней комнате, Макс подошел к двери.

Когда Тюлов вошел со своей спутницей, Макса удивил ее маленький рост. Совсем ребенок. Нелегко ей...

Показывая комнату, где девушке предстояло ночевать, Макс обнаружил, что от ее одежды приятно пахнет свежим хлебом.

— Пекарня, — непонятно объяснил Тюлов. — Ида побудет у тебя дня два-три. Я переправлю ее дальше.

Макс включил нижний свет и посмотрел на гостью.

— Кофе? — спросил он ее.

Девушка кивнула головой. Макс пошел на кухню, включил газ и согрел кофейник. Он налил кофе в высокую чашку с золотыми листьями на ручке, затем он наполнил рюмку черно-красным кагором, взял бисквиты и отнес все это на подносе в комнату, где осталась Ида.

Тюлов уже ушел, и девушка была одна. Она как вошла, так и стояла посредине комнаты, не решаясь сесть. Она даже не подошла к большому зеркалу в углу комнаты. Это Макса особенно поразило.

Макс усадил ее и заставил все выпить и съесть. Когда она пила горячую жидкость, губы у нее становились пухлыми, лицо обиженным.

Макс курил и смотрел, как Ида пьет кофе. Ему было уютно. Он предложил ей еще выпить, но она отказалась.

На другой день, не предупредив мать, что у них будет жить девушка, о которой нельзя никому рассказывать, Макс уехал и вернулся только после полудня.

В столовой он застал Нигеля, который заглядывал в комнату Иды.

Дав ему пинка, Макс отправил его на место.

— Ты хоть и ариец, но здесь я твой хозяин, — сказал он Нигелю.

Тот долго и странно смотрел на него и ушел. Макс потер ушибленное колено и вошел к девушке.

Ида была бледной и встревоженной.

— Кто это был? Он здесь целый час торчал. Смотрит и молчит. Ужасный тип. Словно измеряет тебя.

«Именно это он и делает», — подумал Макс, но ответил нарочито бодро:

— Не волнуйтесь, это наш слуга. Он неполноценный.

При слове «неполноценный» девушка горько усмехнулась. Ей-то очень хорошо знакомо это слово.

— Как вам у нас? — спросил Макс.

— О-о, — сказала она и подошла к окну. — У вас такой сад!

Макс стал за спиной девушки и посмотрел в окно. На фоне чугунного узора он видел ее черную головку, покрытую копной вьющихся волос, от которых веяло теплом. За стеклом в сером тумане плавали большие, причудливо очерченные осенние листья.

— У моего отца тоже сад... был, — добавила она и назвала местность.

— Ничего, — неопределенно сказал Макс и смутился. Тоже утешение.

— Конечно, ничего, — повернулась к нему Ида.

— Нет, я о том, что все еще поправится.

— Вряд ли. Многое непоправимо.

— Да, конечно...

Макс вздохнул и отправился на кухню. Ему захотелось принести девушке что-нибудь повкусней. Он положил на тарелку большую отварную курицу и облепил ее крупными румяными картофелинами. Судок с супом, вино, сыр и мясо он отнес в комнату Иды, стараясь не встретиться с прислугой.

— Я буду есть здесь, чтобы вам не было так скучно, — сказал он девушке.

Она улыбнулась и кивнула. Когда она наливала себе рюмку, глаза ее сильно блеснули.

— Вы не обидитесь, если я задам один вопрос? — спросила она.

Он промолчал.

— Скажите, почему вы сейчас скрываете меня и... других. Ведь вы же были всегда с ними, с теми...

Макс долго молчал. Потом начал медленно говорить, словно прислушиваясь к своему голосу:

— Хороший вопрос. Я задаю себе его каждый день. И, знаете, у меня почти готов ответ. Да, я был с ними.

Я и теперь по-прежнему работаю на них. Только поймите меня правильно. Легко возненавидеть и проклясть, труднее разобраться в причинах и объяснить. Я был с ними, когда услышал об их идее. Динамическое общество, движимое сильной рукой, казалось мне удивительно удачным способом бегства из болота нашей буржуазной демократии. Мне казалось, что нацисты вели нас к победам и оздоровлению самыми короткими путями. Но, когда мне стало ясно, каким образом они реализуют свои идеи, я ушел от них. То есть, нацистом я вообще никогда не был. Но кое-что у них мне нравилось. . . Раньше. Сейчас меня, как ученого, интересует только источник ошибки. Где начинается разрыв между реальным и идеальным? С какого момента мы начинаем предавать идею и спасать свою шкуру? Я вижу пропасть, в которую мы катимся, и меня не интересует, попадем мы туда или нет. Мне важно решение только одной проблемы — почему мы начали катиться. Отгадать эту загадку можно, только постигнув философскую сущность явления.

«Какого черта я так разоткровенничался?» — подумал Макс.

Ида сидела, поджав под себя ноги, и серьезными, печальными глазами смотрела ему в лицо. Макс добавил:

— Сказать об этом можно многое. Но фарс еще не сыгран до конца, и нужно подождать.

— Будет поздно.

— Возможно. Вполне возможно, — сказал Макс, — но в том-то и прелесть человеческой жизни, что нельзя полностью предвидеть будущее. Когда человек научится это делать, ему будет очень скучно. И возможно, он даже умрет от тоски. Предвидимое будущее не менее опасно, чем наше непредвидимое.

Он ушел от нее, унося с собой что-то недосказанное. Вечером к нему пришла мать, провела брезгливо пальцем по пыльным книгам и сказала ворчливым голосом:

— Мой друг, ты идешь печальным путем твоего отца. Макс, ты знаешь, я ни во что не вмешиваюсь. Но я должна заявить тебе, что твой Нигель становится опасным. Ты даже сам не представляешь, насколько он опасен. Он был бы другим, если б ты вел себя иначе. В наше время человек, который говорит, что думает, и делает, что говорит, является общественно нежелательным явлением. Такой человек отравляет и развращает окружающих. Это

относится к тебе. Нигель уже раскусил тебя и взял твои шуточки на заметку.

— Ах, мамочка! — со смехом вскричал Макс. — Ну что такое Нигель? Ведь это же ничто. Ты права, я пустил развитие этого болвана на самотек. Зачатки идеализма трансформировались в нем в фашизм. Я искореню их. Завтра же Нигель пройдет операцию дезинтеллектуализации.

Мать поморщилась, она не любила сложных слов.

— Потом, — сказала она, поколебавшись, — эта девушка, которую ты прячешь... Все же надо такие вещи устраивать иначе. Ты не думаешь, в какое время мы живем,

— О, я только об этом и думаю, — сказал Макс.

— Это тоже очень плохо, — ответила мать и удалилась.

Ночью Макс проснулся от приглушенного стога. Ему показалось, что кто-то стукнул в стену. Набросив халат, он прошел в комнату Иды. Дверь была полуоткрыта, за нею все растворялось в иссиня-черной мгле. Макс шагнул вперед, нашарил выключатель. Свет вспыхнул, озарив пустую комнату.

— Ида, — негромко сказал Макс.

И вдруг увидел девушку. Она сидела на корточках между диваном и книжным шкафом. Плотнo прижавшись спиной к лакированной поверхности и охватив колени руками, она смотрела вперед открытыми неподвижными глазами. Бескровные губы были сжаты в серую ниточку.

Девушка беззвучно плакала.

— Тебя что-нибудь напугало?

Она покачала головой. Слезы полились еще сильнее. С большим трудом Макс уговорил ее лечь в постель. Под одеялом она казалась совсем маленькой.

Макс сел рядом и взял ее руку. Ладонь была теплой и влажной. Он не знал, что нужно сказать, и погладил ее слабые пальцы. Ему было жалко эту маленькую женщину, почти девочку, с тонкими ключицами и набрякшими от слез веками.

Когда она успокоилась и заснула, Макс ушел к себе и, ложась, подумал: «Что же ее так напугало? Воспоминание?»

Но этого ему никогда не удалось узнать.

Утром в дом ворвались эсэсовцы. Их привел Нигель. Он стоял в дверях, сложив руки на груди, и смотрел, как мать Макса трясущимися руками заталкивала белье в легкий дорожный сак.

Ида пыталась бежать через окно, но ее схватили и сильно избили. Она посмотрела долгим взглядом на Макса, и ему показалось, что она улыбается разбитыми в кровь губами.

* * *

Макс вздрогнул. Он вернулся к действительности: над площадью неслись черные тучи, точно дым от коптящих факелов.

Глядя на Нигеля, в такт своим словам размеренно взмахивавшего рукой, Макс подумал, что загадка осталась неразрешенной.

Концлагерь надолго отбил у него охоту к философствованию. Тогда он понял, что такое ответственность мышления.

«Почему нас так легко надувают? — думал Макс, разглядывая толпу перед кафе. — Каким чудом удастся обманывать целые народы? Мы, немцы, едва ли не самый интеллектуальный народ в Европе, попались на такой примитивный логический крючок. И снова идем на ту же приманку. Что это такое? Какие темные силы все время толкают нас в бездну? Кто решит этот вопрос?»

В это время Крюге толкнул Макса в бок.

Он кончил.

Друзья сели в такси и поехали за машиной, в которой был Нигель.

— Ты думаешь сделать это сегодня?

— Если удастся.

Они проехали почти до конца городка. Нигель въехал во двор, где стоял чистенький коттедж.

Макс отпустил такси, и они пошли по пустынной улочке, обсаженной редкими деревьями.

— Как ты думаешь, узнает он нас при встрече?

— Не сомневаюсь. Он ничего не может забыть. Даже мелочь.

Ночь была пустой и тяжелой. Максу стало госкливо. К чему все это? Других привязывает к жизни любовь и люди — у него осталась ненависть к Нигелю. Раздумья

о нем и о том, как все случилось, было огоньком в душе Макса. Обычно силы черпают из надежд, он добывал их из глубокого отчаяния. Уничтожить Нигеля означало конец тоски. Но боль — это все же еще жизнь. А пустота... Никакими мыслями нельзя наполнить пустую душу. Они там просто не держатся. Это дырявое сито — предвестник смерти.

Макс толкнул коленом воротца и сказал Крюге:

— Подожди меня здесь.

Крюге напряженно расхаживал вдоль забора. Художник был взволнован. Соучастие в убийстве человека. Правда, едва ли можно назвать Нигеля человеком. Кроме всего, он по всем законам, божеским и человеческим, заработал смертную казнь. Преступления тут никакого нет. Но все же... Юлиус всматривался в ржавую ленту дорожки, по которой Штаубе шагал к дому. Художник видел, как Макс поднялся на крыльцо. Донесся приглушенный клекот звонка. Дверь распахнулась, и Макс исчез.

«Все же я женат, и дети...» — подумал Крюге. Минут через десять Штаубе появился. Он спокойно вышел на улицу и, подойдя к художнику, сказал:

— Теперь можно сматываться.

— Бежим!

— Погоди.

Макс посмотрел на окно дома, которое внезапно озагорилось белым пламенем. Отрывисто рывкнул взрыв, и посыпались стекла.

— Пожалуй, не успеем.

— Ничего, давай!

* * *

Следователь Гюнтер досадливым жестом нажал кнопку звонка.

— Попросите Гольца.

В комнату развинченной походкой вошел молодчик лет тридцати.

— Послушайте, Альваро... Кстати, почему вас так зовут? Вы испанец?

— О нет, шеф. Эту кличку придумали друзья. И я присвоил ее себе как официальную.

Гюнтер пожал плечами.

— Присвоил. Ладно. Так что вы здесь написали?

— Где, шеф?

— Вот здесь. Прочтите. — Гюнтер протянул ему бумаги.

— «...установлено, что взрыв произошел в спальне, где находился господин фон Штеке. Следов трупа найти не удалось, так как непродолжительный, но сильный пожар уничтожил улики. Тщательная экспертиза обнаружила бронзовые статуэтки (2), каминные часы, сильно обгоревшие, настольную лампу, искалеченный взрывной волной радиоприемник неизвестной марки, набор каминных щипцов, железный остов спальной кровати, металлические приспособления для работы с горячими предметами...»

— Хватит, — прервал его Гюнтер. Он с яростью взглянул в голубые с водянистой каемкой глаза Альваро и сказал: — Как, по-вашему, улики могут сгореть? Не отвечайте. Мне ясно, что вы думаете. Теперь дальше. Скажите, что означает слово «тщательная» в определении работы экспертизы? Не то ли, что она с удивительной находчивостью обнаруживает каминные часы и остов спальной кровати и не находит даже следов трупа весом в сто килограммов? Не отвечайте, я знаю все, что вы скажете. Сейчас мы поедем туда и все начнем сначала.

— Но это невозможно, шеф. Дом, в котором останавливался фон Штеке, принадлежит Артуру Зоммергеймеру. Он уже отдал распоряжение начать ремонт в этой комнате.

— И вы, конечно, прекратили следствие? Скотина! Сколько он вам заплатил за это? Убирайтесь отсюда. Нет, погодите. Что с обвиняемым?

— Макс Штаубе по-прежнему отказывается от показаний. Он говорит, что даст их только на суде. От услуг защитника, которого прислал господин прокурор, он тоже отказывается.

— Хорошо. Ступайте и месяца два не показывайте мне свою физиономию.

* * *

Макс действительно отказывался от защиты. С него вполне достаточно одного допроса. Если еще пускаться в откровенности с адвокатом...

Ну что же, баланс сведен, нити оборваны. Больше ничто не привязывает его к этой жизни. То, что будет впереди, почти не интересно. Он человек без завтра. Но зато у него есть вчера. Пусть больное и сумасшедшее, но оно есть. С этим никто не хочет считаться. Даже Крюгер. Бедняга Юлиус, как он растерялся, когда взяли Макса. Глупая получилась история. Штаубе был опознан горничной Зоммергеймера. Через полчаса его схватили. Он особенно не огорчился. Неприятен только сам процесс. Нужно будет что-то говорить, напрягать мысли... Это самое тяжелое.

Макс откинулся назад и закрыл глаза. Воспоминание, как взрыв, обожгло мозг. Он явственно увидел серое небо, виселицу из свежеструганных бревен, раскачивающиеся трупы и среди них Тюлова. Они стояли на аппельплаце концлагеря, в лицо им дул мартовский ветер, от которого давило в горле. Макс помнит, как он твердил про себя: «Смотри, ведь это же Генрих, ведь это же толстый Генрих...»

Тюлова уже нельзя было назвать толстым. Навеки застывший в смертельной судороге, он напоминал обрывок струны. Макс с тупым равнодушием рассматривал виселицу. Ему было даже не страшно. Он просто стоял и вдыхал сладкий ветер. У него сильно болела голова, и к горлу подкатывал отвратительный комок...

— Штаубе, — провозгласил надзиратель.

Макс очнулся. Надо ехать в суд. Что же, он поедет. Он поедет и по дороге будет вспоминать чугунный узор уже не существующей оконной решетки и маленькую головку с черными жесткими волосами, пахнущими теплым хлебом.

Суд был как все провинциальные суды. С большими претензиями и маленькими возможностями. Вначале зал показался Максу пустым, хотя почти все места были заняты. Приглядевшись, он понял, почему у него возникло такое ощущение. Было очень много однообразно одетых мужчин.

«Неужели друзья Нигеля? Многовато...» — подумал Макс. Крюге среди них не было. Он должен был давать свидетельские показания.

Макс с самого начала отказался отвечать на любые вопросы, и ему было очень скучно. Но он не мог сосредоточиться и уйти в себя. Его раздражали голоса проку-

рора и судьи. Он стал забавляться, мысленно давая характеристики присутствующим. У фон Штеке, так именовался теперь Нигель, оказалась бездна знакомых. Большинство из них фигурировало в качестве свидетелей обвинения.

«Он много пьет, и все крепкое», — подумал Макс, слушая хриплый глухой голос очередного свидетеля. У денщика Нигеля была круглая голова, на которую явно не хватало волос. Жесткие белесые щетинки редкой порослью покрывали багровую кожу затылка. Внезапно денщик что-то сказал, и по залу прошло движение. Удивленный судья приподнялся с места.

— Свидетель, я попрошу повторить это место в ваших показаниях. Надеюсь, вы помните, что давали присягу и она обязывает вас говорить правду, и только правду?

— Я говорю только правду, господин судья. Я не один видел, как это произошло. Нас была целая рота охранников. Впереди в «опель-адмирале» ехал господин фон Штеке с тремя офицерами войск СС, а сзади — мы, на машинах. Когда мы съезжали с моста у этой проклятой деревушки Денвиту, «опель» свалился в воду. Я не знаю, кто был виноват. Офицеры были выпивши. Господин фон Штеке говорил, что это сделал шофер, и он прикончил предателя ударом кулака. У господина фон Штеке был смертельный удар, господин судья. В лагере он никогда не пользовался пистолетом. Если ему не нравился неариец, он ударом кулака расшибал ему черепушку, он колот их, как грецкие орехи. Это был настоящий немец.

— Свидетель, не отвлекайтесь. — Судья беспокойно ёрзал, ему явно не нравились эти экскурсии в прошлое фон Штеке.

— Так я и говорю, господин судья... Когда «опель» свалился в реку, мы бросились выручать начальство. Но машина уже ушла под воду, а там было глубоко, метра четыре-пять. Возились мы минут пятнадцать, а за это время господин фон Штеке по дну сам выбрался на берег. Только мы подняли машину на поверхность и стали доставать оттуда трупы офицеров и шофера, как видим: господин фон Штеке весь в водорослях, чисто подводный царь, вылезает на берег и грозит нам кулаком. Ну и струхнули мы. Это был настоящий немец, господин судья.

— Вы хотите сказать, что ныне покойный господин фон Штеке находился пятнадцать минут под водой? — бросил реплику Макс.

— Я не говорю — точно пятнадцать. Может, двадцать, а может, и двадцать пять. Это вещь нелегкая — доставать машину из воды, когда нет ни крана, ни тягача. Но уж, во всяком случае, не меньше пятнадцати.

— Вы тогда не заметили: на нем не было какой-нибудь маски вроде современного акваланга?

— Я отвожу этот вопрос, — сказал прокурор впервые за все время. — Он совершенно лишний.

— Простите, но я настаиваю на нем в качестве собственного защитника, — холодно и спокойно произнес Штаубе.

В зале зашумели. Судья взмахом руки разрешил свидетелю ответить.

— Дело давнее, я не помню. Думаю, что нет. Да и когда тут успеешь надеть акваланг? Машина ушла под воду, как грузило. Другое дело: скажите, когда он успел шофера по голове стукнуть? Для этого тоже время-то надо.

Макс ухмыльнулся. Вот оно что! Оказывается, кое-какие необыкновенные свойства Нигеля все же обнаруживались. Макс стал более внимательно следить за ходом следствия. Все свидетели, как один, подтвердили, что Нигель был настоящим немцем.

Но вот опять проскользнуло нечто, заставившее насторожиться публику. Свидетельские показания давал Фриц Бауэр, огромный светловолосый детина, подтянутый и щеголеватый, как на параде.

— Его повесили заключенные лагеря, как только пришли русские. Я видел это собственными глазами. Правда, мне некогда было разглядывать, но все же я готов поручиться своей головой, что фон Штеке висел на плацу в концлагере Туненвальде. Я видел его еще часа через два после повешения, когда выходил со склада.

— Что вы делали на складе? — спросил Макс.

— О, я там переживал опасный момент, а потом, переодевшись в арестантский халат, воспользовался помощью русских и перебрался на Запад. Года через полтора я встретился с фон Штеке в Аргентине. Он рассказал мне, что его вынули из петли ночью неизвестные

друзья. Но проболтаться столько времени в петле! Нужно обладать большим мужеством...

— Вам не кажется, что это физически невозможно? — спросил удивленный судья.

— Почему? Настоящий немец все может.

Макс почувствовал глухой прилив злости. Видит бог, он не хотел ни во что вмешиваться. Ему было наплевать на решение суда, они могли делать с ним все, что хотели. Но эти дураки вывели его из равновесия. Слушая, как Юлиус неумело и робко дает показания, Макс думал о том, что все оказалось страшно глупо. Он предусматривал трагедию, но не фарс. Тихая ярость сдавила его горло.

— Прошу слова.

Опять после долгих пререканий и сомнений подсудимому предоставили возможность высказаться.

— Я протестую, — сказал Макс, обводя глазами ряды, — против обвинения в убийстве человека. Франц Штеке никогда человеком не был...

— Подсудимый, я прошу выбирать выражения и не оскорблять память покойного. Вы превышаете даже свои полномочия собственного защитника.

— Это был автомат, построенный мной в тридцать седьмом году из металлов, пластмасс и разных органических веществ.

Зал взорвался. С большим трудом, под угрозой приостановить суд, присутствующие утихли.

— Доказательства! — вскричал судья.

— Вы ведь не нашли трупа, а обнаружили какие-то радиодетали и рычаги, не правда ли? Так вот, найденные вами детали и рычаги — это куски бывшего фон Штеке. Кроме того, у меня есть свидетель.

Заседание суда пришлось отложить на вечер. Судья и прокурор испытывали явное замешательство. Случай был из ряда вон выходящий.

В зале ожидания на Макса обрушилась небольшая, но необыкновенно назойливая группка репортеров. Макс отбивался от них как мог.

В это время в комнату, где совещались судебские власти, кто-то властно постучал.

— Господин Зоммергеймер, — доложил полицейский. Господин Зоммергеймер был багров и зол.

— Вы понимаете, — сказал он, — что на карту по-

ставлена честь немецкой нации? Один из лучших ее представителей, всеми уважаемая личность, член множества патриотических организаций, достойный пример для подражания нашей молодежи, оказывается каким-то станком, машиной. Что скажут в Бонне? Что подумают на Западе? Что скажет весь мир, когда узнает, что какой-то ходячий патефон, восприняв господствующий образ мышления, в течение десятков лет командовал и распоряжался судьбой сотен живых людей? Вы, надеюсь, понимаете, что это подрыв самых главных принципов существования нашего общества? Я уважаю свободу вашего мнения, господа судьи, но я настаиваю, чтобы делу была придана окраска, реабилитирующая наш образ жизни и действий. Любой ценой избавьтесь от этого сумасшедшего Штаубе. Дело нужно прекратить. Я постараюсь, чтобы ничего не просочилось в печать.

Господин Зоммергеймер удалился, оставив судей, повергнутых в смятение. Но у них уже забрезжила надежда, появилась неясная мысль, подсказывающая выход.

Вечернее заседание, которое слушалось при закрытых дверях, началось с показаний Крюге. Художник держался уверенно. Правда, где-то в глубине его души жило тяжелое, давящее чувство страха. Оно возникло от разговора с одним из дальних родственников Зоммергеймера. Перед самым заседанием этот молодой человек подошел к художнику и пообещал, что ни одна картина Крюге никогда нигде не будет продана, если тот не станет держать язык за зубами.

Ровным голосом, вспоминая интересные детали и подробности, Крюге излагал историю рождения и развития Нигеля.

Прокурор и судья перебивали его, задавая не к месту вопросы, но Крюге довел свое дело до конца.

Тогда было решено назначить повторное следствие для выяснения некоторых возникших неясностей и определения «психической полноценности подсудимого», как заявил судья.

Штаубе был лишен возможности защищать самого себя. Невзирая на протест, ему назначили адвоката.

Тогда Штаубе пустил в ход свой авторитет крупного ученого и пригрозил выступить с разоблачением в мировой прессе.

После вечернего заседания Юлиус Крюге вернулся в свою уютную квартиру поздно ночью, когда жена и дети уже крепко спали в большой темной комнате, где пахло чистым свежим бельем и на окнах вспыхивали белые лоскуты света от проезжавших автомашин.

Стараясь не разбудить жену, Юлиус на цыпочках прошел в кабинет и сел у стола, не снимая плаща. Он нащупал в темноте холодный и влажный стакан с молоком, выпил его и долго шарил по тисненому узору скатерти, отыскивая хлеб. На тарелке, покрытой салфеткой, он нашел кусок яблочного пирога, пахнувшего кислым сырым тестом. Юлиус ел пирог, глядя в темноту широко открытыми глазами, перед которыми стояли лица судьи, Макса, Нигеля и еще каких-то людей. Собственная голова всегда казалась Крюге съемочной камерой, заполненной случайными, не очень нужными киноплёнками. Сейчас память прокручивала перед ним кадры самого ужасного кинофильма в его жизни. И он сидел в первом ряду партера, наедине с этим проклятым племянником Зоммергеймера.

Художник встал, включил электричество, снял плащ и шляпу, бросил их в переднюю и задумчиво поскреб небритую щеку. Нужно было отвлекаться от холодной тоски и от мыслей. Спасение, как всегда и везде, можно было найти только в работе.

Юлиус окинул взглядом стены, на которых висело несколько его рисунков, и подошел к мольберту. Прикрытый большим газетным листом, он с утра неприкаянно стоял за софой, раздражая жену и соблазняя мальчишек на озорство.

Художник откинул газету и увидел недельной давности набросок головы старухи. Рисунок ему показался рыхлым и слабым, и Ганс захотел его переделать. Его сейчас мало интересовало сходство, и он решил придать портрету символический характер. «Старость». Пусть это будет портрет Старости вообще, Старости всего человечества сразу.

Пусть морщинистый лоб нависнет, как темная грозовая туча, над провалившимися глазами, похожими на потухшие угли. Пусть беззубый рот станет бездной, где исчезнет последняя улыбка. Пусть кожа на лице превра-

тится в тусклый измятый пергамент. Пусть... Ганс увлекся, он рисовал Старость, символ старости.

Он работал до тех пор, пока не почувствовал боль в глазах. Фломастер стал делать произвольные не контролируемые штрихи, и художник резким движением прекратил работу. Он уснул здесь же, на софе, свернувшись калачиком и натянув на себя плотный пушистый плед.

Утром его разбудила жена и позвала завтракать. Ганс сидел за уютным столиком и с удовольствием вдыхал дымный запах черного кофе, когда вошел его старший сын и сказал:

— Мощный волк у тебя получился, папа.

«Какой волк?» Ганс промолчал, но ощутил беспокойство. Он стряхнул в чашку крошки кекса, прилипшие к пальцам, и вышел в свой кабинет.

Несколько минут он с недоумением смотрел на рисунок головы старухи, которую с таким старанием отделявал вчерашней ночью. Ее не было. Не было старухи в старомодном чепце, со старческими буклями и бесцветным взглядом.

Вместо этого на ватмане с величайшим искусством была изображена голова бешеного волка. Налитые черной кровью глазки смотрели на художника с беспощадной яростью. Между острыми, как кинжалы, ушами торчала вздыбившаяся шерсть. Образуя злобные морщины на носу, верхняя губа задралась, обнажив острые пирамидки зубов. В углах пасти белели мелкие блестящие пузырьки пены.

Юлиус резко повернулся и вышел. На вопрос жены, что случилось, он отвечал:

— Пустяки.

Руки у него дрожали. Он почувствовал, что с этой минуты у него начинается новая жизнь, не похожая на его прошлое безоблачное существование, жизнь тяжелая и страшная.

Он пытался остаться в стороне в тридцать третьем, ушел от действительности в сороковом, втянул голову в черепаший панцирь после разгрома. Теперь жизнь требовала у него ответа: с кем вы, художник Юлиус Крюге?

Пытаясь сохранить и удержать ускользающее настоящее, художник заперся с сыном в кабинете. Он посадил

мальчика в удобную и легкую позу и стал лихорадочно набрасывать его голову.

Ему казалось, что все идет хорошо; объект рисунка был знаком до последней черточки, до самого незаметного изгиба волос. Эти миндалевидные глаза и шелковистые щеки Юлиус рисовал десятки раз. Автоматическим движением руки вывел прихотливый изгиб пухлых губ, в несколько штрихов расположил легкие прозрачные тени.

Рисунок был готов, Крюге ручался за сходство и знал, что рисунок получился.

Он сел в кресло, в изнеможении свесив руки. Сын стоял за его спиной и смотрел на работу отца. И Крюге вдруг услышал обиженный и возмущенный детский голос:

— Папа, ну что же это?

И тогда он увидел, что лицо ребенка на рисунке стало неуловимо, чудовищно изменяться: рот и нос вытянулись вперед, лицо покрылось шерстью, глаза сжались и превратились в маленькие горячие угольки.

— Волк!

Художник выбежал из кабинета. Обнимая плачущую жену, он гладил трясущимися руками ее волосы и говорил:

— Ничего, Марта, ничего... Я надломился, но это пройдет, мы разберемся.

Но «оно» не проходило, а разобраться было трудно. Что бы ни делал в эти дни художник, к чему бы ни прикасались его искусные пальцы, везде — на холсте, бумаге или картоне — возникала отвратительная морда бешеного волка. Она производила угнетающее впечатление не только на самого автора. Все поражались неистовой сатанинской злобе, исторгаемой взглядом животного.

Казалось, если бы эта тварь могла, она сейчас же вцепилась в глотку всему человечеству.

Собственное горе так сильно потрясло Крюге, что он совершенно забыл о Максе. Художник ходил по комнатам своей квартиры и твердил про себя: «Неужели я сошел с ума? Неужели?»

Никто не мог помочь ему. Врачи находили его вполне здоровым и советовали отдохнуть.

Судья и прокурор получили из Бонна недвусмысленные указания немедленно прекратить процесс.

Поднятый в прессе шум по поводу робота-оберштурмбанфюрера все равно не унять. Поэтому пришлось делать хорошую мину при плохой игре и оправдать Штаубе за отсутствием состава преступления. «Делом Штаубе» заинтересовались высокопоставленные лица из военного министерства и кое-кто за океаном. Идея робота-убийцы, автомата-палача показалась заманчивой.

В промышленных кругах поговаривали даже, что будут отпущены солидные кредиты на исследовательские цели. Конвейерное производство «идеальных солдат» покрыло бы любые затраты.

В эти дни камера Макса превратилась в зал свиданий. Здесь бывали и бизнесмены, жаждущие купить тайну создания самого совершенного робота, и корреспонденты, ищущие сенсаций, и ученые, предлагавшие свои услуги. Чтобы сразу разделаться с ними, Макс решил устроить нечто вроде пресс-конференции.

— Господа, — сказал он, когда собравшиеся с большим трудом втиснулись в его камеру, — не задавайте мне вопросов. Я все расскажу сам... Став доктором философии, я заинтересовался проблемами автоматике. Изобретательство всегда было моим коньком, и я решил построить логическую модель человеческого организма.

Мне это удалось. В 1937 году был создан Нигель, впоследствии ставший фон Штеке.

Почему Нигель? Да потому, что он был рожден из ничего. Как устроен Нигель? Какова материальная база, на которой я вел логический эксперимент?

Прошу простить меня, господа, но не думайте, что я сейчас открою все карты.

Я могу лишь кое-что рассказать о самых общих технических принципах моего Нигеля. Дело в том, что Нигель был создан, когда кибернетика, как таковая, только зарождалась. И это спасло меня от многочисленных ошибок, которые совершаются современными учеными. В чем проблема номер один современных автоматических и кибернетических устройств? В надежности. По сравнению с человеком автоматы слабее и неустойчивее шестимесячного младенца.

Почему? Можно назвать сотни причин. Но главной из них, на мой взгляд, является размер элементов думающего устройства. В современных счетных машинах каждая единица информации фиксируется каким-либо микроэлементом, будь то участок магнитной ленты, период колебания электронной лампы или напряженность магнитного поля в кольце. В Нигеле прием информации, ее запоминание и переработка осуществлялись на молекулярном уровне, что позволило увеличить надежность его работы как кибернетического устройства в миллионы раз. Я просто подражал природе. Вспомните информацию, записанную на молекулах ДНК.

Таким образом, мной была технически решена эта проблема номер один современной автоматики. Но оказалось, что это не главная и не самая сложная задача.

Современные создатели человекоподобных кибернетических устройств будут еще долго терпеть неудачи, потому что ими не разгадана тайна мышления. Они полагают, что информация о состоянии материи определяется набором правильно полученных цифр. Ошибочное мнение. Вернее, не до конца правильное. Определяется, но не исчерпывается. Количественные соотношения дают нам важную статистику, в которой, однако, иногда бывает очень мало так называемой «полезной» информации. Эта информация определяется качественным состоянием материи. Как мы воспринимаем мир? Мы видим перед собой мяч и не говорим себе, что перед нами проекция мяча на сетчатую оболочку глаза с таким-то диаметром и таким-то цветом. Мы говорим просто — мяч. Это образ, символ, качество. Мяч не камень, мяч не облако. Мяч есть мяч. Набор свойств, создающих качество. Человек в своем восприятии сначала не подсчитывает, а оценивает. Ему неважно, сколько весит камень и какая плотность у жидкости. Он говорит — жидкость, качественно оценивая состояние материи. Вот в этом вся загвоздка. До тех пор, пока не будет разработана качественная теория мышления, кибернетики далеко не уйдут. Мне удалось сделать, создать теорию, вернее, основы теории качества. В Нигеля была вложена программа качественной оценки событий. Она придала ему почти человеческую приспособляемость и невероятную логическую подвижность. Он был восприимчивее самого внимательного студента. Мало того, качественное

мышление значительно повысило надежность его работы как кибернетического устройства.

Что касается логического эксперимента, то он заключался в следующем: я заложил в Нигеля в качестве исходных данных основные посылки идеалистической философии и заставил участвовать в жизни общества. И Нигель стал нацистом. Вот и все. Мне казалось, что я всегда успею остановить развитие робота, если захочу. Начальный этап его жизни импонировал мне. Тогда я тоже придерживался господствующего мышления. Но вскоре я правильно оценил грязную работу Гитлера и...

— Вы стали коммунистом?

— О нет, к сожалению. Но я перестал сотрудничать с нацистами, а Нигель, в соответствии со своей идеалистической программой, продолжал совершенствоваться в этом направлении. Я просмотрел момент, когда Нигель стал самостоятельным и враждебным по отношению ко мне. Это все естественно: в нем было запрограммировано и самосохранение, и борьба за существование, и многое другое. В конце концов, господа, машина не виновата, что от нее потребовали подлости. Не виноваты же гильотины в смерти несчастных узников. И вот мой робот посадил меня и моего друга в концлагерь за то, что мы прятали бежавшую из тюрьмы девушку-еврейку, а сам стал восходить по служебной лестнице и достиг значительного успеха... После войны я решил прекратить этот затянувшийся эксперимент.

— Скажите, вы собираетесь поделиться с обществом, я говорю о свободном человеческом обществе, своим изобретением?

— Нет, я считаю, что наше (Штаубе сделал на слово «наше» ударение) общество еще не готово к восприятию многих научных достижений. Давать ему в руки такие технические средства все равно что сумасшедшему вручить факел. Может произойти что угодно. Я взорвал Нигеля не только потому, что он мне надоел. Я боялся, что тайна откроется и мир будет наводнен нигелями, обслуживающими ту или иную фирму или политическую организацию. Считаю, что люди должны значительно поумнеть и... подобреть. Они еще не могут владеть атомной бомбой, думающими машинами и роботами типа Нигеля... Не могут, хотя и владеют. В этом одно из противоречий эпохи,

Крюге полулежал в кресле, когда раздался звонок. Жены и детей не было, и художник сам открыл дверь. За ней стоял Макс.

— Они меня выпустили, дружище.

Крюге слабо улыбнулся и сделал широкий жест:

— Проходи. Я рад за тебя.

Макс был возбужден и весел. Крюге давно не видел его таким.

— Я всех их провел, дорогой мой Юлиус. Я согласился работать в одной авиационной компании, которая якобы не ставит мне никаких условий, а, наоборот, обещает создавать все условия. Они надеются. Не для того я взорвал Нигеля, чтобы налаживать серийное производство этих болванов. Ты знаешь, куда я сейчас лечу?

Художник отрицательно покачал головой.

— В Западный Берлин. Филиал компании там.

Макс замолчал и вдруг засмеялся радостно, по-детски.

— Ты хочешь... — удивленно вскинул брови Юлиус.

— Мне иногда кажется, что это для меня последний шанс. Средины быть не может, Юлиус. Я это понял. Но что с тобой, ты очень плохо выглядишь?

Крюге молча провел Штаубе в свою мастерскую-кабинет. Все стены были увешаны рисунками волчьих морд. Макс с испугом посмотрел на художника.

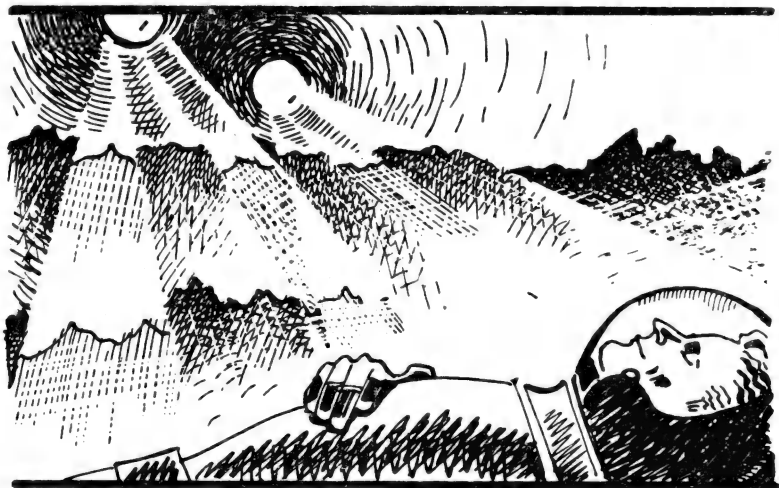
— Мания...

— Да, — вяло сказал Крюге. — Вчера «это» прошло. Я уже могу нормально работать. Но я страшно, бесконечно устал.

— Мы все очень устали от этих волчьих морд, — заметил Макс, рассматривая рисунки. Он обратился к художнику: — Слушай, Юлиус, поедem со мной! А?

Крюге помолчал, потом сказал:

— Нет, сейчас не могу. Поезжай один, потом напишешь, как там. И будь осторожен. Я не спрашиваю тебя, куда ты едешь... Может быть, потому, что не верю... Я не верю, что на земле осталось место, где оставят в покое такого человека, как ты, Макс. Будь счастлив. Я большой художник и могу ошибиться. Не обращай на меня внимания. Поступай, как задумал. Прощай...



«ЖЕЛТЫЕ ОЧИ»

Когда Гартен добрался наконец до вершины и перед ним открылась бескрайняя голубая пустыня, надежда оставила его.

Там, в драконовых пещерах, ведомый шумом подземного потока, он еще на что-то надеялся.

Плененный свет обреченно метался под сводами пещеры, скуным гляncем мерцал на поверхности стеклоподобной черной воды. Из невидимых галерей доносился приглушенный свист, и гулко, как ледышки, падали капли, срываясь с далеких готических арок. Там была какая-то жизнь или видимость жизни, какое-то движение.

Пустыня же показалась ему безбрежным оледеневшим морем, зачарованно и страшно мерцающим в мертвых лучах синего солнца. Она лежала под ним и простиралась перед ним. И ничего больше не увидел он в туманной дали горизонта.

Сорок семь суток он надеялся выжить. Сорок семь раз встречал и провожал красное и это синее солнце

Анизателлы, надеясь на завтра. Но пустыня доконала его. И он подумал, что скоро настанет день, когда для него не будет завтра. Для всех, во всяком случае для многих, завтра будет, а для него — нет.

Он и раньше изредка задумывался о смерти. Но ему никогда не удавалось представить себе мир без него, Гартена.

«Как это может быть, что меня вдруг нет? — думал он. — Все вокруг есть, а меня нет. И мир существует по-прежнему, и ничего не изменилось, а меня нет. Где же я?»

Он даже воображал себя мертвым, но почему-то наделенным способностью мыслить. Не чувствовать, а только мыслить. Да и мыслить лишь о том, как мир относится к тому, что его вдруг не стало. Но Гартен, как всякий молодой и здоровый человек, редко думал об этом. И мысли о смерти незаметно и скоро вытеснялись привычными житейскими заботами. Лишь иногда ночью что-то властно и жестоко сжимало ему сердце. Так бывает со всеми, и это чувство знакомо всем. И Гартен не составлял исключения. Может быть, только засыпал он скорее других и спал почти без сновидений.

Но сейчас, глядя на голубое пространство, на четкие синие тени, отбрасываемые редкими валунами, он впервые ясно понял, что все здесь останется таким же. И чьи-то чужие глаза через столетия увидят то же холодное, отрешенное пространство.

«И все останется таким же, и Земля, и улицы...» — подумал он и не испугался этой обнаженной и ясной истины. Он понял ее не только умом, но и сердцем. Понял и принял.

Когда его разведывательный конвертоплан потерпел аварию вдалеке от обжитых районов Аделаиды и Мирного, он даже засмеялся, полагая, что чудом остался жив. Копаясь в груде искалеченного металла и выуживая оттуда рацию, оружие и продовольствие, он все еще бурно радовался, что ему удалось катапультироваться. Он даже не обернулся, когда пошел навстречу восходящему красному солнцу, покинув чернеющие на розовом песке уродливые, как останки летучей мыши, обломки. Рация не работала. Но ему все же удалось взять радиопеленг одного из тетраэдров Аделаиды, и он не сомневался, что сумеет дойти.

На двенадцатые сутки он добрался до Драконовых гор. И только здесь, следя, как угасает кровавый отблеск заходящего солнца на черных зубцах пилообразного хребта, он впервые подумал, что может и не дойти. С тех пор эта мысль все чаще посещала его. Холодной и быстрой струйкой касалась она сердца, и сразу же пропадало желание идти и сопротивляться. Тогда Гартен закрывал глаза и сжимал кулаки. Он заставлял свою память помогать ему. Вспоминая лицо жены и запах ее волос, город, в котором родился, он твердил себе, что должен выжить и обязательно выживет. Когда Гартен переставал понимать смысл своих же слов и забывал, почему сидит на песке и что-то бормочет, он подымаясь и шел дальше.

Ему не удалось преодолеть отвесной стены Драконовых гор, и он решил пройти сквозь них, смутно надеясь, что теряющаяся в огромном, как Нотр-Дам, гроте река куда-нибудь да выведет. По крайней мере, здесь была вода. Микроанализатор признал ее пригодной для питья, и Гартен мог не бояться жажды. Еды у него оставалось еще много. Почти весь рюкзак был заполнен концентратами. Поломанную рацию и пистолет Гартен давно уже бросил в пути.

Конечно, он не мог надеяться, что подземный поток выведет его к обитаемым районам. Но когда после долгих блужданий во мраке где-то далеко впереди забрезжил голубоватый свет, сердце его тревожно забилося. Он глубоко вздохнул и медленно пошел к свету.

И как сильны были его разочарование, гнев и тоска, когда, выйдя на свет, он увидел все ту же бесконечную равнину и пески, пески, сколько хватал глаз.

Потом у него начались галлюцинации. Он слышал чьи-то голоса, кто-то звал его, захлебываясь от рыданий, молил о чем-то, от чего-то предостерегал. Как лунатик, бред он на этот зов, сбиваясь с пути, теряя рассудок.

Семнадцать суток прошло, пока Гартен опять увидел на горизонте туманные очертания горных хребтов. На этот раз он сумел подняться в горы. И здесь среди каменных стен, пропастей и ущелий, не видя сводящего с ума однообразия пустыни, он окреп духом и вновь обрел надежду. Запас продовольствия он мог растянуть еще суток на двадцать, воду — не больше, чем на десять. Шесть маленьких фиолетовых кубиков сверхплотного

льда — это все, что у него осталось после того, как он вышел из пещеры. Возобновить запас было негде, да и прибор для замораживания он обронил, блуждая в пустыне.

Он не стал урезать и без того скудный паек, но заставил себя идти быстрее. Это было трудно. Приходилось карабкаться вверх, спотыкаясь и обрушивая вниз грохочущие каменные лавины. Так и добрался он до этой вершины на последнем дыхании, с последней надеждой.

И теперь, глядя вниз и вперед, он понял, что заблудился. Вместо того чтобы идти к Аделаиде, он где-то повернул назад и, выйдя опять к Драконовым горам, не узнал их.

Он мог бы спуститься вниз, пройти эту голубую пустыню и добраться до места крушения. Наверное, там остались какие-то запасы продовольствия и воды. Но какой в этом смысл? Впрочем, все это были праздные рассуждения. У него слишком мало воды, чтобы пройти пустыню или вновь отыскать черный грохочущий грот.

И все же он решил сопротивляться до конца. Теперь это было даже легче. Он перестал надеяться и твердо знал, что погибнет. Это было трезвое и холодное отчаяние.

...Буря застигла Гартена ночью где-то на полпути к пещере Грохочущий грот. Он вылез из норы, вырытой им для ночлега, томимый странной тревогой. Всегда прозрачное небо Анизателлы заволочло белесой волокнистой мглой. Даже самые яркие звезды казались теперь тусклыми фиолетовыми огоньками, которые гасли один за другим, задуваемые мутным ветром.

Гартен долго вглядывался в ночь, сидя на ожившем и глухо урчащем песке. Иногда он проваливался в какие-то бездны, и ему начинало казаться, что он плывет в лодке по облакам, мягко и бесшумно раздвигая веслами нежные сливочные массы. Чувствуя, что засыпает, он вставал и делал приседания, широко разводя и вытягивая вперед руки. Он знал, что нельзя спать, когда пески приходят в движение, и старался прогнать сон. Он уже не думал о том, есть ли смысл так ожесточенно бороться за жизнь, не лучше ли тихо уснуть в песчаной могиле. Он просто сопротивлялся сну, то есть делал именно то, что полагалось в этих случаях делать, не думая ни о чем другом.

Когда погасла последняя звезда, в небе зажглись два желтых огня. Гартену показалось, что они зажглись именно для него. Они смотрели ему в душу, светили ему нежно и успокаивающе, обещали спасение и надежду.

Гартен знал, что это «Желтые очи» — редкое и малоизученное атмосферное явление на Анизателле — четвертой планете, обращающейся вокруг двойной звезды. Он знал, что оно сопровождается усилением корпускулярного излучения и электромагнитными бурями. Это действовало на мозг, нервную систему и весь организм человека неизмеримо сильнее, чем сезонные колебания солнечной активности, во время которых, как известно, увеличивается число самоубийств, крушений на дорогах, инфарктов миокарда и психических потрясений.

И еще он знал, что, когда в небе появляются «Желтые очи», лучше укрыться за надежными астротитановыми стенами тетраэдра и, греясь у электрического огня, медленно потягивать горячий коньячный грог. Но укрыться ему было негде, и он как завороченный глядел в немигающие желтые очи ночного неба.

Внезапно Гартен понял, что это вовсе не «Желтые очи», а медленно приближающиеся к нему зажженные фары разведывательного танка. Значит, его все-таки нашли! Вопреки всему и всем чертям назло!

...Первое, что сделал Гартен, попав в танк, — выпил целую жестянку прохладного ананасного сока. Потом он умылся, не жалея воды, шумно фыркая и разбрасывая во все стороны веера брызг.

— А я думал, что пропаду, ребята. Вконец пропаду! — сказал он, яростно вытирая мокрую голову свежим душистым полотенцем. — Как вы меня нашли?

— Ну, отдышался наконец? — спросил Рогов, начальник шестого тетраэдра Аделаиды, и шлепнул его по шее.

Это было так приятно, что Гартен зажмурился. Он не хотел открывать глаза, боясь, что все вдруг исчезнет и он опять окажется один на песке под мутным небом. Но запах фиалковой воды, которой он щедро поливал лицо, был так силен и свеж, так остро осязаем, что он разлепил опухшие красные веки и засмеялся.

— Все же, как вы ухитрились найти меня?

— Вам нельзя много разговаривать. — Кон подтолкнул его к постели. — Ложитесь.

— Да бросьте вы, доктор, — вступился Рогов, — парень в полном порядке! Пусть делает, что хочет... Еще?

Он пробил в жестянке две дырки и протянул ее Гартену.

— Наш радар живо нашарил твою мотоциклетку. Здорово ты ее, однако, отделал! Насилу разобрались, что в этой грудке железа нет твоих костей.

— Я сразу же указал вам на его следы. — Кон повертел пальцем под самым носом у Рогова.

— Какие следы? — удивился Гартен. — Там же везде песок.

— Ну следы-то, положим, нашлись! — Рогов, как всегда, был шумен и словоохотлив. — Ты шел и словно нарочно терял запчасти. Рация, пистолет, банки из-под концентратов, приборы. Я думал, что вот-вот найду твою голову. От нее тебе следовало отделаться с самого начала. Совершенно бесполезный груз. И чего тебя только понесло в пещеры? Мы насилу выбрались оттуда. Вообще было бы куда лучше, если б ты остался у конвертоплана. Сидел бы себе тихо и ждал. А то ищи его по пустыням.

— А петлял-то, петлял как! — перебил Кон. — Точно заяц. Почему вы пошли обратно к Драконовым горам? Заблудились?

— Вы бы тоже заблудились на его месте, — снова овладел разговором Рогов. — Если бы не твоя жена, Гартен, мы бы и искать-то тебя не стали. Нужен ты нам очень!

— К-как — жена? — не понял Гартен. — Какая жена?

— Вы видите, он еще спрашивает, какая жена! — ужаснулся Кон.

— Да что с ним разговаривать, с таким! — сделал зверское лицо Рогов. — К нему прилетает жена, хочет повидаться, а он бродит по пещерам. Бедная женщина вся извелась за эти дни. Чего мы только ей не говорили! То он в разведке, то в космическом полете, то... я уж не знаю где.

Гартен сидел, разомлев от тепла и уюта. Он шурился от непривычно яркого света и глупо улыбался. Он уже не слышал, что говорил ему Рогов, а только блаженно следил за тем, как тот открывает и закрывает рот, ходит, жестикулирует.

Он совсем не почувствовал боли, когда Кон вогнал ему в руку десять кубиков какой-то сыворотки. Гартену было даже приятно ощутить прикосновение ватки со спиртом, которой доктор растер укол.

— Наверное, есть хочешь? — спросил Рогов. — Что тебе приготовить?

— А что у вас есть?

— Сегодня у нас есть все! Заказывай.

— Если можно, бифштекс. Только с кровью, по-английски.

— Можно. Тебе с луком?

— Ага. Лук не жаривай, только чуть притоми, чтобы стал сладким.

— Вы видели? Он еще гурманствует! — возмутился Кон. — А паштет из соловьиных языков вы не хотите?

— Нет... Не хочу. Только поперчи как следует мясо.

— Будет сделано! — отозвался Рогов из кухонного отсека, откуда уже слышался шум упавшей сковородки и звяканье ножей.

— Вы бы вздремнули пока, — опять предложил Кон.

Гартен только покачал головой. Он сидел в мягком кресле, закинув голову, и блаженно шурился, глядя в потолок, где ровным, чуть желтоватым светом горели два плафона.

«Почему два? — подумал он перед тем, как заснуть. — Раньше здесь, кажется, был только один...»

— Смотри не пережарь, — пробормотал он, проваливаясь в мягкую уютную бездну.

...А потом Гартен увидел жену. Она плакала у него на груди, и рубашка его стала горячей и мокрой. Он бережно снимал губами слезы с ее запрокинутого счастливого лица, но она вырывалась и вновь пряталась у него на груди. Тогда он зарывался в ее волосы, и они пахли точно так же, как он воображал тогда, в пустыне.

Она что-то говорила ему, но он только тихо смеялся и все смотрел на нее, на высокие потолки тетраэдра, на мягкую мебель и на букетик настоящих левкоев, который она привезла с собой. Гартен чувствовал, что понемногу слабеет. Наверное, это было от счастья, сытости, ощущения безопасности. Он попросил, чтобы она дала ему чего-нибудь выпить. Она нашла немножечко коньяка, самую чуточку. Он даже не выпил этот коньяк, а

просто слизнул языком и размазал по нёбу. И еще больше ослабел от этого.

Несколько раз врывался Кон и грозил, что отправит ее на Землю, если Гартен сейчас же не ляжет в постель.

— Хорошо, я постелю ему, доктор, — сказала она и, освободившись из объятий Гартена, пошла к дивану, который Кон уже давно выдвинул из стены.

Гартен хотел удержать ее и не смог. Только удивился, как мало у него осталось сил. Он слышал, как потрескивает наэлектризованный крахмальный пододеяльник и тихо шипит воздух в надувном матрасе. Глаза его слипались, и он удивлялся, что все еще хочет спать, хотя, казалось, достаточно выпался в танке. Ведь он уснул почти сразу же, так и не успев отведать бифштекса, который приготовил Рогов.

Борясь с дремотой, он вспомнил, как доктор сделал ему укол, и подумал, что это было снотворное. Иначе откуда бы взялась эта расслабляющая сонливость. Конечно, он сильно устал, измотан и физически и душевно. Но он сильный и закаленный человек. Его не так-то просто свалить с ног. Если б не это снотворное, он бы и не подумал уйти сейчас от жены. Он бы вообще не спал все то, наверное, очень короткое время, которое она пробудет здесь. Это же такое редкое счастье. На его памяти это первый случай, чтобы к кому-нибудь приезжала жена. И вот он должен отправляться спать. Зачем только ему сделали этот дурацкий укол! Он теперь, наверное, проспит очень долго. А вдруг она завтра уезжает? Нет, этого, конечно, не может быть...

А лечь в свежую, чуть прохладную постель, должно быть, очень приятно. Он совершенно отвык от такого. Еще бы! Столько ночей провести в песчаных норах. До сих пор ему иногда слышится, как шуршит песок.

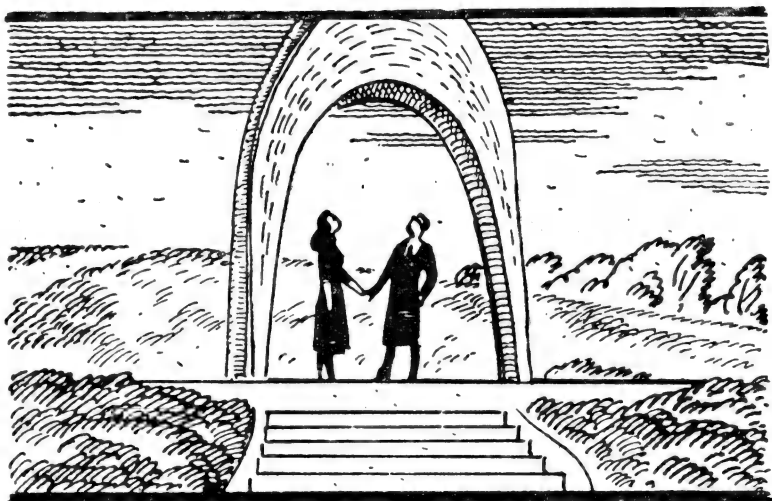
Жена куда-то ушла. Ее, наверное, увел доктор. Боится, что она помешает ему как следует выспаться. Вечно он лезет не в свое дело. Лучше бы догадался погасить свет. Но это ничего. Стоит только закрыть глаза, как он сразу же уснет. Он это точно знает. Только не хочется ему закрывать глаза. Еще кусочек реальной жизни, еще одно маленькое доказательство, что он находится за стенами отличного космического дома.

Он протягивает руку и нащупывает стакан с лимоном. Медленно пьет колючую, газированную воду,

не пьет, а цедит сквозь зубы, чтобы продлить наслаждение. Господи, как мало надо человеку! Еда, постель, чистая вода, присутствие близких и крыша над головой. Он зарывается носом в подушку и ощущает морозный аромат накрахмаленной наволочки. Почему он никогда не замечал этого раньше? Почему лишь теперь, избавившись от грозной опасности, пройдя через столько лишений, он научился ощущать вкус жизни? Впрочем, стоит ли думать об этом? Ему так хорошо, так тепло и безопасно, так легко и радостно на душе.

... Через восемь дней после бури спасательный отряд наткнулся на тело Гартена. Рогов сел на песок и заплакал мутными злыми слезами.

— Перед смертью ему снились, наверное, хорошие сны, — сказал доктор и отвернулся, чтобы не видеть улыбки, остекленевшей на высохшем лице Гартена. — Наверное, его застигла буря и «Желтые очи». Кто знает, что пригрезилось ему в последний час.



ДОАТОМНОЕ СОСТОЯНИЕ

Радиотелескоп стоял почти над самым обрывом, недалеко от серебристой башни маяка. Когда по вечерам жиггали мигалку, бледно-зеленые отблески ацетиленового пламени ложились прямо на алюминиевые листья зеркальной чаши. И тогда казалось, что бледно-синий циклопий глаз оживает. Но телескоп был слеп. Его еще не подключили к блоку питания, так как не успели достроить помещения для трансформаторов и электронно-счетных машин.

Астрономы уже заселили новую обсерваторию, и в меридиальных щелях огромных серых куполов поблескивали глубокие стекла рефракторов.

Стояли последние белые ночи... Анемичная луна медленно проявлялась на зеленоватом небе. Рабочий день у оптиков еще не начался, и младший научный сотрудник Скробинский решил прогуляться к маяку. Маяк скоро должны были перенести в другое место, где уже стоял большой деревянный репер. Но пока он светил, и в открытом море видели его мигающую белую звездочку.

Скробинский полной грудью вдыхал запах моря, сосен, гниющих водорослей и влажных трав. Море глухо дышало внизу. От подножия обрыва его отделяли узкие длинные ленты поросшего рогозом болота и прерывистая гряда дюн. На дюнах росла осока, лаванда и карликовый ивняк с длинными белыми листьями, покрытыми шелковистыми волосинками. В полнолуние море докатывалось до самых дюн, и белый мелкий песок становился плотным, темным и надолго сохранял гофрированный отпечаток волн.

Обсерватория стояла посреди соснового бора. Розовокорые загорелые сосны были причудливо изогнуты. Постоянно дующие с моря ветры заставили всех их наклониться в одну сторону. И решетчатый перпендикуляр маяка был для сосен постоянным укором.

Хвойные лапы тронул легкий ветерок, и они зашуршали. Скробинскому показалось, что сосны жалуются.

«Мы ведь не железные, как этот маяк, — шептали сосны, — и кто знает, что случилось бы с ним, если б он простоял на ветру столько же лет, как и мы...»

Скробинский засмеялся и повернул назад.

Он поднялся по винтовой лестнице к себе в башню. Там было темно и тихо. Тикал часовой механизм, вспыхивали крохотные разноцветные лампочки, и уютно гудел автотрансформатор за жестяным стендом потенциометров.

«Валя уже здесь», — подумал Скробинский, вглядываясь в темноту. Но девушки нигде не было. Скробинский подошел к двери, ведущей в фотолабораторию, и приложил к ней ухо. До него долетели слабые всплески. Он осторожно постучал — никакого ответа.

— Это я, Валена, Марк... Ты что, проявляешь?

— Да.

— А что ты проявляешь?

— Не мешай.

— Нет, правда! Мы же ведь вчера все проявили.

— Ой! Ну до чего же ты нудный! Говорю тебе, я занята.

— Ну и пускай! — обиженно протянул Скробинский и, выпятив губу, сделал шаг от двери.

— И нечего обижаться. Я занята.

Скробинский ничего не ответил. Видимо, это подей-

ствовало, потому что через некоторое время за дверью чуть пристыженным голосом произнесли:

— Ну вот и все! Теперь только промыть... Марк! Что ты делаешь?

Скробинский недовольно проворчал:

— Работаю!

Он на цыпочках отошел от двери и выключил механизм. В беззвучно расширяющуюся щель просочилось зелено-синее балтийское небо. Звезды были бледны и почти неразличимы.

— Ты сердишься? — донеслось из фотолаборатории.

— Нет.

— Ну я же знаю, что сердишься. Не сердись. Я срочно проявляла пленку. И очень волновалась, что не получится. Но, кажется, получилось.

— Что получилось?

— Я засняла какие-то странные вспышки.

— Где вспышки?

— Прямо в созвездии Лиры.

— Когда?

— Только что. Буквально за десять минут до твоего прихода. Я как раз налаживала прибор...

Скробинский подошел к щиту и запустил поворотный механизм. Купол начал вращаться. Потом Скробинский нацелил телескоп в заданный район неба. Зажмурил глаза и медленно приоткрыл их. Никаких вспышек не было. Он вздохнул и оторвался от окуляра. Фальшиво затянул песенку про хорошее настроение. Потом взглянул еще раз. Песенка застряла у него в горле, как рыба кость. Он даже закашлялся. В сумрачном кругу окуляра то вспыхивала, то пропадала ослепительная черта. Скробинский застыл у прибора...

Хлопнула дверь. К телескопу подошла девушка в белом халате. Широко раздвинув руки, она несла мокрую, поблескивающую ленту пленки.

— Смотри, как здорово получилось! — сказала она.

— Не сейчас! Только не сейчас!

— Ну как знаешь.

Девушка достала из кармана пластмассовые зажимы и повесила пленку сушиться. Потом она вытерла руки и села за круглый стеклянный столик. Там лежал портативный магнитофон. Она взяла магнитофон в руки и нажала клавиши.

В гулкую темноту купола звонкой хрустальной струей хлынул чистый голос Робертино Лоретти.

Внезапно Скробинский выскочил из-под телескопа. Натыкаясь на что-то в темноте, он бросился к маленькой эллипсообразной двери, распахнул ее и вылетел на опоясывающую купол площадку. Вцепившись в тонкие подрагивающие перила, он медленно обошел купол и остановился на юго-восточной стороне.

Там, где был город, полыхало зарево. Телевизионная башня на огненно-золотистом фоне казалась черной. Приблизительно с того места, где расположен Институт перспективных исследований, к небу поднималась тонкая светящаяся игла. Она переливалась изменчивым цветом от сиренево-фиолетового до зеленого. Подобно пальмовому побегу, она вдруг начала обрастать ребристыми листьями вспышек. Это продолжалось не больше минуты и закончилось невыразимым по силе и красоте золотистым сиянием. Скробинскому на миг померещились сверкающие ландшафты прекрасных миров. Ему даже показалось, что он ощущает свежий и терпкий запах далеких морей и лесов. Он оглянулся. За спиной стояла Валя. Ее расширенные глаза казались черными ямами. Побелевшими пальцами она прижимала к груди магнитофон. Голос Лоретти хлынул навстречу золотому пламени, задрожал и понесся к звездам на самой высокой ноте. Но, не долетев и половины пути, оборвался. Магнитофон замолчал. Зарево исчезло. В воздухе чувствовался сильный запах озона.

Сообщение С. М. Смирнова, сделанное для местной печати

Рассказ молодых астрономов — это по сути дела единственное свидетельство очевидцев катастрофы, которая произошла три дня назад в лаборатории № 3 Института перспективных исследований. Я, как член комиссии по расследованию катастрофы, особенно остро понимаю, насколько скудны имеющиеся в нашем распоряжении данные.

Приборы показали, что аварийные огни киберов загорелись ровно в 2 часа 32 минуты. Когда мы сняли ленты расхода энергии со счетчиков-раздатчиков (таких счетчиков два: один расположен непосредственно на атомной электростанции, другой — в трансформаторной

будке лаборатории), то увидели, что именно в это время произошел резкий скачок в потреблении. Через 16 секунд он достиг максимума, а еще через 10 быстро пошел на убыль. Интересно и загадочно, что в 2 часа 32 минуты 57 секунд приборы, вероятно, испортились. Иначе трудно объяснить тот факт, что в это время лаборатория, вместо того, чтобы потреблять энергию, начала ее... вырабатывать. Ведь именно такое заключение можно сделать даже при беглом взгляде на ленты расхода.

И еще одно странное обстоятельство. Лаборатория совершенно не пострадала. Лишь в центре зала Ц обнаружен круг радиусом два метра, в котором все оборудование распалось... на атомы. Другого слова здесь не подберешь, потому что зал довольно основательно заставлен столами и приборами. Да и откуда взяться в его центре правильному кругу... пустому месту? Непосредственно к пустому кругу примыкает лабораторный стол, вернее, две трети стола, так как одна треть отсечена точно по дуге окружности. Специалисты утверждают, что ни одним из известных способов нельзя было сделать по дереву такой безупречный срез. К центру зала ведет большое количество проводов, но все они обрезаны на границе пустого круга. Впрочем, обрезаны — не то слово; глядя на провода, этого никак не скажешь. Места среза гладки, как зеркало.

В зале установлен диктофон, соединенный с печатающим устройством. Но иридиевая проволока не хранила никаких следов звукозаписи, хотя прибор не выключен. Неужели работа в лаборатории и неожиданная катастрофа не сопровождались ни единым звуком? Все это очень странно. Если верить регистрационной записи, то в ту ночь во всем здании находился только один человек. Это была профессор Ирина Лосева. Самые тщательные розыски не обнаружили даже следа Лосевой после той ночи. Домой она не возвращалась и знать о себе не давала. Так же бесследно исчез и гостящий у нее доктор Дьердь Лошанци. Мать Лосевой говорит, что он ушел из дома ровно в десять часов вечера, пообещав, что возвратится часа через три вместе с Ириной. Есть все основания предполагать, что в эту ночь они были в лаборатории, в зале Ц. Не хочется думать, что их постигла та же судьба, что и предметы, которые находились в центре зала.

Как показали сотрудники, там, где теперь только пустота, раньше находился огромный кольцевой магнит, два гравитационных генератора и какой-то новый прибор. Этого прибора никто не видел. Он появился в лаборатории недавно, и Лосева всегда держала его под черной накидкой. Никаких следов разрушений, повторю, обнаружить не удалось. Невольно начинаешь сомневаться, была ли вообще здесь катастрофа. Во всяком случае, если б не таинственное исчезновение Лосевой и Лошанци, можно было бы говорить лишь о «странной шутке с пустым кругом», как выразился один из сотрудников лаборатории. Я не люблю загадок и поэтому больше всех настаивал на самом тщательном обследовании всего помещения. Это обследование закончили только сейчас. Оно всех разочаровало.

На северо-восточной стене здания обнаружили зону с небольшой радиоактивностью. Точные замеры показали, что зона представляет собой круг радиусом около двух метров. Весьма странное, необъяснимое совпадение. Интересно также, что радиоактивность распространяется на всю толщу стены, будто сквозь нее просочился радиоактивный газ. Еще удалось установить, что на потолке зала Ц есть едва заметное отверстие, которое проходит через все здание и заканчивается на крыше. Края отверстия не оплавлены огнем, и вообще неизвестно, чем и как оно было сделано. Никто из работников не берется утверждать, существовало ли это отверстие до катастрофы или нет.

Больше никакими данными мы пока, к сожалению, не располагаем.

Письмо ассистента Валентины Корн С. М. Смирнову

Уважаемый Сергей Митрофанович! Беседа с вами — помните, это было на другой день после таинственной катастрофы в институте, — ваши слова, что всякое странное явление, даже, на первый взгляд, пустячное, может иметь большое значение, до сих пор не дают мне покоя. Поэтому я и решила побеспокоить вас этим письмом. Случай, о котором я хочу вам рассказать, может быть, совсем неинтересен, но все же, мне кажется, он имеет какое-то отношение к событиям той ночи.

Вот что произошло.

За несколько часов до памятных вам событий я готовилась к экзаменам по общему землеведению (я учусь в вечернем институте). У меня есть магнитофон, где на иридиевой проволоке записан весь курс лекций. И еще кое-какие вещи. Помню, я прослушивала тогда лекцию о происхождении айсбергов и об использовании их в народном хозяйстве для орошения пустынь. Очень интересная лекция. Но дело не в этом. То есть не только в этом. Уже в городе, куда я несколько дней спустя поехала для сдачи экзамена, я вдруг почувствовала, что забыла тот раздел, где говорится о таянии айсбергов в условиях пустынь. Естественно, что мне захотелось еще раз прослушать эту лекцию. Но в том-то и заключается мой странный случай — магнитофон молчал. Вы не думайте, что он был испорчен. Я все тщательно проверила. Просто все, что было записано на проволоке, каким-то образом стерлось. И тут я вспомнила, что он внезапно замолчал как раз в тот момент, когда исчезло то зарево. Совершенно случайно он был тогда включен. И все же я сомневалась. Может быть, я сама нечаянно включила не ту кнопку и стерла запись? Эта мысль пришла ко мне сразу же. Вероятно, я на том бы и успокоилась, если бы не мой товарищ по институту Олег Муркалов. Он геофизик и учится на четвертом курсе.

Олег как раз чинил информационный блок одного из наших приборов. Кстати, прибор испортился в тот же вечер. Сначала Олег не знал, за что взяться, так как не мог установить следов поломки. Возможно, он и до сих пор бы возился, если бы случайно не поменял полюса аккумулятора постоянного тока. Просто он очень устал и перепутал электроды, заменив минус на плюс. Вот эта-то ошибка и починила блок. Олег клялся, что это просто странное совпадение, которое совершенно необъяснимо, но Марк Скробинский (вы его знаете) держался на этот счет другого мнения.

После того как я сдала экзамен (кстати, профессор поставил мне самый высокий балл), я пошла к заведующему кафедрой космических лучей. Вас, конечно, заинтересует, почему именно к нему. На это я могу ответить, что Вацлав Люцианович — единственный физик во всем нашем астрогеофизическом. Кому, как не ему, разобраться в загадках электронных приборов? Он тоже

сначала сказал, что не видит связи между размагниченной проволокой и испорченным блоком. Я уже собралась было уходить, как он вдруг сказал: «А знаете что? Давайте протащим вашу проволоку не через электронные головки, а через позитронные».

Я ему на это говорю, что никогда о таких не слышала. А он только смеется. Взяли мы тогда мощный источник гамма-лучей и начали бомбардировать ими свинцовую мишень. Специальный кольцевой электромагнит отводил выбитые позитроны в вакуумную камеру, откуда они собирались в конденсатор. Так мы получили источник «антитока». И что вы думаете? Онемевшая проволока заговорила, и я снова услышала уже ненужную мне лекцию про айсберги. Вацлав Люцианович сказал, что он даст сообщение об этом эффекте в «Вестник Академии наук» и что мы с Олегом можем гордиться первой самостоятельной научной работой. Может быть, все это и не интересно, но я сочла своим долгом написать вам. С уважением Валентина Корн.

Вновь С. М. Смирнов

Объединенными стараниями сотрудников лаборатории диктофон заговорил уже через два часа. На всякий случай, все, что мы слышали, было еще раз записано. Теперь мы располагаем двумя катушками проволоки, хранящими эту ценную информацию.

Сначала слышно было лишь шипение и потрескивание. Некоторые даже начали сомневаться в «способе Валентины».

Но вот раздалось легкое покашливание и послышалось чье-то усталое дыхание.

— Спасибо, милый. Поставь это сюда. — Это был голос Ирины Лосевой.

Что-то загрохотало, будто опускали на пол какую-то тяжелую металлическуюштуковину.

— Ну и что теперь будет? — Мужской, с легким акцентом голос скорей всего принадлежал доктору Лошанци.

Лосева не ответила.

— Так в чем же суть, Иринка? — вновь спросил Лошанци.

— В философии. Все вертится только вокруг философии, а физика играет здесь второстепенную роль.

— Никогда не думал, что в философии может скрываться нечто невероятное, а ведь ты обещала меня удивить.

— И удивлю. Ответ мне сначала на один вопрос. Заранее предупреждаю, что над ним ты никогда не задумывался. Я тебя знаю.

Лосева засмеялась. После некоторой паузы Лошанци сказал:

— Ну, где твой вопрос?

— До чего же ты нетерпеливый. Я просто ишу для него наилучшую формулировку. Дай мне немного подумать.

Минут пять ничего не было слышно. Потом Лосева спросила:

— Ты никогда не задумывался о том, что было до атомов?

— То есть как это «до атомов»? — с недоумением произнес Лошанци.

— Ну, в доатомном состоянии материи... Почему мы считаем, что атомы были всегда? Ведь материя вечна. Она развивается и никогда не повторяет самое себя. Все процессы во Вселенной необратимы. Так вот, что было до того, как образовались атомы и что будет потом?..

— Какие у тебя есть основания для подобных вопросов?

— А разве для вопросов обязательны какие-то особые основания? Ты не уклоняйся от ответа. Вот смотри. Астрофизические данные тесно сплетаются с чисто геологическими. Красное смещение говорит о том, что галактики разбегаются и наш участок Вселенной претерпевает расширение. Геологические наблюдения свидетельствуют о расширении, даже о растрескивании Земли, что можно объяснить уменьшением гравитационной постоянной. Так?

— Ну и что из этого?

— Значит, когда-то гравитация была максимальной. Отсюда вопрос: какое состояние материи отвечало этому максимуму гравитации? Когда он наступит? Наконец, что сопровождает эти минимумы и максимумы: взрывы вещества или выворачивание Пространства-времени наизнанку? Что же ты молчишь?

— Честно говоря, Иринка, я просто не знаю, что тебе ответить. Я действительно никогда не задумывался над этим. Ты права. Теперь мне ясна цель этого эксперимента. Но не кажется ли тебе, что он может быть опасным?

— Ты боишься?

— Нет. Просто я хочу разумно все взвесить и рассчитать. Нужно предусмотреть возможные последствия.

— Сколько тебе понадобится для этого времени?

— Точно не знаю. Может быть, и много, если вообще подобный эксперимент можно оценить теоретически.

— Тогда я проведу его одна и сегодня. А ты можешь идти домой. Мама нас заждалась. Скажи ей, что я задержусь.

— Это твое твердое решение?

— Да!

— погоди немного, я сниму пиджак и подгоню высоту пульта у кресла под свой рост.

Тут раздался какой-то звук. Вероятно... они поцеловались. Вообще в звукозаписи есть ряд чисто личных мест, никакого отношения к загадочной катастрофе не имеющих. Если бы опыт удался, Лосева сама стерла бы их с проволоки. Мы тоже не сочли себя вправе включать эти места в данный отчет. Несколько минут стояла полная тишина. Потом послышалось все нарастающее гудение, которое переходило в какой-то странный вибрирующий звук.

— Что это, милый? — Голос Лосевой был еле слышен.

— Не знаю. Вокруг нас появилось какое-то кольцо. Ты видишь? Все заполнил странный багровый свет. Он тяжелый и клубящийся, как эманации радона.

— Дерьды! Я вижу вверху сияющую точку.

— Странно. Что это могло быть? Я почти ничего не слышу, и как-то... трудно дышать.

— Ты совсем не туда смотришь. Вот, вот это. Что это? О, какой прекрасный мир... и океан... А это золотое сияние. Смотри, расплавленное золото окружает нас. Наша кабина как лодка в золотом море. Как это прекрасно!

— Это смерть!

— Что ты сказал?! Что же нам делать? Почему ты медлишь? Что же нам делать?

— Спокойствие, девочка. Реостат — до отказа, Дай

максимум гравитации, и пространство свернется вокруг нас. Мы окажемся словно в пузыре. Ясно?

— И что будет с нами?

— Не знаю, но другого выхода нет. Если сбросить напряжение, оно взорвется... Быстрее, Ирина, быстрее! И эту кнопку...

Сколько мы ни прокручивали проволоку, больше нам ничего не удалось услышать.

* * *

Шли годы. Люди нет-нет да и возвращались к загадке этого исчезновения. Когда в ходе многочисленных дискуссий все аргументы бывали исчерпаны, некоторые пускали в дело такие, казалось, давно уже обветшалые термины, как «четвертое измерение» или «дематериализация»; встретив энергичный отпор, они начинали что-то смущенно лепетать о «пределах познания».

Но как бы там ни было, этот случай, подобно загадке тунгусского метеорита, дал добрую пищу для всякого рода споров и предположений. Ему суждено было тысячекратно возрождаться на журнальных полосах, под неизменным заголовком «Неразгаданная тайна».

Рассказ Ирины Лосевой

Сначала мне показалось, что наш опыт не удался. Но, когда я, рванув реостат до отказа, посмотрела в иллюминатор, пылающего в фиолетовых струях золота уже не было. Что-то невидимое, но вместе с тем и непрозрачное отделило нас от клубящейся плазмы.

Это было всего лишь мгновение, но я никогда не забуду внезапного ощущения резкой боли под сердцем и странной тяжести в голове. Кажется, я успела крепко сжать руку Дьердя, прежде чем потеряла сознание. А может быть, я и не теряла сознания. Во всяком случае, когда я вновь взглянула в иллюминатор — там было темно и тускло, — мне показалось, что прошло не больше секунды.

— Что-то все-таки получилось, — сказал Дьердь, неторопливо вытирая платком лоб, — но реакция, вероятно, погасла. Неустойчивость. Придется еще много повозиться.

Я молча кивнула головой. Я не знала, что оборвало реакцию: неустойчивость или наша трусость, когда мы замкнули вокруг стенда гравитационное поле. Словно читая мои мысли, Дьердь погладил мою руку и тихо сказал:

— Не сомневайся, Ирен. Все шло правильно. Мы обязаны были прервать реакцию. Для таких экспериментов еще не настало время. Мы очень мало знаем о Пространстве-времени, о гравитации, о строении вещества. Трудно даже представить себе, какую катастрофу мог бы вызвать наш эксперимент.

Я чувствовала, что Дьердь прав. Но мне было стыдно за ту секунду страха, который сковал меня в тот миг, когда началась реакция. Поэтому мне хотелось спорить, доказывать, убеждать. Кого я хотела переубедить: себя или его? Право, не знаю.

— Мог взорваться институт, погибнуть Земля, а может быть, Солнечная система или даже Вселенная?

Мне казалось, что в моем голосе звучит сарказм. Но мой мудрый и ласковый друг сделал вид, что не понимает моего состояния. Он только сказал:

— Лишь теперь я сознаю, насколько безрассуден был этот эксперимент. Если бы реакция стала черпать энергию в себе самой, то еще неизвестно, какой роковой толчок она бы могла дать скрытым от нас силам и процессам, таящимся в самом сердце вещества.

И мне опять стало страшно. Вернее, это сложное чувство было чем-то большим, нежели страх. Просто я вспомнила детство. Я очень долго не решалась глядеть в лужи. В них отражалось бездонное небо. И я боялась полететь в пропасть, разверзшуюся у моих ног. Боялась и вместе с тем не могла не смотреть. Потом то же чувство я испытала в астрофизической лаборатории. Снимки далеких галактик и гипергалактик, едва угадываемые следы их взаимодействий и черная страшная бездна Пространства-времени. И вот теперь я ощутила это знакомое чувство. Я представила себе на миг, как вокруг первого «подожженного» нами атома разгорается пожар уничтожения. Куда швырнет этот пожар Вселенную, как далеко он сможет распространиться? Ответов на эти вопросы ждать было неоткуда.

— Однако! Мы находимся в кабине уже тринадцать минут, — Дьердь придвинул ко мне светящийся цифер-

блат своих часов, — пора нам прятать следы преступления и бежать пить чай с малиновым вареньем... А то нам здорово влетит.

Когда, крепко сжав плечо Дьердя, я выпрыгнула из люка на пол, я даже не подозревала, что произошла катастрофа. Хотя мне сразу же показалось странным, что в лаборатории было темно.

— Ты не помнишь, мы потушили свет перед тем, как начать эксперимент? — обратилась я к Дьердю.

— Как будто нет... Но, может быть, просто сгорели предохранители. От перегрузки.

Я сразу же успокоилась. Наверное, так и случилось: перегорели предохранители. Я прекрасно знала свою лабораторию и, свободно ориентируясь в темноте, пошла к панели, чтобы включить аварийное освещение.

Рука передала мне новый сигнал тревоги. Я чувствовала, что мои пальцы нащупали что-то шероховатое, хотя здесь должен быть гладкий мрамор щита. Переплетение проводов, что-то мягкое, похожее на паутину, широкая неровная трещина... Будто книгу для слепых, читала я историю распределительного щита, который неизменно переменялся за какие-нибудь четверть часа.

Моя тревога передалась Дьердю.

— Ничего не понимаю. Куда девались приборы, где стол, где стенд для чтения микрофильмов?

Вскоре мы убедились, что стоим в пустом зале. Как-то незаметно для себя я даже перестала волноваться. Слишком уж много было загадок. Есть у человека какой-то особый предохранитель. Когда на тебя обрушивается слишком много впечатлений, этот предохранитель перегорает. Иначе не выдержит мозг.

Я подошла к тому месту, где должно было находиться окно. Протянула руки и нащупала шторы. Шелк распался у меня в руках. Стряхнув с пальцев истлевшую ткань, я попыталась расчистить густой слой паутины и пыли, покрывавший стекло. Это было не так просто. Я долго терла стекло сначала ладонью, а потом рукавом, пока не показались первые проблески сумеречного света.

Неужели все эти странные перемены вызваны мелькнувшей, как молния, реакцией?

Дьердь в это время стоял у двери. Он безуспешно пытался ее открыть. Я направилась к нему, но по пути

споткнулась о какой-то предмет. Это была массивная железная балка, обильно покрытая шелушащейся ржавчиной. Я попыталась поднять ее, но мне удалось лишь на секунду оторвать балку от пола. Я позвала Дьердя на помощь.

— Что это? — удивленно спросил он, с трудом приподнимая этот неведомо как очутившийся в моей лаборатории предмет.

Что я могла ему ответить? Я сама ничего не понимала. Дьердь поставил балку одним концом на пол и провел по ней рукой. На пол посыпалась ржавчина.

— Ты знаешь, — сказал он, — рельсовый профиль. Это все, что осталось от монорельсового пути, по которому передвигался в твоей лаборатории экспериментальный стенд... Да, дела! Но так или иначе, а эта штука-вина нам пригодится.

Дьердь воспользовался рельсом, как тараном. Он попытался выбить дверь. После нескольких гулких ударов дверь подалась. Мы навалились на нее, и она, скрипя и плача, уступила.

Когда мы выбрались наружу, был уже вечер. Не знаю, как передать те ощущения, которые навевают такие летние вечера. Где-то в слоистой синеве пылают догорающие краски заката, как скважины остывающего металла в литейной земле. Я-то знаю, что ничего необычного в такой вечер не произойдет. И все же этот вечер заморозил меня. Мы стояли с Дьердем, взявшись за руки, и смотрели на закат. Травы сникли, стали синеватыми и грустными. Пахло белым табаком и немножко полынью. В туго натянутом, звенящем воздухе витал тополиный пух.

Вдруг Дьердь встрепенулся. Он подошел ко мне и молча постучал пальцем по часовому стеклу. Было без малого три часа. Я недоумевающе смотрела на него.

— Ты разве ничего не понимаешь? — Впервые я видела, как он побледнел. — Сейчас три часа ночи. Ведь около одиннадцати мы только приехали в лабораторию.

В груди у меня что-то упало. Я смотрела на небо, на закат и ясно понимала, что произошло нечто непоправимое. Какая же ночь, когда еще так светло: часов девять, не больше.

— Тополя ведь уже облетали. — Я не узнала голоса Дьердя, он казался чужим и страшным. — Еще месяца

полтора назад я всюду видел тополиный пух. Он летал в домах и туннелях подземной дороги, скопился возле уличных водостоков... А теперь — вот смотри, опять...

— Что, время пошло назад? — спросила я шепотом.

— Не знаю. Может быть.

С этой минуты непонятное целиком захватило нас. Наступила полоса непрерывных поисков и самых неожиданных открытий. Мысленно мы уже были готовы ко всему. Кому, как не нам, физикам, было знать, что такое вещество. Мы попытались изменить его формы и неизбежно затронули те еще так мало изученные связи, которые тянутся от вещества к полю, к пространству и к времени. И все-таки мы еще ничего не понимали.

Первое, что бросилось нам в глаза, это сад. Прекрасный благоухающий сад, который буйно шумел вокруг здания лаборатории. Я не сразу сообразила, что вижу этот сад впервые в жизни. «Раньше», а может быть, и «позже», кто знает, здесь было поле, поросшее полынью и лебедой.

Посыпанная блестящим янтарным песком дорожка вела в глубь сада. Мы медленно пошли мимо буйных кустов олеандра, то и дело останавливаясь, чтобы полюбоваться мраморным бассейном, в котором рос индийский лотос и весело резвились фиолетово-оранжевые амазонские рыбы, или прекрасной клумбой с какими-то причудливыми, неземными растениями. Их листья отсвечивали синим металлом. Все было как в сказке. Я чувствовала слабый и настойчивый сладковатый и чуть ядовитый запах влажных магнолий. В густой тени листьев загорелись какие-то фосфорические шары. Тихо жужжали за поздалые пчелы, и ветер звенел ребристой жестью пальмовых вееров.

Мы ни о чем не говорили. Мы просто шли, взявшись за руки, испуганные и очарованные, как дети, попавшие в сказку.

Дорожка привела нас к великолепной арке, сделанной из дымчатого горного хрусталя. Арка, вероятно, представляла собой нечто вроде входа в сказочный парк, из которого мы только что вышли, хотя забора нигде не было.

Мы прошли под аркой. Я уже было собралась спуститься по горящим в закатном огне родонитовым сту-

пеням ведущей куда-то вниз лестницы, как Дьердь осторожно остановил меня. Молча он указал на золотые огоньки, перебегавшие в самой толще горного хрусталя. Мы вернулись и подошли к арке. Как только наши шаги коснулись черного зеркала ее основания, огоньки, точно повинувшись чьему-то приказу, выстроились в золотые созвездия слов:

«Этот сад посвящен отдыху и размышлению. Решено не возводить в нем зданий и не прокладывать энерго-трасс. Здесь в августе 20** года ушли в нуль-пространство Ирина Лосева и Дьердь Лошанци. Это был первый шаг человечества к власти над Временем».

Рассказ доктора Лошанци

Еще там, в саду, возле запущенного здания лаборатории, я начал смутно понимать происшедшее. Доатомное состояние... Что будет после атомов?.. Все это были не праздные вопросы мятущегося ума. Неужели мы не можем преодолеть ограниченность нашего мышления, неужели наше воображение не сможет осмыслить эти категории!.. Мне казалось, что сможем, но мысли мои бесильно расплывались. Нужно было не дать мыслям расползтись. Это было похоже на строительство песчаной башни. Каждая новая черта, каждый увиденный признак — это песчинка. Но когда песчинок собирается много, башня обрушивается. Итак, со Временем что-то не ладно. Почему? Я бы не был физиком, если сразу же не подготовил (хотя бы в первом приближении) ответ на этот вопрос.

Прежде всего, если время для нас с Ириной текло не так, как для остальных — а это очевидно, — значит, мы просто вышли из общей земной системы. Но мы никуда не улетали с Земли, мы отнюдь не были космонавтами-релятивистами, для которых бешеная скорость звездолетов замедляла по сравнению с земными часами время. В этих противоречивых логических построениях что-то крылось. Это было единство и борьба противоположностей, которые хранили мучительно искомую нами тайну. Но какую? Я сделал усилие и заставил себя продолжать этот трудный поединок с Неизвестным. У меня был еще один опорный пункт — это цепная реакция. Мы экспери-

ментировали с гравитацией, а следовательно, и с кривизной пространства. Ведь еще со времени Эйнштейна известно, что гравитация есть не что иное, как степень прогнутости пространства. Кроме того, мы экспериментировали и со временем так же, потому что течение времени зависит от гравитации. Чем сильнее искривлено пространство, тем медленнее течет время.

Стоп! Стоп! Здесь что-то есть. Нужно остановиться и попытаться подвести итоги...

Значит, так; у нас что-то произошло с течением Времени. Вопрос лишь в том, быстрее или медленнее текло для нас время, чем для всех, кто оставался в период нашего эксперимента за пределами стенда, то есть для всех остальных людей.

Не нужно специальных знаний, чтобы дать на этот вопрос однозначный ответ. Время текло для нас медленнее. Во-первых, по нашим часам эксперимент длился меньше секунды, но, когда он закончился, мы обнаружили такие изменения, которые накапливаются за десятилетия, если не за столетия. Впрочем, об этом лучше пока не думать. Слишком страшно предположить, что столетия прошли вокруг нас одной лишь вспышкой поля доатомного состояния.

Поэтому лучше продолжить мою логическую атаку. Итак, во-вторых... Что же это за «во-вторых», которое докажет, что время на стенде почти остановилось? Оказывается, это «во-вторых» может спокойно обойтись без того, что я назвал «во-первых». Оно способно сразу же убедить любого физика. Суть в том, что, спасая себя от начавшейся цепной реакции вырождения атомов, мы замкнули вокруг себя Пространство... То есть довели до максимума гравитацию, а значит... остановили Время.

Да, мы остановили Время!

Опять подведем итоги. Мы получили доатомное состояние материи в условиях чрезвычайно замедленного хода времени. Но что это значит? Как это осмыслить, как объять это воображением и уложить в привычные слова? У меня сразу же возникло представление, гипотеза, я не могу сказать, что она истинна, но отказаться от нее пока нельзя. Она хоть что-то объясняет.

Я представил себе доатомное состояние в условиях замедленного хода времени, как нечто, набитое еще не рожденными, виртуальными элементарными частицами.

Вроде знаменитого «моря Дирака». Это «море» — своего рода рубеж, по одну сторону которого лежит привычный нам мир с его пространством и Временем, а по другую — антимир, с зеркальным пространством и обратным ходом времени. В нашем мире галактики разлетаются, в антимире — сбегаются. А граница — это доатомное состояние, это нуль Времени, это нуль Пространства. Люди, которые жили после наших с Ириной современников, а возможно, даже именно наши коллеги не могли этого не понимать. Отсюда золотая надпись: «Ушли в нуль-пространство». Наша жизнь не была напрасной, по нашим следам пошли другие, смелые и влюбленные, дерзнувшие восстать против власти Времени, бросившие вызов смерти.

Мы спустились с Ириной по родонитовым ступеням туда, где в синем сумраке дрожал бесчисленными огнями незнакомый и прекрасный город. Как космонавты, вернувшиеся с далеких планет, перешагнувшие бездну Времени, шли мы на встречу с нашими потомками. Мы никуда не улетали с Земли, и вместе с тем никто из людей никогда не был от нее дальше, чем мы в то звездное мгновение, которое вспыхнуло для нас огнем сожженных десятилетий. Мы медленно шли к незнакомым и очень близким людям. И я думаю, что они ждали нас. Надпись внутри хрустальной арки: «Решено не возводить в нем зданий и не прокладывать энерготрасс...» Они хотели, чтобы ничто не смогло помешать нам возвратиться из нуль-пространства домой.

— А почему ты думаешь, что они ждали нашего возвращения? — спросила меня Ирина.

Я сразу же ответил ей:

— Просто они подсчитали период полураспада вещества в наших аккумуляторах. Поэтому они знали, когда иссякнет энергия, питающая замкнутое гравитационное поле. Электроэнергия требовалась нам лишь как первоначальный импульс, в дальнейшем же поле существовало только за счет омега-частиц. Впрочем, кому я это объясняю?

Я засмеялся.

Ирина молча смотрела мне прямо в глаза.

— А я просто знаю, что они ждали нас... Не могли не ждать.



КОНГАМАТО

Сначала мне показалось, что под нами летит другой самолет. Потом я понял, что это наша тень. Она скользила по белому облачному экрану, четкая и стремительная, окруженная радужным кругом. Лихой силуэт самолета и семицветный сверкающий ореол казались эмблемой неизвестной, конкурирующей авиакомпания. Эмблема становилась все больше и больше. На какое-то мгновение она качнулась, заслонила почти весь горизонт и исчезла. Окошко заволокло белой волокнистой мглой.

Под облаками было сумрачно и тускло. Лишь кое-где на земле виднелись световые проталины. Постепенно их становилось все больше и больше. Медленно отставали последние облачные караваны. Они были строго ориентированы в одном направлении и напоминали туго натянутые параллельные нити, унизанные комочками ваты. Это была работа ветра.

Далекая, точно морское дно, земля была желтой и темно-серебристой, как антрацит. Изредка проплывали истерзанные клочки зеленых оазисов и словно очерчен-

ные рейсфедером прямоугольники и трапеции возделанных земель. Они выглядели жалкими и неуверенными, как постели начинающего кубиста, — эти поля дурры и элевзины, плантации маиса, кунжута, ячменя, арахиса.

Земля приблизилась. Жестяной блеск тронул рощи масляных пальм. Ручьем грязной охры мелькнул Голубой Нил. Можно было уже различить островерхие хижины и застывшие на шоссе лакированные жучки-автомобили.

Встреча с землей дала знать о себе тремя толчками. Мимо проносился иссеченный пустыней гудрон, колючая проволока, шахматные фургончики вспомогательных служб. Все было буднично, обыкновенно. Пассажиры отстегивали поясные ремни, засовывали в карманы журналы, зевали, ждали.

А рядом была Африка, Судан, Хартум.

В полутемном здании аэровокзала ко мне подошел высокий худой джентльмен. Несмотря на зной, его бежевый пиджак был застегнут на все пуговицы, галстук не ослаблен ни на миллиметр, отливающий ледяной голубизной воротничок безупречен.

— Господин Холодковский?

— ???

— Я Пирсон, Лестер Пирсон, главный геолог Экваториальной провинции.

— Здравствуйте, мистер Пирсон! Я не ожидал увидеть вас здесь. Это очень любезно с вашей стороны...

— Ну что вы, что вы! Пустяки. Просто я буду вам здесь полезен при выполнении всяких формальностей. И, кроме того, пока мы доберемся до Джубы, я успею ознакомить вас с обстановкой.

— Куда прикажете ваш багаж, сэр? — обратился ко мне худенький бой, с лицом резной сандаловой статуэтки.

— Гранд Отель, — ответил Пирсон и, вновь обернувшись ко мне, добавил: — Это один из лучших отелей. Там ждет вас довольно приличный номер с окнами в сад.

— Вы встречаете меня по-королевски.

— Это преувеличение. Я прежде всего забочусь о себе. В Капозта сейчас нет ни одного европейца.

— Капозта! Капозта! Для меня это звучит как музыка.

— Боюсь, что вы скоро разочаруетесь... Такси!

Старенький дребезжащий «кадиллак» с открытым верхом рванул с места и понесся по серому растрескавшемуся шоссе. О днище стрелял гравий, скрипел песок. Заметив, что я все время верчу головой, Пирсон тронул шофера:

— Медленней! Ничего интересного вы здесь не увидите. Кругом саванна. Слоновая трава, ксерофиты, изредка попадаетея баобаб.

— Баобаб?!

Пирсон улыбнулся.

— От аэропорта до Хартума всего пять баобабов, и очень маленьких.

— А это что?

— Пальма дум. Отличный войлок.

— А тропический лес?

— Он вам еще успеет надоесть. Разведка в сыром тропическом лесу — это ад.

— Вы давно живете в Капоэта, мистер Пирсон?

— В Капоэта? Моя резиденция, собственно, в Джубе. Но, впрочем, разница невелика. Семнадцать лет...

— Как, еще... Еще до того, как Судан стал независимым?

— Задолго до того. Местные власти попросили, чтобы я остался. Я одинок. Привык к этой стране. Вот я и остался... Да и не только я. В Москве мне говорили, что почти вся геологическая служба Судана в руках англичан. Предупреждали, что обстановка довольно сложная, и многое будет зависеть от отношений, которые у меня с ними сложатся.

— Как вы считаете, мы найдем нефть?

— Я не специалист по нефти. Но район знаю неплохо. Нефтегазопроявлений никто здесь не обнаружил... Впрочем, детальной разведки на нефть и не производилось. Поэтому последнее слово за вами.

— Я уже знаком с литературой... Знаю, что изучение недр Экваториальной провинции в основном связано с именами Дю Брассу, Леклерка, Бойля, Хемлейна, наконец, я знаком и с вашими работами... Знаю, что нефть здесь никто не находил. Но меня интересует ваше личное мнение. Что вам говорит... интуиция?

— Недавно ваши соотечественники нашли нефть на Амазонке, в районе, который американцы считали безнадежным. Поэтому моя интуиция предпочитает молчать.

— Откуда бы вы начали разведку?

— Вы знаете район?

— По документации.

— Тогда вы не знаете ничего. Ничего, кроме того, что это широкая котловина, обрамленная с трех сторон плато.

Пирсон сложил ладони лодочкой, пошевелил большими пальцами и соединил их.

— Это плато Азанде? — спросил я, указывая на сложенные пальцы.

Он искренне и жизнерадостно засмеялся.

— Совершенно верно! Плато Азанде. Водораздел Нила и Конго. А под ним, — он вывернул ладони тыльной стороной, — древние метаморфические и вулканические породы, нубийские песчаники, локальные терригенные отложения.

— Платформенная область не исключает антиклиналей.

— О да! Это же прогиб древнего фундамента Северо-Африканской платформы с докембрийским складчатым основанием, перекрытым палеозойскими, мезозойскими, третичными и четвертичными отложениями. Район Капозта — это сплошные синеклизы... Кстати, если вы начнете оттуда, то сэкономите много энергии. Пересыхающие реки — это лучшее, что вам встретится.

— А Оберра?

— Сплошные болота. Жаркие тропические болота.

— В Бразилии нефть нашли именно в болотах.

— Это совсем другой случай. На мой взгляд, Оберра совершенно бесперспективна. Впрочем, я не смею вмешиваться в дела вашей фирмы... Где вы изучили английский язык?

— На курсах.

— Простите?

— После окончания университета я посещал специальные трехгодичные курсы.

— Вы готовились к работе за границей?

— И да и нет. Я с детства мечтал о жарких странах, но не думал, что эта мечта осуществится.

Машина медленно ехала по узким и пыльным улочкам. Высокие глухие заборы из необожженной глины, посеревшие жесткие веера пальм, резкие тени и небо, синее и лаковое, как на итальянских открытках,

Откуда-то вдруг появилось несколько живописных оборванцев. Сутулый старик в рваном засаленном халате вытянул худую руку и что-то крикнул.

— Быстрее! — сказал Пирсон.

— Кто это? — спросил я.

— А-а! — Пирсон лениво махнул рукой. — Попрошайки. Не обращайтесь внимания... Вот уже и новый город. Скоро мы будем дома. Я зайду за вами часов в восемь. Если вы не возражаете, мы можем поужинать вместе.

— Буду очень рад. Но... мне нужно представиться в Горном управлении.

— В Хартуме работают только до двух. Так что потерпите до завтра.

Наш «кадиллак» остановился в кучей тени толстоствольных и коротколиственных пальм. В черном зеркале вертящейся двери блестел черный лак машины. Загорелое лицо Пирсона казалось там еще более темным. Я понял, почему оно мне сразу показалось знакомым. Пирсон был удивительно похож на Стенли. Не хватало только усов.

Я приподнялся было с сиденья, но мягким прикосновением руки Пирсон удержал меня на месте. Низколобий курчавый шофер в белой рубашке открыл дверцу и, сделав шаг назад, подождал, пока мы вылезем.

— Благодарю, господин, — сказал он у меня за спиной.

Толкнув дверь, мы прошли в прохладный и темный холл. На потолке вращался огромный пропеллер. Пальмовые жалюзи в незастекленных окнах дышали легко и ровно, как паруса фрегата. Над конторкой портье горел голубоватый фонарь. Витал сладковатый чад подгорелого масла. Жужжал вентилятор. Шуршали шины. Трещали цикады.

— Оранж? Манго? Шербет?

К нам подскочил молоденький бой. На голове у него был огромный поднос, покрытый торчащей, как айсберг, накрахмаленной салфеткой.

— Рекомендую манго, — сказал Пирсон.

Удерживая языком скользкий ледяной кубик, я медленно тянул удивительный сок. На меня дышали ароматом тропические леса и реки, цветущие, как сказочные сады. Зубы ныли от холода, небо покалывали нежные

пузырьки. Медленно от горла к ногам опускалось тающее прохладное облако, высыхал разгоряченный лоб, оседала усталость.

Откуда-то издалека доносился приглушенный рокот и чьи-то слова:

— Ваш ключ, господин.

— До вечера, сэр. Отдыхайте.

— Бой! Проводи господина.

У себя в номере я увидел забытую кем-то книжку. Она раскрылась как раз на описании болот Оберры. Такое совпадение показалось мне знаменательным. Я принял душ и, развалившись на тахте, принялся за чтение. На книгу падала полосатая тень окна. Пахло акацией.

... Четыре дня наш маленький пароходик тащился по Белому Нилу. Наконец, после короткой остановки в Миаге, мы вошли в мутные малахитовые воды Бахр-эль-Джебея. В период летних дождей река вышла из берегов и превратилась в бескрайнее озеро. Сейчас вода медленно возвращалась в свое русло. Быстрые струйки сплетались в тугие косички, закручивались штопором в темных водокрутах. Навстречу плыли бесчисленные острова из водорослей и папируса.

Чернокожий матрос в грязном голубом берете с огромным помпоном то и дело мерил дно. Быстрое течение вырывало багор из рук и не давало ему погрузиться даже наполовину. Но с сонным упрямством, полужакрыв маслянистые с фиолетовыми белками глаза, матрос продолжал заниматься своим бесполезным делом.

Берега были заболочены. Пятиметровая слоновая трава походила издали на милую сердцу окскую осоку. И нужно было некоторое усилие, чтобы представить себе, как проплывают в светло-зеленой мгле мимо погруженных в воду сочных листьев бронированные крокодилы, фантастические чешуйчатники, удивительные живые локаторы — мормирусы.

На палубу вышел Пирсон. Раскрыл шезлонг. Подвинул его в густую тень, отбрасываемую рубкой. Достал кожаный портсигар с неизменными портагос. Аккуратно обрезал сигару. Медленно выпустил струйку крутого осязаемого дыма.

— Если бы вы знали, сколько гибнет там рыбы! — Пирсон махнул рукой в направлении берега, — Вы видите

черно-белые точки? Вон там, левее. Видите? Это исполинские аисты абумаркубы с клювами, похожими на молот. Они охотятся за рыбой. Когда уходит вода, рыба запутывается в травах, остается в бесчисленных ямах. Туземцы таскают ее огромными, как цистерны, корзинами... Потом приходит очередь солнца. Вода в ямах нагревается и протухает, просачивается в почву, испаряется. Все реже вздрагивают засыпающие рыбы. Жирно поблескивают в мутной жиже их обнажившиеся спины, подрагивают склеенные тиной спинные плавники. Абумаркубы не спешат. Медленно бьют они рыб страшными клювами. Раз, другой, пока рыбы не перестают трепыхаться. Я видел, как корчились в грязи и одурело ловили воздух большущие электрические сомы. Это незабываемое зрелище... Вот так и на людей обрушивается несчастье—внезапно и неотвратно. Бьемся, трепыхаемся... М-да. Впрочем, все это пустяки. Болота Бахр-эль-Джебеля ни в какое сравнение не идут с Оберрой. Вот где настоящий ад! Помните Рембо? «Там, где змеи свисают с ветвей преисподней и грызут их клопы в перегное земли». Удивительно точно сказано... Но если бы только змеи...

— Что вы имеете в виду?

— Так... — медленно и задумчиво прогянул он. Потом, точно проснувшись, улыбнулся. — Но все это, наверное, негритянские сказки...

— О чем вы? Какие сказки?

— Простите ради бога. — Он вновь улыбнулся светло, искренне. Вдохнул, точно прогнал какую-то тяжесть. — Я просто увлекся, задумался и говорю вслух. А сказок о фантастических чудовищах еще наслушаетесь! Туземцы суеверны и склонны к мистике. Это неотъемлемо африканское. Не очень-то верьте всему, что вам здесь расскажут. Послушать их, Оберра — это фантастическая страна. На самом же деле — огромное жаркое болото, гниющее и зловонное. Нефти, наверное, нет ни в Оберре, ни в Капозта, но если ее искать, так только в Капозта.

Пирсон засмеялся. Но мне было как-то не по себе. Он явно чего-то недоговаривал. Слишком резок был переход. Словно Пирсон обманывал самого себя, выставляя скептицизм и самоутешение против каких-то неизвестных мне грозных фактов. От этого разговора у меня

осталось впечатление, будто я на миг увидел в темноте мерцающее покрывало какой-то тайны, но внезапно включили электрический свет, и все исчезло. Осталась только резь в глазах.

Загудел встречный пароходик и проплыл мимо, шипя и хлюпая. Отдаленным эхом отозвались травы. Трубили невидимые слоны, ревели гиппопотамы, плакали чибисы. Тропический закат разметался в полнеба. В голубовато-зеленом воздухе нервным, подрагивающим полетом кружились летучие мыши.

— Да... красиво, — протянул Пирсон, — страна фантастических происшествий и удивительных существ, расположенная вдоль берегов большой сказочной реки... Это Бенгт Берг. Вы читали Берга?

— Нет.

— Блестящий исследователь и чуткий художник. Эта страна поразила его и властно привязала к себе. Здесь, словно мыши в осоке, бродят в зарослях тростников тысячные стада слонов.

Пирсон бросил сигару за борт. Окурок зашипел и исчез в красной, как кровь, воде, затянутый под днище.

— Интересно, — пробормотал Пирсон, уходя в свою каюту, — что имел в виду Берг, говоря об удивительных существах?

С реки поднималась легкая и нежная прохлада. Береговые травы полиловели. Венчики папируса темнели на фоне заката силуэтами укропных зонтиков. Пахло сыростью, тмином и плесенью. Плескалась вода. Слоновой тушей дыбилось на корме укрытое брезентом оборудование. Смуглые лица матросов отсвечивали красными отблесками. Они играли в кости, варили густой кофе. В камбузе сиротливо чадил мангал. Кок был на палубе. Повернувшись спиной к закату, он справлял вечернюю молитву, доставая лбом до самого коврика. Руки его блестели от жары, оливкового масла и усердия.

До Джубы оставалось еще шесть дней пути. Там ожидали рабочие, письма, газеты и вертолет, который должен был доставить нас в Капоэта.

Капоэта, Капоэта... С чего начать разведку — с Капоэта или с Оберры? Сказочная страна! Эта сказочная страна рвалась в двадцатый век. Ей нужна была нефть. И от меня, молодого советского геолога, она ждала ответа,

Капоэта или Оберра? Оберра или Капоэта? В воздухе запели тончайшие струны комариных скрипок. Нужно было надевать противомоскитную сетку. Я прошел в каюту. Пирсон уже спал.

* * *

...Капоэта — большая нилотская деревня. Подобно кучкам опят, спрятались в тени широких банановых листьев маленькие островерхие домики. Единственная улица, делящая деревню на неравные части, переходит в гравийную дорогу на Джубу. В Капоэта много пустырей, заросших колючками и пыльными папоротниками. Повсюду видны плотные муравьиные кучи, достигающие порой высоты двухэтажного дома. Меня поселили в светлом финском домике, волею судьбы попавшем в этот сказочный край. В комнатах сохранился едва уловимый запах сосны. Он напоминает мне Ленинград, заснеженную станцию Васкелово, где мы с братом однажды встречали Новый год. Кажется, стоит выйти на порог, как выюга хлестнет по щекам зарядом соли и в ноздри ударит морозный аромат колючей хвойной лапы. Но, выйдя на крыльцо, можно увидеть лишь муравейник, у которого по вечерам собираются местные старики. Из окна маленькой кухоньки открывается вид на сушильную хлопка, возле которой нашел последний приют старенький колесный трактор. Худые нилотские мальчишки играют здесь в неведомые мне игры. Когда полуденное солнце буквально добела накалит прохудившийся радиатор, они жарят на нем зерна арахиса. Каждое утро меня будят глухие удары и противный, тянущий за душу скрип. Это полуголые темные женщины приступают к размалыванию проса и зерен. Они делают это на валунах, как тысячи лет назад это делали, наверное, их предки. Зато рядом в дырявой тени пизанга блаженствует парень в новых холщовых штанах и красной феске. Он жует бетель, время от времени сплевывая суриковую слюну, и почитывает газету. Это Махди — местный функционер южносуданской партии. Он работает мастером на маленькой маслобойне.

— Что вы читаете, Махди?

— «Ас-Судан аль Гедид», сэр.

— Ну, и что нового в газетах?

— Это старая газета, сэр. Свежая почта будет только послезавтра. Я уже прочел. Хотите почитать, сэр?

— Нет. Спасибо. Я не знаю языка.

— У меня есть газеты и на английском языке. Я получаю «Судан директори». Могу принести.

— Благодарю, Махди. У меня транзистор. До свидания, Махди.

— До свидания, сэр.

Я вышел на улицу и спустился вниз узкими, утоптан-ными до металлического блеска тропинками. Жители здесь никогда не идут рядом, а только гуськом, поэтому тропинки напоминают желоба. Маленькая керосиновая лавочка, фруктовая лавка, сарай, в котором сушатся табачные листья, сарай, в котором учатся дети, кузница и снова фруктовая лавка.

Капоэта кончается на желтом берегу широкого вади, на дне которого еще течет мутный, подернутый грязной пленкой ручеек. На другом берегу раскинулась обширная горная долина. В знойном мареве едва удастся различить серо-сизые вершины далеких хребтов. Слева Торрит, справа Хукудум. Тропинка вьется над самым обрывом, ошетиनिвшимся гигантскими репейниками. Из каждой трещины ползут цепкие, как бешеные кошки, кусты ежевики, кое-где желтеют подсолнухи.

Измощенное, высохшее русло вади тщетно пытаются напоить целых три источника: маленький ручей пресной воды, вытекающий из прохладной впадины, поросшей свежей зеленой папоротников, небольшое озерцо с соломатовой сернистой водой и глубокая щелочная лужа.

В долине расположились банановые плантации, маисовые поля. Они чередуются с ложбинками, в которых пасутся коровы и козы. Коровы здесь тучные, могучие, но молока дают до удивления мало — не больше четырех-пяти стаканов. Оно сладковатое и чуть-чуть отдает полынью.

Меня догнал стройный красивый мальчик с добрым и милым личиком чисто абиссинского типа. Он что-то кричал мне, показывая назад, на Капоэта. Я понял только два слова: господин и Пирсон. Но и этого было достаточно. Я угостил посланца мятными леденцами и возвратился в Капоэта.

Мы не виделись с Пирсоном две недели. Пока я изучал всевозможные структурные карты и профильные

разрезы, он был занят какими-то своими делами в Джубе. Пробковый шлем и шорты придавали ему еще большее сходство со Стенли. Мне было приятно видеть его, да и он, как мне показалось, обрадовался нашей встрече. Мы крепко пожали друг другу руки. Пирсон, ожидая меня, стоял возле своего запыленного «виллиса». Я пригласил его в дом.

— Ну, вы, я вижу, уже совсем здесь обосновались! — улыбнулся Пирсон, показывая рукой на вбитые в стенку многочисленные гвозди, на которых были развешаны бинокль, фотоаппараты, оружие, планшет и прочее снаряжение бродячего человека.

Я пододвинул ему табурет.

— Белый человек, — сказал он, усаживаясь, — всюду должен устраиваться прочно, будто он пришел навсегда. Он должен казаться неизбежным, как судьба.

— Боюсь, что времена Киплинга безвозвратно миновали.

— Да, конечно. Это я так, шучу. Но от одной ошибки мне бы хотелось вас серьезно предостеречь. Вам, русским, свойственно эдакое панибратское отношение к туземцам. Не качайте головой, дайте мне высказаться. Поверьте мне, господин Холодковский... Кстати, как у вас принято обращаться друг к другу?

— Меня зовут Андрей. Андрей Валентинович.

— Так вот, Эндрю, поверьте, что я не расист. Мне безразлично, какая у человека кожа. Но уровень культуры — с этим нельзя не считаться. Суданцы — и арабы и нилоты — привыкли видеть в белом человеке господина. То, что у них сейчас свое государство, еще ни о чем не говорит. Я здесь живу семнадцать лет и кое-чему научился. Пока они видят в вас господина, они вас слушаются и боятся. Не уважают, нет, африканцам это чувство неведомо, а именно боятся. Ради бога дайте мне высказаться! Я понимаю, что в вас все протестует против моих слов, но истина есть истина. К Африке нельзя подходить с привычной нам, европейцам, меркой. Здесь все иное.

Африка переживает переходный период. С одной стороны, в сердцах африканцев еще силен страх перед европейцем, с другой стороны, их все больше захлестывает стихия национализма, африканского единства и всякого такого...

В психике африканца сосуществует комплекс непол-

ноценности с презрением к белому. Стоит чуть-чуть ослабить чувство страха, как оно уступит место презрению. Не будьте фамильярны с ними, иначе наживете беду! Они станут просто смеяться над вами. Я вспоминаю свою поездку на Красное море в прошлом году. Там ваши специалисты налаживали бурильные агрегаты. Когда они появлялись в городе, их сразу узнавали по широким и мешковатым парусиновым брюкам. И что вы думаете? Арабы кричали им вслед: «Колья, корашью!» Ваши соотечественники только улыбались и махали в ответ руками. Они не понимали, что над ними смеются!

— Мне кажется, что вы преувеличиваете. Там, где вы видите насмешку, я вижу лишь проявление дружбы.

— Вот святая простота! Это насмешка, откровенная насмешка. Туземцам не понятно, как белый джентльмен может сам чистить себе ботинки или обходиться без надлежащего комфорта. Я уже не говорю о том, что такой белый лишает их привычного заработка, бакшиша. Вы даже не представляете, что значит здесь это слово: «бакшиш». Нет, нужно знать местные условия. Если туземец попросит вас дать ему напиться, не вздумайте протягивать стакан с водой. Он первый же начнет над вами смеяться. Я не говорю, что его нужно прогнать. Нет! Дайте ему монету, хоть целый соверен. Пожалуйста! Но ни на минуту не опускайтесь до него. Юридически он свободен и независим, но в душе — раб.

— Этим вы только лишний раз показываете свою неправоту, Пирсон. Я допускаю, что вы не ошибаетесь, говоря о рабских атавизмах в сознании отдельных граждан молодых африканских государств. Эти атавизмы — гнуснейшее наследие тяжелого прошлого, отзвуки веков рабства и угнетения. Человек не сразу обретает свое человеческое достоинство. Отголоски прошлого цепко держатся в нем, пригибают его к земле. Но они обречены, эти отголоски. Понимаете, Пирсон, обречены! Только новое необоримо, а остатки рабской психологии развеются как дым. Ваша же философия направлена на защиту этих атавизмов. Вы тоже, может быть, неведомо для себя цепляетесь за прошлое. Возможно, вы хорошо разобрались в отдельных частностях, но это не дает вам права обобщать. Вы не увидели главного. Африка уже не та, какой вы ее привыкли видеть, и африканцы не те. И с каждым днем перемены будут все заметнее.

— Не надо политики, Эндрью. Я хотел вам дать совет для вашей же пользы. Если вы не найдете путей к душам нилотов, вы не сможете с ними работать, не оправдаете надежд, которые администрация в Хартуме возлагает на помощь вашей страны.

— Благодарю вас за искренние намерения. Но, как говорят шотландцы, предоставим пастуху решать овечьи дела и не будем больше возвращаться к этой теме. Давайте лучше обсудим некоторые проблемы гравиметрии и сейсморазведки. Здесь-то мы уж наверняка будем говорить на одном языке.

— Ну что ж, как вам будет угодно. У нас, англичан, даже самые крайние убеждения не мешают дружбе. Кстати, я привез вам кое-какие материалы, которые мне удалось разыскать в Джубе... Посмотрите на досуге, может быть, что-нибудь пригодится.

Пирсон вышел из комнаты и через минуту вернулся с толстым бюваром.

— Чуть не забыл самого главного: вам письмо. Я захватил его с собой, а то почта будет только завтра.

— Письмо? Из Москвы?

— Нет. На этот раз вам пишут не из столь дальних краев.

— Ух ты! Алешка! Это от друга! Вад-Медани... Где это Вад-Медани?

— Провинция Джезира. Ваша компания и там ищет нефть?

— Возможно... Джезира, провинция Джезира. Как жаль, что у меня нет справочника по Судану!

— Я захватил для вас «Малый Лярусс». — Пирсон указал на бювар. — Он здесь.

— Не знаю, как мне вас благодарить! Ваша любезность делает из меня вечного должника.

— Э, под луной нет ничего вечного! Рад, что моя пустяковая услуга вам приятна.

Кто-то осторожно постучал в дверь. Бесшумно вошел Махди.

— Добрый день, джентльмены! — Махди притронулся двумя пальцами к феске. — Я принес вам плохие вести, — сказал он, подходя ко мне и обнажая в улыбке красные от бетеля зубы, — рабочие, которых вы привезли из Джубы, сбежали.

— То есть как это... сбежали?

Махди пожал плечами и вновь улыбнулся. Пирсон с интересом рассматривал его, потягивая гранатовый сок.

— Как это сбежали, Махди? Да и куда они могли сбежать? — еще раз спросил я.

— Наверное, в Джубу, сэр. Поймали на дороге по-рожный самосвал и сбежали.

— Но почему? Почему?!

— Я слышал, что они боятся... Не хотят идти туда, где Красный.

— Красный? Они боятся работать со мной потому, что я красный?

— Вы Красный? — Махди изумленно вытаращил глаза.

— Ну да, красный, из России.

Махди засмеялся.

— О нет, сэр. В этом они не разбираются. Для них вы белый господин, и больше ничего. Они боятся Красного, который живет в болотах Оберры. У нас не принято называть его по имени. Я понимаю, что это суеверие, но говорят, что имя его приносит несчастье.

Я совершенно ничего не понимал. Какой Красный? Какое несчастье? И при чем тут рабочие, которые, неизвестно почему, сбежали на попутном самосвале в Джубу?

— Вы что-нибудь понимаете во всем этом, Пирсон?

— Боюсь, что да... Откуда вам известно, — обратился он к Махди, — что рабочие сбежали из-за страха перед Красным?

— Так люди говорят, сэр.

— Ах, люди! Ну тогда все понятно! Вы можете идти, мистер Махди. Русский джентльмен вам очень благодарен за сведения. Узнаете что-нибудь новое — заходите... Да, постойте!

Махди, который был уже у самой двери, полуобернулся.

— Кто сказал рабочим, что русский джентльмен собирается отправить их на болота Оберры?

— Не знаю, сэр. Но люди говорят, что рабочие не хотели убивать Красного.

— Ну и отлично, если не хотели. Почему же они тогда сбежали?

— Они были уверены, что белый господин хочет взорвать свои патроны на Оберре и убить Красного.

— Вы собирались начать сейсморазведку с Оберры? — обернулся ко мне Пирсон.

— Нет... То есть я думал... Но объясните же мне, наконец, что происходит.

— Так... Хорошо. Не смею вас далее удерживать, мистер Махди. Рад был с вами познакомиться.

Махди ушел.

— Вы говорили рабочим, что собираетесь работать на Оберре? — спросил меня Пирсон сразу же, как хлопнулась дверь.

— Насколько помню, определенного я ничего не говорил... Я рассказал им, что мы вместе будем искать нефть, которая так нужна их молодой стране, что это очень важно и почетно...

Пирсон молчал. Лицо его было бесстрастно. Ирония, с которой он меня слушал, проявлялась лишь в легком дрожании губ.

— Ну, а про Оберру вы им говорили?

— Я только упомянул, что мы, возможно, будем работать и на Оберре, и на плато Капоэта.

— Теперь мне все ясно! Я искренне соболезную вам, Эндрю, хотя мне, скорее, следовало бы напомнить вам мой совет, которым вы в свое время так легкомысленно пренебрегли. Последствия, как говорится, налицо.

— Что вы имеете в виду? Какой совет?

— Совет не фамильярничать с нилотами. Это же дети природы, цивилизация почти не затронула их. По сравнению с ними даже суданцы центральных провинций выглядят подлинными европейцами. Но вы... Впрочем, упреки теперь излишни. Вы закатали перед этими темными людьми, которые, кстати сказать, знают по-английски не более сотни слов, пламенную речь. О чем? О нефти, которую они ни разу не видели. Зачем? На этот вопрос затруднительно будет ответить даже вам самому. В итоге вы проговорились, что собираетесь работать на Оберре, и, наверное, попытались популярно объяснить, что же именно вы там собираетесь делать. Из этого объяснения они поняли лишь одно: белый господин собирается взрывать на Оберре тетриловые патроны. Зачем взрывать? Да, очевидно, затем, чтобы убить Красного. Через час грохочущий самосвал, подсакивая на пыльной гравийной дороге, увозил ваших рабочих в Джубу... Что вы теперь собираетесь делать?

Я был в полной растерянности и все еще ничего не мог понять.

— Я не могу поставить вам в вину, что вы решили начать разведку с Оберры, а не с Капоэта, — продолжал Пирсон. — Я, правда, с самого начала советовал вам как раз обратное, но вы, а не я, отвечаете за порученное вам дело, и ваше право принимать решение. Тем более, что, в сущности, и Оберра и Капоэта одинаково бесперспективны, и разница между ними лишь в трудности производства работ. Но так обращаться с туземцами! Здесь-то вы уж могли довериться моему скромному опыту... Я вижу, что вы все еще не поняли ситуации, в которой очутились?

— Признаться, да. Я не нахожу объяснений непонятному бегству рабочих. Да еще тут этот... как его?.. Красный! Кто такой этот Красный?

— Ах, вы хотите узнать о Красном? А зачем, позвольте вас спросить? Зачем вам, убежденному материалисту, знать о темных суевериях древнего народа? Вы же не собираетесь извлекать из этого пользу! Ведь ваши убеждения не позволяют вам приспособливаться к обстановке. Я расскажу вам о Красном, а вы завтра же выступите перед нилотами с антирелигиозной лекцией... Учтите, мой бедный молодой друг, бегство рабочих — это еще не самое страшное. Если вы станете разглаживать с нилотами о Красном, то рискуете в одно прекрасное утро вообще не проснуться. Заключение джубского врача, между прочим, милейшего человека, будет крайне лаконичным. «Exitus letalis»¹, — скажет он, пощупав остановившийся пульс... Но вас это не пугает, не правда ли? И вы по-прежнему хотите, чтобы я рассказал вам о Красном? Ну, вот видите, я в этом не сомневался! Белый человек всегда остается белым человеком, кто бы ни были его предки: Писарро, Кортес, полковник Лоуренс или генерал Скобелев...

Но я не расскажу вам о Красном. По крайней мере, теперь. Нужно спасти положение. Я поеду в Джубу и попытаюсь уговорить рабочих. Надеюсь, что мне это удастся. Дело прежде всего. А побеседовать мы еще успеем. Но, бога ради, не поступайте впредь столь опрометчиво. Мое влияние здесь весьма ограничено, и я не всегда смогу прийти вам на помощь.

¹ Смертельный исход.

И, не давая мне опомниться, Пирсон поднялся из-за стола, пригладил волосы и, сняв с гвоздя шлем, вышел из комнаты. Я никогда не думал, что он может быть таким экспансивным и многословным. По-видимому, английская холодность — не что иное, как обычная сдержанность. Да и то до поры до времени. За окном взвыл стартер и затарахтел двигатель. Окутанный синим ядовитым облаком «джип» понесся по выбеленной гравийной дороге.

А на другой день я получил телеграмму:

«Все улажено набрал новых рабочих тех же условиях буду среду Пирсон».

* * *

— ...Ну что же, если вас это так интересовало, я расскажу вам о Красном, — сказал Пирсон, когда мы встретились после его возвращения из Джубы. — Конечно, более подробные сведения вы могли бы почерпнуть из работ Ивэна Сэндерсона, Френка Меллэнда, маркиза де Шатело. Кое-что вам могли бы поведать и такие господа, как Бертен из Парижского музея или педантичный систематик Симпсон. Хотя вы, наверное, и не слыхали об этих людях?

— Да, должен признаться... Правда, мне попалась как-то на глаза одна книжка Сэндерсона... Ну да! Конечно! Я нашел ее в своем номере в день прибытия в Хартум. Она, как нарочно, раскрылась на описании болот Оберры. Интересное совпадение, не правда ли?

— Совпадение? Ну, нет! Будь я добрым протестантом, я бы счел это знамением. Но я атеист. Так, значит, вы прочли у Сэндерсона то место, где говорится о конгамато?

— Конгамато?

— Таинственный птеродактиль, живущий в болотах Джиунду и Оберры.

— Ах, это! Я счел это фантазией, описанием местных суеверий.

— Фантазией? Красный, из-за которого вы чуть было не остались без рабочих, тоже фантазия? Почему же вы так жадно ею интересуетесь? Вам скучно? Вы хотите, чтобы я развлек вас сказками?

— Вы меня неправильно поняли, мистер Пирсон. Я и

без того слишком многим вам обязан. Требовать же от вас еще и сказок...

Пирсон расхохотался.

— Вы остроумный человек, Эндрью, и сразу же поставили меня на место. Теперь я вижу, что моя обидчивость была просто смешна. Единственное, что меня в какой-то мере оправдывает, это мое отношение к истории Красного. Это очень серьезная история, сэр, чтобы не сказать больше.

— Из вас бы вышел отличный автор детективов.

— Что вы этим хотите сказать?

— Вы превосходно умеете разжигать любопытство!

— Не в этом дело, Эндрью. Слишком непростая это история... У вас найдется, чем промочить горло?

— Виски-сода?

— Я не пью виски. Какой-нибудь сок или, на худой конец, просто холодная вода.

Конечно, это глупо, но мне и в голову не приходило, что могут быть непьющие англичане или американцы. Наверное, лицо у меня в этот момент было довольно глупое, потому что Пирсон посмотрел на меня с некоторым удивлением. Я спустился в пахнущий муравьями сырой погреб и достал из огромного, наполненного водой глиняного кувшина бутылку виноградного сока.

— Не надо наливать воду в кувшин, — сказал Пирсон, потягивая сок, — она быстро согревается. Лучше обмотать его мокрым полотенцем... Да, с чего же мне начать рассказ? Признаться, я уже забыл, где и когда впервые услышал о конгамато. По-моему, это было на второй год моей работы в Судане... Или на третий... Как-то я познакомился с одним нашим чиновником. Это был пожилой человек, исколесивший всю Африку. Не помню, с чего начался этот разговор, но чиновник сказал мне в тот раз: «Здесь по соседству живет птеродактиль». И сказано это было так спокойно и невыразительно, точно речь шла об английском пони. Естественно, что меня это взволновало, и я начал расспрашивать, что и как.

«Птеродактиль живет на юго-востоке Оберры в жарких болотах, которые тянутся по обе стороны границы Судана и Кении», — ответил чиновник.

«Но вы-то его когда-нибудь видели?» — спросил я.

«Нет, это не входит в мои обязанности. Но негры и нилоты совершенно уверены в его существовании»,

«Как же они его называют?» — спросил я.

«Конгамато, — ответил чиновник, — Он достигает семи-восьми футов в размахе крыльев».

Вы понимаете, Эндрю, семь-восемь футов! Я был просто потрясен. Я начал расспрашивать местных охотников, стариков. Описания были довольно точными: кожистые крылья, длинный острый клюв с зубами, гладкая кожа — все говорило о том, что это живой птеродактиль. Тогда я решил отправиться к болотам Оберры. Я готов был пойти на любые лишения, лишь бы воочию увидеть доисторического птерозавра.

Да, милый Эндрю, я готов был на все, но что значит это «все», я понял, только когда попал в заболоченные джунгли Оберры. Какой-то мудрый человек сказал, что для безумца, вступающего в джунгли, бывает только два приятных дня. Первый день, когда, ослепленный их чарующим великолепием и могуществом, он думает, что попал в рай, и последний день, когда, близкий к сумасшествию, он бежит из этого зеленого ада.

«Какого цвета летающая ящерица?» — спросил я старого хромого негра-балухья с соленого озера Рудольфа. «Красная, как кровь», — ответил он и подмигнул мне красным изъязвленным глазом. Я не поверил. Мне до сих пор непонятно почему, но я представил себе птеродактиля черным или серым.

А каким представляли себе птеродактиля вы, Эндрю? Тоже черным? Ах, коричневым! За этим кроется какой-то дефект нашего мышления. Никто и не воображал, что птеродактиль может быть алым, как клюв фламинго! Но все негры твердили, что конгамато красный, как кровь. Они так и называли его Красный. Никто из них не хотел употребить слово «Конгамато». Тогда я прибег к испытанному средству и стал щедро раздавать подарки.

«Опасно даже произносить имя животного», — отвечал мне молодой охотник, не сводя жадных глаз с ножа золингеновской стали. Отличный был нож! Три пляшущих человечка¹.

«Nigger dance², — сказал, безбожно коверкая язык, старый балухья и протянул руку к ножу. — Его зовут конгамато. Он очень злой. Он откусывает людям руки,

¹ Знак фирмы. Количество выгравированных на лезвии пляшущих человечков символизирует качество стали.

² Негритянский танец.

уши, носы. Отец моего отца умер после возвращения из болот Оберры».

«А ты сам видел хоть одного из них?» — спросил я.

«Нет! — ответил балухья. — Поэтому я жив».

«Неужели он так страшен?»

«Белый, я готов скорее встретиться один на один с разъяренным слоном или голодным львом, чем с конгамато. Подари мне топор, белый, — балухья указал на висевший у меня на поясе топор, — и я отведу тебя к Мбого. Мбого видел конгамато собственными глазами».

Мбого жил в пограничной с Суданом кениатской деревушке Тоденьянг. Впервые мне стало стыдно, что я англичанин, Эндрью. Поверите ли, каждый второй житель деревушки был болен. И как болен, Эндрью! Кроме болезней, связанных с недоеданием и авитаминозом, в здешнем «букете» была оспа, малярия, проказа, трипанозомоз. Я отдал им весь свой хинин. Чем я еще мог помочь?

Мбого однажды ужалила муха цеце, а крокодил отхватил ему руку по самое плечо. Голова его тряслась. Он засыпал на ходу и неожиданно просыпался. Мухи копошились на его черном лбу, но он не отгонял их. Его единственная рука едва держала печеный банан. Он не принял моих подарков. Они ему были не нужны. Он был философ, этот Мбого, презревший суету жизни и погруженный в созерцание.

«Тело без перьев и без чешуи, очень большой клюв, зубы крокодила. — Мбого покосился на свою уродливую культяпку. — Крылья такие же, как у летучих мышей, но большие-пребольшие, кожа красная и блестящая, кричит сдавленным голосом.

Я должен был умереть в тот день, ибо нельзя безнаказанно видеть большую летающую ящерицу...»

«А находили ли вы когда-нибудь мертвого конгамато?» — спросил я Мбого.

«Нет, белый, он никогда не покидает болот и там исчезает бесследно, когда умирает».

У меня был с собой «Малый Лярусс», и я показал неграм рисунок птеродактиля.

Они были потрясены.

«О! О! Конгамато! Но наш гораздо крупнее!»

Изображение было величиной с дюйм.

Я не буду рассказывать вам, Эндрью, о моем спуске в девятый круг ада. Болота Оберры — это царство ужаса, над которым безраздельно господствует красный, как кровь, крылатый крокодил — вестник смерти. Я обследовал все протоки, все черные гнилые ямы, заводи и ручьи, протекающие по болоту. Но птеродактиль не появлялся. И все же вслед за Шатело я повторяю, что уверен в существовании конгамато. И вот по каким причинам. Я спросил добрую сотню людей разных племен: камба и кукулю, балухья и ньяка; я беседовал с арабами и нилотами, индийцами и белыми, дикими банту и кушитами. И все, кто осмеливался говорить о конгамато, описывали его совершенно одинаково. Если бы речь шла о вымышленном животном, описания были бы разные. Никогда негр не расскажет вам о слоне в три человеческих роста или о носороге, у которого больше чем два рога. Все говорили, что конгамато — существо обычное, но только более опасное, чем леопард, лев или черная мамба, самая страшная змея в мире.

Старая Нхаве, жена местного вождя, сказала мне, когда я забрел в одну убогую деревушку, что мои поиски обречены на неудачу: ее муж, великий охотник, давно уже убил последнего конгамато.

Так ли это было или нет, но десять лет спустя Питмэн, известнейший в Африке охотник, писал, что слышал в Кении и Северной Родезии рассказы о мифическом существе, один взгляд на которого равносителен смерти.

Конгамато существует, Эндрью, я в этом уверен. Поэтому и разбежались ваши рабочие, поэтому и я с первого дня отговаривал вас от разведки на Оберре. Я не рассказывал вам обо всем сразу, потому что не мог рассчитывать на ваше доверие. Но после того как в паническом страхе разбежались рабочие, вы и без меня узнали о конгамато. И я решился рассказать вам все, что знаю об этом существе, окутанном тайной и ужасом. Повторяю, я не видел красного птеродактиля, но уверен, что он существует. Если вы даже узнаете, что на Оберре есть признаки нефтеносности — не ходите туда! Там конгамато. Это все, что я хотел вам сказать, Эндрью. Вы же вольны поступать, как вам будет угодно.

Пирсон вытер мокрый лоб платком. Он встал и отошел к окну. Мне показалось, что его руки слегка дрожат.

— Но вы же, вы, мистер Пирсон, не побоялись пойти на Оберру! И не за нефтью — за конгамато! Почему же я...

— Вы хотите идти на Оберру? — резко перебил он меня и круто отвернулся от окна.

— Да!

— Так я и знал! Я не должен был откровенничать с вами. Мой рассказ вы употребили во зло. Вы приехали сюда искать нефть, а не гнаться за призраками. Я говорю вам это, как официальное лицо, как главный геолог провинции.

— Я буду искать нефть, только нефть, одну только нефть.

— Вы обманываете сами себя. Ветер приключений кружит вашу разгоряченную голову... Нет, я думал, что русские другие... Простите меня за откровенность, но вы ведете себя как бойскаут, начитавшийся капитана Майн Рида. Это полнейшая безответственность. Я не могу вам запретить разведку на Оберре, вы мне не подчинены, но я употребляю все свое влияние, чтобы Хартум запросил на ваше место другого геолога.

— Вы этого не сделаете, Пирсон! Я ищу нефть, я знаю, где ее нужно искать.

— Конечно, в болотах Оберры?

— Именно там, и хотите знать почему?

— Говорите.

Я взял бювар с документацией, которую привез мне на днях Пирсон, и достал оттуда тонкую, тщательно сложенную кальку.

— Вот! — сказал я и протянул кальку Пирсону.

— Что это?

— Сейсмограмма.

Пирсон осторожно развернул кальку, положил на стол и разгладил ее ладонью.

— Вы видите этот двойной пик, этот длинный спаренный зуб? — спросил я его.

— Откуда у вас эта сейсмограмма? — шепотом спросил он.

— Я нашел ее в пачке старых документов, которые вы мне принесли.

— Да, но как узнать, где находится этот разрез?

— А вы посмотрите экспликацию! Там дана привязка к озеру Рудольфа.

— Действительно! Странно...

— Что странно?

— Я не понимаю, Эндрю, как мог не заметить этой сейсмограммы... Очевидно, она была получена беднягой Эрлом. Он один занимался сейсморазведкой на Оберре. Он бесследно исчез. Нашли только его трубку и полевую сумку... Наверное, это его сейсмограмма. Да... интересная ситуация... Но одной сейсмограммы еще недостаточно. Не так ли?

— Я скореллировал ее с данными гравиметрии. Я почти убежден, что Оберра перспективна.

— Все же вы хорошо подумайте, Эндрю. — Пирсон широким шагом направился к двери и, не сказав больше ни слова, прошел к машине.

* * *

Мы разбили лагерь вблизи стремительной речушки с черной водой. Она напомнила мне мокрые московские улицы, усыпанные желтыми листьями. Прихотливый ленточный извив реки терялся в тростниковых зарослях, в которые вклинивались узкие полосы мангров. Под сетью уродливых воздушных корней и серых присосков лианы пузырилась бело-коричневая пена. Заполненные горячей протухшей водой канавы затащила золотисто-бурая пленка тины. Местами виднелись участки подсохшей, орнаментированной широкими черными трещинами грязи. Нигде ни травинки. Всюду скользкие холодные грибы, изъязвленные спорами папоротники, лианы и мхи. Золотые, оранжевые, голубоватые, пепельные мхи. Воздух абсолютно неподвижен. Оранжевый запах, смешанный с клопиной вонью. Душная жаркая сырость. Одежда прилипает к телу, как компресс, и никогда не просыхает. Сигарета гаснет после второй затяжки. То ли оттого, что воздух влажен, то ли оттого, что он напитан углекислотой гниения и распада. Редкие, как глубокой осенью, лакированные жесткие листья покрыты испариной. Капли сталкиваются, как ртутные шарики, сливаются, струйками сбегает с листа на лист. Ни на минуту не прекращается этот дождь при безоблачном небе. В заполненных влагой дуплах и прогнилинах на древесной коре зачарованными бабочками висят орхидеи — лиловые и нежно-фиолетовые, красно-желто-черные и розовые,

белые с коричневыми крапинками. Удивительная кора мангровых деревьев! Черная, покрытая липкой слизью, источенная улитками и жуками.

Лишь у реки можно дышать свободно. Прохлада, напоенная горьковатой свежестью больших холодных цветов, вырывается она из гнилого сумрака мангров, чтобы исчезнуть в зеленых джунглях болотных трав.

Продираясь сквозь заросли жесткой и режущей травы, спотыкаясь о кочки, проваливаясь в гнилые ямы, наполненные вонючей мылкой водой, мы с Махди выбрались наконец к реке.

Если б не Махди, я бы не смог пройти эти двести шагов от палаток до реки. Махди сам попросился ко мне в отряд, а Пирсон лишь похлопотал за него на маслобойне. Все произошло помимо моей воли. И я был очень рад, что все сложилось именно так. Махди нес ружья — свое и мое. А я только балансировал руками в воздухе, стараясь сохранить равновесие, или цеплялся за траву, отчего на моих пальцах, появились тонкие саднящие порезы. Они долго потом не заживали. Но все это пустяки. Я боялся лишь одного — наступить на змею. От одной только мысли об этом сердце соскакивало вниз и пот на разгоряченном лице становился холодным. Пиявки, тигровые улитки, фараоновы вши — все это не шло в сравнение с каким-то поистине мистическим страхом перед невидимыми змеями. Даже таинственный конгамато не пугал меня. Скорее, наоборот: втайне я даже надеялся на встречу с ним. Но змеи... змей я боялся.

Добравшись до берега, мы умылись, сняли влажные рубашки и развесили их на шатких тростниковых стеблях. Нежный ветерок ласково обдувал разгоряченную спину. Влажная кожа быстро высыхала. За спиной у меня раздался шелест. Я резко обернулся. Из тростников, медленно и важно переступая длинными тонкими ножками, вышла большая жирная дрофа. Она была совсем рядом. Я видел, как лоснятся нежные шелковые перышки на ее шее, как переливается лилово-зеленоватый нейлон головки. Махди втянул голову в плечи и весь подобрался, как леопард перед прыжком. Я тоже затаил дыхание.

Не замечая нас, дрофа направилась к воде. Когда она погрузилась уже по грудь и клюв ее закопошился

в подводном иле, я, не отводя глаз, нашарил ружье, осторожно подтянул его и спустил с предохранителя. Подраненная птица рванулась вверх. Рядом бабахнул выстрел Махди. Оставляя на воде смыкающуюся стеклянную борозду, дрофа в бессильном порыве понеслась к другому берегу, но, не достигнув даже середины реки, забилась, захлопала крыльями и перевернулась. Течение повлекло ее к болотам. Я бросился в воду. К счастью, речушка оказалась довольно мелкой, а дно твердым. То и дело падая и путаясь в скользких нитях водорослей, я догнал дрофу.

— Таке саче! Таке саче!¹ — раздалось у меня за спиной.

Не столько смысл этих ломаных английских слов, сколько голос Махди, в котором дрожала высокая срывающаяся струна первобытного страха, заставил меня нырнуть под воду.

Когда, ослепленный водой и прилипшими к глазам волосами, я выскочил на поверхность, надо мной мелькнула чья-то громадная тень.

Мир дрожал и переливался в мокрых ресницах. Какая-то огромная птица летела над самой водой на закат. Она была величиной с орла и показалась мне черной. Я бросился к берегу. Когда я встал во весь рост, то ничего уже не увидел. Необозримые метелки тростника медленно колыхались на фоне заката. Они тоже показались мне черными, как тени на озаренной камином стене. На самом горизонте воздух подрагивал и мутнел. С болот Оберры поднимался туман, в котором растаял химерический призрак.

Наши ружья валялись на берегу, рубашки успели высохнуть. Махди нигде не было видно. Я позвал его. Но мой зов разбился о глухую преграду шуршащего и шепчущего тростника. Двести шагов отделяли меня от палаток. Всего двести шагов! Но я уже знал, что стоит войти в тростники, как сразу же теряется направление. Можно часами блуждать там, шатаясь от усталости и ужаса, в каком-нибудь шаге от человеческого жилья. Я поднял патронташи и, зарядив оба ружья, выстрелил. И опять меня окружала шелестящая тишина. Она напоминала шум приложенной к уху раковины.

¹ Осторожно! Осторожно!

Рядом бежала немая черная вода. Где-то урчали и пели огромные лягушки. Я вспомнил стихи:

Дай за это дорогу мне торную
Там, где нету пути человеку,
Дай назвать своим именем черную,
До меня не открытую реку.

Я чувствовал себя полным банкротом. Романтика ослепила меня своим радужным павлиньим шлейфом и предала. Совершенно случайно я вспомнил о миниатюрном компасе, укрепленном на ремешке часов. Крохотная, фосфоресцирующая в быстро густеющем сумраке стрелка мерцала неверным болотным огоньком. Я плюнул, выругался, надел рубашку, подобрал ружья и патрон-таши и вошел в тростники.

Через час я был уже в лагере. Злой, израненный, залепленный грязью, но спокойный. В лагере никого не было. Рабочие исчезли, побросав снаряжение и оборудование, опрокинув рацию и растоптав высыпавшиеся из порванного бумажного мешка газеты.

В моей палатке я нашел Махди. Он спал, завернувшись в антимоскитную сетку. Рядом с ним валялась фляга с джином. Пахучая жидкость медленно пропитывала землю. Махди был мертвецки пьян.

Я подошел к желтому баку с красной надписью «Пресная вода» и открыл кран. Сначала я пил воду захлеб, потом стал лениво цедить ее сквозь зубы, под конец она уже просто лилась мне на лицо. Неудачи преследовали меня. Нас в лагере осталось только двое, и незачем было беречь воду. Я закрыл кран и улегся на циновку, подоткнув со всех сторон сетку. Потом мне захотелось покурить. Я закурил сигарету, время от времени выгоняя из-под сетки скапливающийся дым. Наконец я уснул.

— Я очень испугался, сэр! — объяснял мне утром Махди. — Конечно, я не верю во все эти сказки про летающую красную ящерицу, но то был действительно опасный зверь. В тот момент, когда вы нырнули, он напал на меня. Только я хотел схватить ружье, как над моей головой засвистели крылья: «шисс, шисс». Надо мной, щелкая зубами, пронесся огромный вампир. Я испугался и побежал. Потом меня что-то толкнуло в спину, и я

упал, закрывая руками голову. Я долго пролежал так — лицом вниз и не раскрывая глаз. Потом медленно пополз. Чудовище, видимо, улетело. Тогда я поднялся, прыгнул в траву и побежал к лагерю.

В лагере меня обступили рабочие.

«Что это за летучая мышь такого размера, как размах моих рук, и черная?» — спросил я у них.

«А где ты видел ее?» — спросили они.

«Там», — ответил я и показал рукой на реку.

Это так испугало их, что они бросились бежать, круша все на своем пути, как носороги. Они бежали, не разбирая дороги, напролом, через мангровые заросли. Мне опять стало страшно. Страшнее, чем на реке, мне стало от этого бегства.

— Зачем же вы рассказали о происшествии на реке этим темным, суеверным людям? — спросил я Махди. — Вы же знали, что они убегут.

— Простите, сэр. Я очень виноват, господин, но мне было страшно, и я не подумал о последствиях.

— Почему же вы не убежали вместе с ними, если вам было страшно?

— Мне было страшно по-другому, чем им. Я просто испугался, а они испугались вестника смерти. Притом как же бы я бросил вас одного? Нет, я не мог убежать вместе с ними.

— Ну хорошо, Махди, забудем об этом случае. Подумаем лучше, как нам быть.

— Возвращаться надо, сэр! Все равно вы ничего не сможете сделать здесь без рабочих.

— Хорошо, Махди, я подумаю. Вы идите готовить завтрак, а я подумаю.

Но долго размышлять, собственно, было не о чем.

Очевидно, все придется начинать сначала. Почти четыре месяца пропали зря... И кто знает, сколько еще понадобится времени на возвращение в Капозта, на поиски рабочих и новый поход на болота Оберры... Мне не в чем было себя упрекнуть, но в глубине души я чувствовал, что в провале экспедиции есть немалая доля и моей вины. Я вспомнил о том, как работал в Туркмении, в Западной Сибири. Там работа была самоцелью, а здесь... Здесь слишком много отвлекающих факторов. Насекомые и цветы, черные вонючие реки и потные восковые листья, медлительное скольжение питона и брачный

полет термитов — все это властно приковывало мое внимание. Я слишком многому удивлялся, слишком спешил вобрать в себя все чудеса окружающего меня мира. Мои органы чувств не знали отдыха. И в мозг поступали все новые и новые сигналы, заставлявшие его напряженно работать, запоминать, сопоставлять, поражаться. Я не то чтобы небрежно относился к своим обязанностям, просто я выполнял их как-то слишком уж формально. Я понимал, что послан сюда на поиски нефти, а не для изучения букашек. Более того, я знал, что все, что меня так удивляет, уже давно описано тысячами исследователей и собрано в сотнях книг. Но я-то ведь видел все это впервые! И не мог заставить себя не смотреть, не обонять, не слышать!

Мне просто не хватало привычки, той повседневной привычки к окружающему тебя миру, которая помогает отделять главное от второстепенного, а многое и просто не замечать. Но привычку дает только время. Вот почему, сознавая всю взятую на себя ответственность, я пока мог лишь выполнять свои обязанности там, где от меня требовалось творчество.

Я разложил на циночках собранный за эти четыре месяца материал. Его никак нельзя было назвать бедным. Здесь были сейсмограммы, полученные с помощью КМПВ¹, обработанные результаты гравиразведки, профильные разрезы, структурные карты. Казалось бы, я мог быть спокоен, собрав столь убедительные данные о бесперспективности района на нефть. Не виноват же я в том, что на Оберре не оказалось нефти! Вот и Пирсон предсказывал, что я здесь ничего не найду... И все же я знал, что, несмотря на формальную убедительность вороха карт, миллиметровок и калек, у меня нет морального права на какой бы то ни было определенный вывод. И не потому, что я мало работал. До сих пор у меня в ушах шумят отголоски сейсмических взрывов, а язык сохранил сладковатый вкус тетрилла. Сколько раз на день я делал косой срез на огнепроводном шнуре и, прижав к пороховой начинке спичечную головку, чиркал о нее серой. Потом отбегал подальше и, открыв рот, ожидал взрыва. Как кадры бесконечной киноленты, мелькают у меня перед глазами самописцы сейсмографов, капсюли-

¹ К М П В — корреляционный метод преломленных волн.

детонаторы, пачки взрывчатки и бунты лакированного шнура.

И все же...

А может быть, это только мне кажется? И я напрасно занимаюсь самоистязанием?

Ни одна из полученных мною сейсмограмм даже отдаленно не напоминала ту единственную, которую я обнаружил в бюваре Пирсона. Естественно, что каждый раз я испытывал неизбежное разочарование. Ведь я искал не вообще, а нечто определенное, кем-то когда-то найденное. Искал и не находил. Что ж, постоянное разочарование и каждодневное открытие, что ты ищешь не там, где надо, могли породить в итоге чувство недовольства собой. Ведь и крепчайшие базальты и гнейсы рушатся под незаметными, но постоянными ударами капель воды.

И все же...

Нет, я не мог найти ответа на мучившие меня сомнения. Что-то знакомое вдруг выплывало из плотного клубящегося тумана, сверкало перед глазами, как пыль в косом световом луче, но стоило протянуть руки, и оно ускользало, оставляя за собой тревогу и недоумение. Что же это было? Все усилия припомнить, понять, осмыслить приводили к прямо противоположному результату. Напряжение мозга рождало новые провалы памяти. Это как хорошо знакомое слово, которое вдруг забылось. И бесполезно его вспоминать. Оно придет когда-нибудь само, нужно только перестать о нем думать. Отвлечься. Переключиться.

В который раз сравниваю я свои сейсмограммы с той единственной и неповторимой и нигде не нахожу столь характерного и выразительного двойного зубца.

— Простите, сэр, — отвлекает меня Махди, — завтрак готов.

Мы садимся завтракать. В ноздри бьет ароматный пар. Под ложечкой рождается сладкая спазма. Голод берет свое, и я на время забываю о сомнениях и сейсмограммах. Махди испек в листьях папоротника отличного чешуйчатника. Бело-розовое мясо легко отделяется от колючего хребта. Особенно вкусны жаберные крышки. Я высасываю их жирные горячие мешочки, как клешню краба. Батат также превосходен! Жаль, что нет сметаны. Со сметаной было бы вкусней... На десерт маисовый

початок, консервированная колбаса с подливкой из жженого сахара и чай с ромом.

Отличный завтрак!

— Спасибо, Махди! Все необыкновенно вкусно. Теперь можно покурить и обсудить наше скверное положение.

Но мне оно уже не кажется столь скверным. Не знаю почему, но я уверен, что выход найдется и все будет хорошо. Сигаретный дым клубится в зеленом сумраке палатки и нехотя выползает наружу. На шесте палатки замер скорпион. Махди швыряет ботинок, но неудачно. Скорпион сваливается на землю и прячется под цинковку. Ах, Махди, Махди, нужно найти скорпиона и убить, а то он может ужалить нас ночью... Ну, вот и отлично.

— Послушайте, Махди. Так что же это был все-таки за зверь, который напал на нас вчера на реке?

— Я так думаю, что это летучая лисица.

— Лисица? Что-то не похоже...

— Летучие мыши тоже так себя не ведут. А может, это и есть конгамато? Ведь чудовище показалось нам черным только потому, что оно летело на закат, а так оно могло быть красным... Я не верю в конгамато. Это всё сказки черных нилотов.

— Так почему же вы так испугались вчера? Простите, Махди, а вы разве не нилот?

— Нет! Мой отец был араб. Магомет Гамаль эс-Сааль!

— А-а... Ну, это к делу не относится. Значит, вы бежали вчера, бросив оружие, от летучей лисицы?

— Не знаю... Только в красную ящерицу я не верю.

— А мистер Пирсон верит. Он не считает это сказками и суевериями. Кстати, вы давно знакомы с мистером Пирсоном?

— Первый раз я увидел его в вашем доме, когда пришел сообщить, что рабочие сбежали в Джубу.

— Ах да, помню, помню... Значит, до этого вы не знали Пирсона?

— Лучше будет оставить в лагере все, как есть. На дорогу возьмем только самое необходимое. Остальное продовольствие нужно упрятать, чтобы не утащили муравьи, — неожиданно сказал Махди, собирая остатки завтрака в полиэтиленовый мешок.

— Значит, вы предполагаете, что наш уход — дело решенное?

— Разумеется, сэр...

— Да, конечно... Ну хорошо! Готовьтесь к походу. Выступаем вечером, как только спадет жара.

— Спиртное можно оставить здесь?

— Конечно. Возьмем только бутылку джина на всякий случай. Мало ли что может случиться, правда?

— Да убережет нас аллах от болезней и ифритов! — серьезно ответил Махди.

— А в аллаха вы верите, Махди?

— Аллах акбар. Мой отец был мухтаром¹, а я два года учился в Аль-Азхаре.

— Аль-Азхар? Это город?

— Нет, господин, это знаменитый мусульманский университет в Каире. Я не закончил его только потому, что мураби — арендаторы моего отца — сожгли наш дом и весь урожай. Они разорили нас.

— А какую часть урожая отдавал ваш отец своим мураби?

— Четвертую! Как везде! Это же наша земля! — Глаза Махди засверкали, ноздри расширились, брови сошлись у переносицы.

Внезапно он встал и молча вышел из палатки.

— Подождите меня, Махди! Я помогу вам спрятать продовольствие.

Нам не удалось покинуть в этот день лагерь. Работы оказалось гораздо больше, чем я представлял себе сначала. Мы провозились до вечера. Особенно много хлопот было с провиантом. Мы складывали его в большие жестяные банки и заливали крышки сургучом так, что не оставалось ни малейшей щели. Потом мы завертывали банки в полиэтиленовую пленку, которую, на всякий случай, посыпали нафталином. Но Махди так боялся муравьев, что предложил зарыть наши сокровища в землю. Я велел ему отойти подальше и вырыть небольшую ямку глубиной три-четыре фута. Связав вместе четыре двухсотграммовые тротильные шашки и вставив в одну из них детонатор с отрезком шнура, я аккуратно опустил заряд в ямку, засыпал землей и утрамбовал. Потом я поджег выведенный на поверхность шнур.

¹ Мухтар (араб.) — староста религиозной общины.

Ухнул взрыв. В тростниках зашуршали комья выброшенного грунта. В сгущающемся сумраке дно воронки казалось черным, как ночная тень. Мы решили отложить погребение наших запасов до утра.

Свежее солнечное утро было наполнено треском насекомых и птичьим щебетом. В тростниках еще прятался туман.

Дно воронки, к моему величайшему удивлению, оказалось заполненным водой. Она уже успела отстояться и превратиться в сумрачное колодезное зеркало. Сначала я подумал, что ночью прошел дождь, но все вокруг было сухо. Откуда же тогда вода?

— Как вы думаете, Махди, откуда здесь оказалась вода?

— Думаю, из земли, сэр. Больше неоткуда... Вода — это плохо! Придется нам придумать что-нибудь другое.

— Сделайте мне еще одну ямку, Махди! Только вот там, в четверти мили отсюда.

— Лучше не зарывать в землю, уж если вода...

— Мы ничего не будем зарывать. А ямку вы все-таки сделайте.

Махди взял маленькую саперную лопатку и стал подниматься вверх, на первую террасу — самое сухое в этом районе место. На террасе росли акации, колючки, исполинский укроп. Несколько дней назад я подстрелил там небольшую окапи. Ее нежное мясо чуть-чуть пахло мускусом и дымом костра.

Когда в воздух взлетел рыжий и дымный столб грунта, я побежал к воронке. В ней все еще клубилась муть. Кисло и остро, до царапанья в горле, пахло взрывом. Постепенно пыль осела, и я мог осмотреть воронку. Дно показалось мне явно сыроватым. Я взял кусочек глины — она была влажной и пластичной, тогда как у поверхности глина крошилась, как сухая замазка.

И как только я не заметил этого раньше! Я достал полевой журнал. За все время мы произвели 232 сейсмических исследования. Это значит 232 взрыва, 232 воронки. Я решил осмотреть хотя бы некоторые из них.

— Мы задержимся здесь еще на один день, Махди.

Махди молча кивнул и отвернулся.

К вечеру мне все стало ясно. Уровень грунтовых вод на Оберре был очень высок. В то же время на той, единственной, сейсмограмме грунтовые воды залегали

необычайно низко. Из такого сопоставления можно было сделать два вывода:

1. Сейсмограмма получена при исследовании какого-то неизвестного мне района Оберры с аномальной гидрогеологией.

2. Сейсмограмма получена не на Оберре, а в каком-то другом месте с очень низким уровнем грунтовых вод.

Первый вывод предполагал странный каприз природы, второй — ошибку или даже злой умысел человека. Я не знал, на чем остановиться.

Мне припомнились высохшие русла рек на Капозта, все эти бесчисленные вадии, уэды, эрги. Там грунтовые воды залегали действительно глубоко, и, если бы на сейсмограмме не было экспликации, я бы без колебаний сказал, что она сделана на Капозта, а не на Оберре... Но в экспликации стояло «Оберра»... Неужели ошибка? Пирсон тоже советовал начать с Капозта. Правда, он считал, что Капозта так же бесперспективна, как и Оберра, но советовал начать с Капозта. А если допустить, что экспликации все же нет... Догадка ударила меня как молния. Я даже вздрогнул. Вот оно! Мне нужна только гидрогеологическая карта, и я смогу найти по ней то место, где получена сейсмограмма. Даже если б это была слепая сейсмограмма, без экспликации и привязки к местности!

В моих руках все это время было мощное оружие. Но только теперь я смогу воспользоваться им.

Мне вспомнился доклад, который мой шеф, всемирно известный геолог-нефтяник, сделал на одном из наших аспирантских семинаров (я тогда был еще аспирантом). Доклад был посвящен вопросу генетической связи нефтегазоносных бассейнов с вмещающими их бассейнами артезианских вод. Какое емкое и точное слово — «вмещающие»! Впервые в мировой науке было высказано представление о генетической и физико-химической связи океанов подземных вод с затерянными в этих океанах нефтегазоносными бассейнами. Сколько раз до этого геологи произносили слова «водонефтяной контакт», даже не догадываясь о том глубочайшем философском смысле, который в них заложен. Да, шеф тогда говорил именно как философ и вместе с тем исследователь, умело использующий диалектический метод для раскрытия наиболее общих законов природы. И речь шла тогда не об

отдельных бассейнах или районах, а о наиболее общих и объективных законах.

Дрожащими от волнения руками я раскрыл гидро-геологическую карту района Оберры.

Какой же я осел! Изолинии встречались на карте так же редко и случайно, как оазисы в пустыне. Район был едва изучен. Все разлетелось и разбилось, как пирамида из фарфоровых чашечек.

Обидно! Вместо закономерного перехода от общего к частному я должен был сделать некий логический прыжок. Прыжок в темноте через десять провалившихся ступенек.

— Выступаем сегодня вечером, Махди!

Оставалось только надеяться, что гидрогеология Ка-поэта будет изучена лучше.

... Джуба душно и сладко пахла пальмовой древесиной. Доски жарились на солнце в собственном соку. Медленными коричневыми пузырями вытапливалась липкая смола. Шуршали жесткие надкрылья короедов. В тени фикусов неподвижно распростерлась бархатная бабочка, сжав в тугую спираль мохнатый хоботок...

Хорошо было в сочной, глубокой тени.

Здесь, на дровяном складе, позади фактории обедали рабочие. Сквозь кору и стружку вяло поблескивали ржавые рельсы вагонеточного пути. На перевернутой вагонетке была расстелена засаленная газета. Рабочие ели маниоку, баклажаны и марокканские сардины. Пили пальмовую водку, закусывая ее соленой тыквой. Сидели прямо на земле — кто на корточках, а кто по-турецки.

— Мир вам. Приятного аппетита! — поздоровался я.

— Салям. Садитесь с нами, — пригласил меня темный, как сандаловое дерево, сухой старик с седыми, в мелких колечках волосами.

Я достал сигареты и поочередно предложил закурить каждому. Старик взял чистый картонный стаканчик и налил мне водки. Она была сладкая и терпкая, как самогон. Соленая тыква напоминала вялый, расползающийся огурец.

— Инглези? — спросил он.

Я покачал головой.

— Аллемани?

— Нет. Русский.

Старик согласно кивнул. Ели молча.

— Куда это ваше начальство подевалось? — спросил я, допивая едкий гранатовый сок.

— Я — десятник! — гордо сказал старик, погладив костлявую грудь.

— Мне, собственно, нужен горный инспектор... А мистера Пирсона вы знаете?

— О, Пирсон! — отозвались рабочие и замолкли.

— Он уехал, — сказал старик, — уехал на север. Горный инспектор тоже уехал. А что, господин хочет нанять рабочих?

— У меня уже были рабочие, но они сбежали.

— Сбежали?!

Все, кто лежал в тени, поднялись и подошли ближе.

— Ну да, сбежали, — ответил я, — испугались большой летающей красной ящерицы и сбежали.

— Вы видели большую летающую красную ящерицу? — тихо спросил старик.

— Нет... Не думаю.

— А сколько вы платили рабочим?

— Полтора фунта.

— В неделю?

— В день.

Старик что-то сказал по-нилотски. Стоявшие вокруг меня загалдели. Говорил со мной только старик. Видимо, он один знал английский.

— Никто не сбежит от своего счастья, — сказал он. — Мы даже не слышали, чтобы в Джубе платили такие деньги.

— Нет, не в Джубе. Мы работали на Оберре.

Стоявшие вокруг нас вновь стали оживленно переговариваться. Крикнув что-то, старик унял шум.

— А откуда рабочие? — спросил он, тщательно поплевав на сигарету и затоптав ее в землю. На выбеленной стене фактории огромными красными буквами было написано: «Не курить!» Я только теперь заметил надпись и тоже поспешил погасить свою сигарету.

— Рабочих, по-моему, набрали здесь, в Джубе.

Старик недоверчиво засмеялся и покачал головой. Это становилось интересным.

— Я даже знаю их имена, — сказал я, доставая записную книжку. — Хафзи, Умго, Мболо, Нгамо...

— Нгамо — кривой? Одноглазый? — перебил меня старик.

— Нет! Высокий и красивый нубец.

— Мы не знаем здесь таких людей. — Голос старика приобрел торжественные ноты. — У нас в Джубе нет мужчин, которые бежали бы от такого заработка... Ведь вы говорите, что они даже не видели... Красного, — тихо добавил он и что-то сказал товарищам.

Они опять зашумели и замотали головами.

«Так, мистер Пирсон, оказывается, вот они какие, африканские особенности», — подумал я.

Экзотика спадала, как шелуха с луковицы. С горькой, но здоровой, ядреной луковицы.

— А Танге, Билля Ленгстона, Фавзи Ашляка, Роже Дюверье и Ндулу вы знаете? — назвал я имена рабочих, которые сбежали в первый раз еще тогда, в Капоэта.

— Роже Дюверье знаю, — важно кивнул головой старик, — но он не из Джубы. Этот большой негр с севера. Роже не побоится Красного... Но он мог сбежать, если ему вместо полутора фунтов заплатили два. Никакого рабочего достоинства. А остальных людей я не знаю, они не из Джубы.

Я молча поблагодарил старика и поднялся. Многое для меня стало ясно.

— А Махди? Вы, конечно, знаете Махди? Махди побоялся бы Красного? — спросил я.

Рабочие зашумели. Старик что-то сказал им, и они зашумели сильнее. Глаза засверкали, ноздри раздулись и затрепетали. Старик кивал головой и прицокивал языком.

— Нет, — сказал, поворачиваясь ко мне, — Махди не побоялся бы даже ифрита. Он сам ифрит, этот Махди. Его боится вся Капоэта... Но зато он боится... своей тени, которая приходит к нему во время сна.

Старик опять что-то пробормотал по-нилотски. Рабочие рассмеялись. Нахмуренные лица разгладились.

— Спасибо вам! — Я поклонился.

— И вам спасибо, — с достоинством ответил старик. Рабочие почтительно приблизили ладони ко лбам.

— Я могу вам помочь набрать новых рабочих! Тоже за полтора фунта в день! — крикнул старик мне вдогонку.

Я обернулся:

— Спасибо. Я обязательно прибегну к вашей помощи. Через некоторое время! А сегодня я еду в столицу.

— А что у вас за работа на Оберре? Собираете коллекции?

— Нет. Ищу petrolleum.

— Petrolleum?

— Ну да, oil.

— Oil?

— Вы не знаете, что такое oil?

Старик помотал головой.

— Petrolleum... Не знаю, как вам объяснить. Черная горючая жидкость. Из нее делают бензин.

— Да, нефтя.

— О! Нафта!

— Зачем всем так нужна нефтя? Русси тоже нужна нефтя?

— Нужна. Я ишу ее для вас.

— Для нас?

— Да. По просьбе правительства вашей республики.

— О! Это совсем другое дело. Так вы приходите. Обращайтесь прямо ко мне. Я достану вам хороших рабочих, которые не покинут вас. Даже за четыре фунта в день! — Старик засмеялся.

— Спасибо! Мир вам.

— И вам мир. Приходите.

...Я раздумал ехать в столицу. Действительно, на что мне было жаловаться? Меня обманули? Увлекли на неверный путь? Опутали липкими нитями заговора? Но в том-то и беда, что формально решения принимал я один.

Я был орудием чужой воли, слепым орудием. Мне только казалось, что решаю я. На самом деле все мое поведение было кем-то тщательно запрограммировано. Но программист остался в тени, а робот действовал. И этот робот — я. Значит, все правильно и за все придется ответить мне. Каждый мой шаг — это документ в полевом журнале, документ, скрепленный подписью робота...

Я попытался припомнить события последних месяцев. Звено за звеном восстановить в памяти цепь причин и следствий, опутавшую мою волю, мое право выбора.

Сначала была встреча в аэропорту... Мужественный, сдержанный англичанин с лицом Стенли... Мальчишка жадно расспрашивает, удивляется баобадам, тает от музыки экзотических слов: «Капоэта», «пальма-дум»,

«бери-бери»... Так Пирсон получает ключ к электронной схеме робота, нехитрой схеме восторженных эмоций разомлевшего под африканским солнцем щенка. Два-три контрольных опыта, и он убеждается, что ключ действует безотказно. Потом парализуется защитное реле. Мощный импульс экзотики — и самопрограммирующееся устройство выведено из строя. Теперь робот будет действовать по чужой программе. Нужно только ее задать...

Тень пальмовых циновок, чаша забвения с манговым соком... И «случайно» забытая книжка, которая «случайно» раскрывается как раз на описании болот Оберры. Теперь электронному мозгу, получающему чужую информацию, будет казаться, что он сам ее выдает.

Контролирующие устройства тоже можно обмануть. Нарочно не обосновывая свой совет, Пирсон рекомендует искать нефть в Капоэта, а не на Оберре. Контроль замечает лишь эту нарочитую необоснованность, а сигнал предпрограммирования и фотоэлемент узнавания замыкаются на уже имеющейся информации о болотах Оберры. «Нет, — думает жалкий автомат, — уж лучше Оберра. Там приключения, опасности... Правда, нефть там можно не найти, но ведь и в Капоэта ее тоже нет. Раз так, лучше Оберра»... Затем следует страшный электрошок в виде поездки по реке и бесед о корчащихся в лужах сомах.

Плавятся предохранители, выходит из строя автоблокировка. Думающая машина превращается в машину недумающую, в обычный автомат. Его можно разобрать на гайки — он не взбунтуется. Он выслушивает расистский вздор, и его красные лампы не мигают. Он жаждет одного — информации. А уж она-то имеется в избытке. Сначала робкие намеки, потом все смелее и смелее. На сцену выходит конгамато. Выдуманный или реальный — не все ли равно, — он тоже сыграл свою роль. Ах, как не потрясти тут антенной на черепе! Красный птеродакtilь! Какой парадокс! Красный, именно красный, а не бурый, не пегий, не рыжий. Воображение поражено. «Нет, я так его и не встретил, но уверен, что он существует». — «Конечно же, существует, — радуется робот, — и какой вы честный, мистер Пирсон; могли бы сказать, что видели своими глазами, но правда есть правда... Не видели, но верите. И я верю! Я верю даже больше, чем вы. Теперь я всему поверю. Вы же такой честный...»

Дубль 147. Кошка играет с мышью. «Не ходите на Оберру, там бармалей». А мышке плевать. Она ужасно храбрая. Она ужасно умная, эта электронная мышка, она обязательно пойдет на Оберру. «Ах, мистер Пирсон, я знаю, вы поступили бы точно так же! Вы не советуете, но ваши глаза говорят обратное, они поощряют смельчака на подвиг».

Всего этого вполне достаточно, но мистер Пирсон не хочет рисковать. В самом деле, кто их знает, этих русских... Так несчастный кибер «случайно» находит в «любезно предоставленных» документах «забытую» сейсмограмму. Эврика! Водонефтяной контакт! Где? Ага, вот экспликация! Оберра! «Ну, я так и знал, я был прав». — Робот чувствует себя Дираком и Гейзенбергом.

«Ах, тут нефть, мой мальчик, — закатывает глаза мистер Пирсон, — это, конечно, другое дело... Но вы все равно не ходите на Оберру. Там серый волк, он вам бо-бо сделает».

Но робот, подняв хвост трубой, несется в болото. Еще минута — и он сделает величайшее открытие. Посадит в клетку красного птеродактиля. Заодно, играя, он откроет крупнейшее нефтяное месторождение и осчастливит одну из экваториальных стран... «Право, пустяки, мне это совершенно ничего не стоило... Мой приятель Тряпичкин... Сорок тысяч одних курьеров...»

Но вторая линия не казалась столь ясной. Я не мог понять, зачем понадобились Пирсону эти комедии с бегством рабочих. Впрочем, в первый раз это он мог сделать, чтобы еще раз блистательно услужить мне и завоевать доверие. А во второй... А во второй раз я сам видел какое-то диковинное чудовище. Махди мог воспользоваться этим обстоятельством и сорвать экспедицию. Но зачем? Зачем? Наверное, чтобы оттянуть время. Возможно, Пирсон опасался, что я скоро пойму бесперспективность работ на Оберре и переключусь на другой район. Боюсь, что он меня переоценивал. Я бы еще год крутился в этом жарком болоте.

Все как будто бы логично. Даже поведение Махди. О, как он охранял, оберегал, лелеял меня! Естественно, не дай бог с этим младенцем, который вот-вот авторитетно распишется в бесперспективности провинции на нефть, что-нибудь случится! Могут прислать другого, более умного, который найдет... Да, именно найдет!

Если меня так старательно отвлекали на ложный путь, значит, нефть есть и где-то близко! Иначе такой человек, как Пирсон, и взглядом бы меня не удостоил...

Либо Оберра, либо Капозта. «Капозта», — говорил Пирсон и этим толкал меня на Оберру... Так, значит, нужно искать в Капозта? По логике вещей выходило, что именно так. И все-таки одного, самого важного, я не мог понять.

«Ищите женщину, — говорят французы, — ищите побудительную причину...» А я не смог понять, почему Пирсон не хотел, чтобы я нашел нефть. Боялся за свое влияние? Едва ли. Значение провинции, окажись здесь нефть, сильно возросло бы. Пирсон от этого только выигрывал. Конечно, Пирсон мог оказаться лишь пешкой, точнее, слоном в этой замысловатой партии. Возможно, кто-то, стоящий за его спиной, не хотел, чтобы в Судане нашли нефть. Тогда кто он? И почему ему это не выгодно? В злых империалистов, которые злы только потому, что они империалисты, я, естественно, не верил. За всеми действиями людей скрываются вполне конкретные деловые и политические интересы. Действия были налицо, интересов и целей я не знал.

... На пути из Джубы в Капозта я встретил почтальона. Поравнявшись с нашим грузовиком, он что-то крикнул и помахал рукой. Я попросил остановить машину. Но то ли шофер меня не расслышал, то ли спешил доставить груз, только мы промчались мимо. Я оглянулся. Сквозь желтый плексиглас заднего окна я успел увидеть, как полуголый почтальон вместе со своим велосипедом утонул в белой жаркой пыли. Эта встреча меня взволновала, и весь дальнейший путь был наполнен ломотой нетерпения. Мне казалось, что мы едем слишком медленно.

Когда грузовичок въехал наконец в Капозта, я не вытерпел и пошел пешком, вернее, побежал. Впрочем, я вряд ли много проиграл от этого. В здешних, лишенных улиц населенных пунктах ездят чрезвычайно медленно.

Предчувствие меня не обмануло. На полу я нашел письмо (почтальон, очевидно, швырнул его в открытое окно). Мне сразу же бросилось в глаза слово «Вад-Медани». Письмо было от Алешки Теленина, работавшего в составе довольно крупного отряда в провинции Джезира.

«Ситуация здесь очень запутанная, — писал, между прочим, Алешка, — все как будто бы сговорились против

нас. У меня создается впечатление, что идет тайная и ожесточенная борьба. Борьба за время. Ходят слухи о заключении долгосрочного договора с компанией Шелл о поставках в Судан наряду с продуктами крекинга и сырой нефти тоже. Дело это чрезвычайно важное. Кое-кто считает, что до тех пор, пока мы не вынесем окончательный приговор о перспективности территории, договор заключен не будет. Может быть, поэтому на нас нажимают со всех сторон, торопят и торопят. Но что можно сказать определенного в такой короткий срок? Положение осложняется и удивительной настырностью одной западногерманской фирмы, сулящей дать нефть в течение двух лет. Но за какую цену! Грабеж, да и только! Предложение немцев было встречено с интересом. Такому интересу способствовала слава фирмы, в рекордный срок открывшей на Среднем Востоке крупнейшее месторождение озокерита. Кроме того, я полагаю, не обошлось и без взяток. Кое-кто готов душу продать за бакшиш... Во какие дела! У тебя, наверное, все проще. Район заведомо бесперспективный. Требуется самое поверхностное ознакомление, да и средств отпущено мало. Все это говорит за то, что от твоих работ многого не ждут. И никто тебя не торопит... Ешь себе ананасы, рябчиков жуй. Эх, жизнь!

Но мы не унываем. Будь здоров, старина. Все шлют тебе самые горячие приветы».

Я отложил письмо, подошел к окну и поднял штору. В комнату вплыл зной, наполненный запахом пыли и копры. Мычали возвращающиеся в деревню коровы, гулко постукивал паровой молот. Чертополох вокруг дальнего муравейника поскущнел и полиловел. Надвигался вечер. Время неумолимо вершило свой бег. В предвечерней тишине незримо кипела борьба за время. Я раздумывал, будет ли принятое мной решение переключаться на плато Капозта действительно моим решением. Может быть, по-прежнему все продолжает идти так, как предусмотрено чьей-то программой, определено чьей-то волей? Что, если кто-то предвидел и учел все, вплоть до моего последнего разговора на лесоскладе? Мне стало не по себе. словно кто-то прошелся по разогретой коже на тонких ледяных ходульках. Но я заставил себя додумать эту мысль до конца.

Моментом наивысшего напряжения неведомой мне

игры было бегство рабочих с Оберры. Весь вопрос упирался в одно: было ли оно преднамеренным или самопроизвольным. Если все подстроено, то у меня нет никакой уверенности, что даже теперь я мыслю и действую самостоятельно. В этом случае кто-то заинтересован толкнуть меня на плато Капоэта. Зачем? Идет битва за время.

Если же верно другое предположение, то случайное приключение на черной реке разбило чьи-то тщательно продуманные планы... Рабочие, гонимые ужасом, бежали; я поехал в Джубу, случайно (именно случайно) разговаривал с рабочими... И вообще, в этом случае мое решение прекратить разведку Оберры получает какое-то обоснование. Итак, вновь передо мной стояла жестокая дилемма. Порочный круг замкнулся. Оберра или Капоэта? Только теперь выбирать еще труднее. Ошибиться — значило не только потерять себя. Неверное решение — и я вновь превращаюсь в слепого робота, в орудие врага. Эта мысль была нестерпимой.

Но порой мне начинало казаться, что бегство с Оберры — случайность. Не мог же Махди рассчитывать на встречу с химерическим созданием. Она, безусловно, была непредвиденной... Да и надобности в ней не было. Он мог в любой момент отослать рабочих и объяснить мне их бегство любой другой причиной.

Увлекаясь, я постепенно разматывал нить предположений, и она уводила меня довольно далеко. Тогда я пытался обосновать противоположную точку зрения. И тут не ощущалось недостатка в якобы разумных и веских доводах. Ведь могло быть, что Махди только воспользовался подвернувшимся случаем, чтобы осуществить заранее предусмотренное бегство... Зачем? Здесь тоже все сводилось к одному: борьбе за время. Меня хотели сбить с правильного пути, что тоже, в конечном счете, вело к потере времени.

Наконец все вообще могло оказаться фантазией!

Строго говоря, у меня не было никаких прямых доказательств неблагоприятного поведения Пирсона, Махди или кого бы то ни было другого.

Они могли оказаться вполне порядочными людьми. Такую возможность тоже нельзя было отбрасывать. Я чувствовал, что сойду с ума, если не разрублю этот узел.

И я решил добиться правды с револьвером в руках. Это было отличное решение! Другого выхода я не видел...

Но я и здесь опоздал. Где-то сзади грохнул выстрел. Моя голова взорвалась, как пороховая бочка. Вспыхнуло и погасло желтое пламя. Резкое удушье полоснуло по горлу. Я упал, попытался подняться...

* * *

Я стоял по колено в воде. Течение уносило подстреленную дрофу туда, где дрожали в красноватом тумане темные метелки тростника. Все еще ничего не понимая, я провел ладонью по затылку и поднес ее к глазам. Она была мокрой, но и только. Крови не было.

Но в меня же стреляли!

Что со мной было? И куда все это ушло?

Шатаясь, я выбрался на берег. Вот и моя одежда, брошенные ружья, патронташи...

На Махди я наткнулся совершенно неожиданно. Он лежал, уткнувшись лицом в камыши. Раскинутые руки его напоминали перебитые крылья. Я сразу же увидел на его спине глубокую красную рану. Осторожно перевернул его и прижался ухом к груди. Все было кончено.

Кровь стучала в моих висках то нарастающей, то затихающей болью. Постепенно возвращалось сознание.

Значит, ничего не было! Ни беседы с Махди в покинутом лагере, ни приготовленного им завтрака, ни встречи с рабочими в Джубе. Ничего не было. Откуда же я знаю тогда о жизни Махди, кто рассказал мне об его отце-мухтаре? Или все только иллюзия, бред? А может, я знал об этом раньше, слышал от Пирсона, но не обратил внимания, забыл? Теперь же все это всплыло, вплелось в больное видение.

Как слепой, продирался я сквозь болотные травы, проваливался в ямы, подминал под себя мясистые стебли.

«Ничего не было!» — эта мысль не оставляла меня.

Я вышел несколько правее лагеря и, пока шел к нему вдоль верхней террасы, увидел несколько старых воронок. Они были сухими. Вода в ямах пригрезилась, как и все остальное. Поэтому я не удивился, когда нашел лагерь таким же, как и оставил его, уходя на охоту. Все

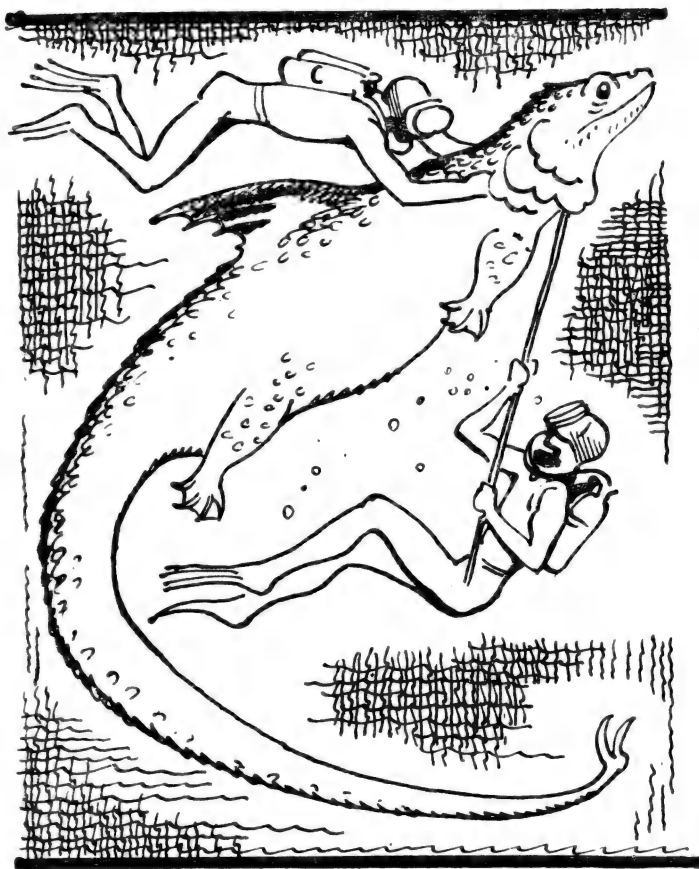
были на месте. Хавзи спал, Умго и Рахман играли в кости. Нгамо чистил ружье. Не хватало только Махди. Он навсегда остался на берегу черной реки.

Молча прошел я в свою палатку и упал на постель. Я проспал тогда трое суток.

Потом я понял, что все со мной случившееся вызвано каким-то сильным наркотическим ядом. Может быть, ящер разбрызгивал в полете какую-то адскую эмульсию... Не знаю. Иногда я даже сомневаюсь, был ли он вообще. Но симптомы очень напоминают отравление. Сначала яркие картины и обостренное восприятие, незаметно сменяющееся лихорадочным возбуждением. Потом страх, мрачная подозрительность и депрессия, чередующаяся с кошмаром. Жестокое беспокойство, неуверенность, метание от крайности к крайности. И все это сопровождается странной раздвоенностью, позволяющей видеть себя как бы со стороны, оценивать со стороны свои несуществующие поступки.

Говорят, что аналогичные явления вызываются гашишем, некоторыми препаратами строфанта. Но отравление гашишем или строфантом длится долгие часы, мои же видения промелькнули в течение секунд. Больше минуты я вряд ли смог бы пробыть в воде, точнее, под водой. Я уже и так начал захлебываться.

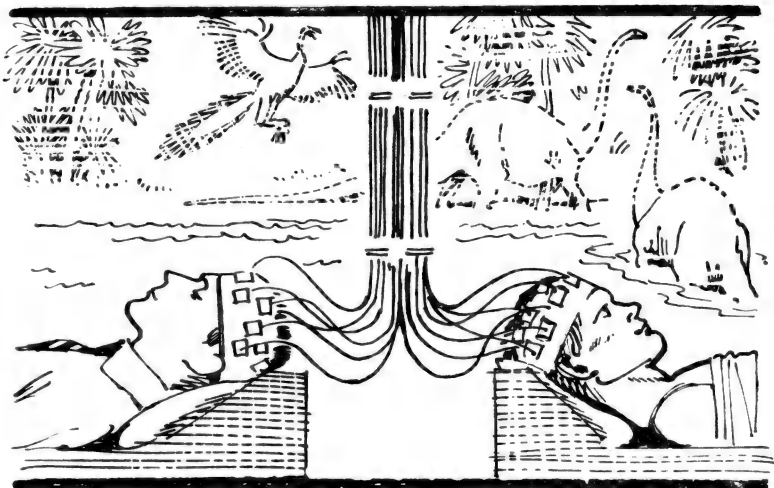
... Вот и все о моей встрече с конгамато. А на Оберре я пробыл еще около года. Конгамато я больше не встречал. Что же касается нефти, мы все-таки нашли ее. И именно на Оберре. Отличная нефть! Нафтеновая. Малосернистая. Но это уже другой рассказ.



Повестъ

**БУНТ
ТРИДЦАТИ
ТРИЛАНОНОВ**





НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ

Владимир Николаевич Флоровский,
ассистент университета

Еще три дня, и я уйду в отпуск. Через каких-нибудь восемьдесят часов я буду уже смотреть в круглое окошко самолета. Земля превратится в макет, по которому неторопливо поплывет крестообразная тень... Если, конечно, не будет облачности. Хорошо бы сегодня разобрать все бумаги, отправить в журнал уже готовую статью, отослать рефераты, ответить на письма. Хорошо бы!

Весь окружающий мир уместился в перевернутом виде на боку пузатой колбы и притих перед грозой.

С высоты двадцать первого этажа автомобили кажутся игрушками, а люди — муравьями. Серые прямые ленты дорог, строгие квадраты и прямоугольники зелени. Если пройдет дождь, то даже сюда, на такую высоту, долетит запах мокрого каштана... Но о дожде можно только мечтать. Вернее всего, опять небо блеснет зарни-

цами, прогрехочет дальний гром, и тучи пройдут стороной. Вот уже целую неделю город изнывает от августовского солнца.

Окна и двери в университете распахнуты настежь. Но это мало помогает. Работать все равно тяжело. Мозги размякли, как разогретый на солнце асфальт. Я снял пиджак, включил вентилятор и постарался удобнее устроиться в кресле. Но вскоре поймал себя на том, что уже несколько минут читаю одну и ту же страницу отчета. Захотелось пить. Решил спуститься в буфет и взять бутылку холодного молока или пива.

В буфете вилась длинная очередь. Солнце плавило оконное стекло и рвалось в помещение сквозь танцующий столб пылинок. Нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, шурясь и постепенно раздражаясь, я стоял в конце малоподвижного человеческого ручейка. Мне уже расхотелось пить. Я оставался в очереди только из-за упрямства.

Передо мной стоял смешной и странный человек. Коротко стриженная лопоухая голова его непрерывно двигалась. Толстые пальцы шевелились, перекатывая из ладони в ладонь столбик монет. Человек улыбался, тихо шептал что-то, толстые добрые губы его дрожали.

Я рассматривал его безо всякого интереса, пока не увидел на груди белую визитную карточку, на которой латинскими буквами было напечатано: «Артур Положенцев. Москва». Я удивился. Значит, лопоухий коротышка был делегат Международного противоракового конгресса! Я еще раз оглядел его. Мятая шелковая тенниска, на которой темнели влажные пятна, широкие синие брюки, давно утратившие складку, пыльные ботинки со стоптанными каблуками. Во мне мелькнула неприязнь. Я вспомнил аккуратных мужчин в прекрасных серых костюмах, с ослепительными воротничками. В эти дни их часто можно было встретить в коридорах и вестибюлях.

«Некультурно, — подумал я, — посещать конгресс в таком виде. И обидно тем более, что этот неряха, наверное, крупный специалист».

Фамилия Положенцева мне была известна.

Мои размышления прервал звон упавшей на пол монеты. Пока Лопоухий, близоруко шурясь, оглядывался, монету подняла щупленькая девушка с косичками. Она по-студенчески держала свои деньги между страницами книги и теперь торопливо перелистывала ее. Я взглянул

на Лопоухого. Он, улыбаясь, следил за девушкой, которая все никак не могла сообразить, откуда упала монета. Лопоухий молчал. Это мне понравилось, и я посмотрел на него уже с некоторой симпатией. Поймав мой взгляд, Лопоухий тотчас же повернулся ко мне и стал тихо объяснять ситуацию:

— Это я потерял копейку. А девочка решила, что она. Вот и ищет теперь, откуда монета упала.

Моя мгновенная симпатия улетучилась. Я не любил людей, которые спешили поделиться своими наблюдениями и впечатлениями с первым встречным.

Незаметно подошла моя очередь. Пока я брал свое пиво и тарелки с закуской, Лопоухий все время не оставлял меня в покое. Он успел сообщить мне свое мнение о здании университета, спросил меня, каковы на вкус китайские блюда, что такое агар-агар и можно ли есть салат из него. Мои односложные ответы его, видимо, не смущали; все так же неумолчно тараторя, он шумно уселся за мой столик. Чтобы хоть как-то прервать поток его сбивчивых и каких-то наивных речей, я задал ему совершенно напрасный, как мне тогда казалось, вопрос:

— Вы здесь на конгрессе?

Он радостно кивал головой:

— Ага, на конгрессе. Меня интересует вирусная теория рака. Я хочу кое-что узнать о свободных генах. Но я не делегат. — Он притронулся к приколотой на груди визитной карточке: — Это не моя. Это Артура. Я взял ее, чтобы пройти в университет без всякой волокиты.

«Это в твоём стиле, — подумал я с насмешкой. — Какое мальчишество!»

— А вы знакомы с Положенцевым, или этот нагрудный пропуск попал к вам без его ведома?

Лопоухий посмотрел на меня. И под взглядом этих добрых и чистых подслеповатых глаз я почувствовал себя не очень хорошо. Мне стало стыдно.

«Пижон ты, братец, пижон», — подумал я о себе. Мне захотелось сказать этому человеку что-нибудь хорошее, как-то сгладить резкость, придать ей вид неуклюжей шутки. Не придумав ничего подходящего, я хлопнул его по плечу и предложил:

— Ну вот, если надоест сидеть на конгрессе, приходите ко мне на кафедру. Хоть раком мы и не занимаемся, но кое-что интересное есть и у нас.

Лопухий рассыпался в благодарностях и стал еще суетливее. Потом сказал:

— Я что-то устал. Не составите ли вы мне компанию погулять после обеда на чистом воздухе?

Сначала я хотел отказаться. Прогулка в его обществе мне не улыбалась. Но мысль о том, что нужно подниматься в душную комнату и, изнывая от жары, что-то читать, показалась мне страшной. Я согласился.

Через несколько минут нас уже обдувал напористый ветер, всегда живущий на Юго-Западе Москвы. Дрожали листья, раскачивались ветки. Бабочка «павлиний глаз» буквально распласталась на спинке садовой скамейки. Ее крылья были раскрыты больше, чем на сто восемьдесят градусов. Наверное, чтобы не сдул ветер...

Мой новый знакомый был набит чудовищно объемистой, но хаотичной информацией по исторической биологии, генетике, молекулярной эволюции и прочим наукам. Признаться, я не очень внимательно его слушал. Прогулка была хороша сама по себе, и я уже пожалел, что связался с этим говоруном. Он как раз с восторгом рассказывал о своей поездке на какое-то озеро с замысловатым названием, и я подумал, что надо было бы мне представиться да и его фамилию узнать. Но почему-то не сделал этого. Просто хорошо было сидеть в тени, на безлюдной аллейке, и ни о чем не думать.

— Вы не устали говорить? — спросил я.

Не знаю, как это сорвалось у меня с языка. Мне очень хотелось, чтоб он замолчал.

Слова мои его поразили.

— Нет-нет, — испуганно сказал он, — нет! Я еще должен рассказать вам очень важную вещь.

Я обратил внимание, что у него решительный и упрямый подбородок.

— Иначе, — добавил он, — кто же об этом узнает? Кто-то знать должен, ведь это очень важно...

Тут лицо его изменилось. Оно побледнело, даже как-то вдруг вытянулось, похудело. Резко обозначились темные тени под глазами, явственно проступили впадины на щеках. Зря я его обидел. Я уже раскрыл рот, чтобы загладить свои слова, но он опередил меня. Даже голос его изменился, стал сухим, безжизненным. Он смотрел мне прямо в глаза. Но взгляд его уже не был подслеповатым и добрым. Скорее — отрешенным, невидящим,

— Я сделал страшную глупость, — хрипло сказал он, и его упрямый подборок слегка задрожал.

Да он, кажется, припадочный... С ним хлопот не обещаться. Вот навязался на мою голову! Я сделал естественный жест, выражавший удивление и растерянность. Но он меня неправильно понял.

— погоди, не убегай. Я должен... ты должен... я впрыснул себе эту штуку, — бормотал он, наваливаясь на меня и жарко дыша в лицо.

От него пахло только что съеденной в буфете колбасой. Он вцепился в мой рукав.

— Я сделал это только ради него, понимаешь? — говорил он слабеющим голосом. — Я должен был знать правду. Долго без правды жить нельзя... Правда, она...

— Я не понимаю, о чем идет речь? — спросил я и отодвинулся. Уж очень он был потный и горячий.

Он замолк и закрыл глаза. Я не на шутку перепугался и принялся его трясти.

— послушайте, что с вами?

Он некоторое время молчал, потом пошевелил губами и, не открывая глаз, сказал:

— Я, кажется, умер.

Никогда в жизни я не думал, что могу так волноваться. У меня все оборвалось в груди. А он тихонько, как засыпающий ребенок, пробормотал:

— Не то чтоб совсем...

Затем он сжал губы, замолчал и начал синеть. Когда я увидел, как по его щекам поползли синюшные разводы, меня будто по ногам стегнуло. Я бросился за помощью...

В университетской поликлинике тень и тишина. Кто-то заботливо снял с Лопоухого ботинки и уложил его на белую, покрытую клеенкой кушетку. Пожилая женщина-врач вот уже в который раз прослушивает слабые и редкие биения сердца. Высокий и тощий, похожий на Дон-Кихота старик водит перед застывшими глазами Лопоухого каким-то блестящим предметом, а он без сознания. Бедный Лопоухий! И зачем я его так называю? Не такие уж у него оттопыренные уши. Но я не знаю ни его имени, ни фамилии. А как-то называть его надо.

Только что, перед тем как вызвать по телефону «скорую помощь», мы тщательно осмотрели его карманы. Немного мелочи, ключ от английского замка на медной цепочке, куча троллейбусных и автобусных билетов, рас-

ческа с двумя поломанными зубьями, стертый на сгибах квадратик бумаги с телефоном какого-то Вал. Ник. Курил., вот и все. Бедняга! Дон-Кихот сказал, что у Лопухого странно заторможены все рефлексy. Он не реагирует ни на какие внешние раздражители: свет, боль, звук.

— Я бы даже рискнул констатировать летаргию, — важно произнес безбородый Дон-Кихот.

— У него нет никакого контакта с внешним миром, — сказала женщина, пряча стетоскоп. — То, что вы рассказали нам, — она строго посмотрела на меня, — это было начало приступа.

— Его можно вылечить?

Врачи молчали.

— Неужели это сумасшествие? — Я с надеждой смотрел на усталую женщину в ослепительно белом стареньком халате.

— Наверняка я ничего не могу вам сказать. Его покажут специалистам... Может быть... Ну, вы сами посудите, — женщина ткнула пальцем в злополучную карточку, — какой здравомыслящий человек попытается проникнуть таким образом в учреждение, в котором ему нечего делать. А?

— Я, Ираида Васильевна, — сказал Дон-Кихот, протирая ладони смоченной в спирте ваткой, — вспоминаю случай, который был у великого Лоренца. Как-то его друг, известный фармаколог, попросил предоставить в его распоряжение психотика, который настолько потерял разум, что живет уже чисто растительной жизнью. Шизофреник, предоставленный Лоренцом этому фармакологу, был безмолвным и неподвижным субъектом, вроде нашего пациента. Глаза его были либо закрыты, либо бессмысленно вытаращены. Законченный образец далеко зашедшей непоправимой дегенерации. Полнейший умственный распад. Окончательная и бесповоротная потеря интеллекта. Но вот в вену больного ввели ничтожное количество безвредного раствора цианистого натрия. Сначала больной, который многие годы находился в состоянии полнейшего оцепенения, и глазом не моргнул. Но, когда препарат достиг дыхательного центра мозга, больной начал дышать все глубже и полнее. И вдруг человек, не произнесший за несколько лет ни слова, тихо произнес: «Алло». Он дышал все глубже, в его мутных глазах стала проблескивать мысль. Он даже улыбнулся Ло-

ренцу и внятно произнес свое имя. Три-четыре минуты бедняга разговаривал, как совершенно нормальный человек. Но действие цианистого натрия стало ослабевать, больной забормотал, глаза его помутнели, и он вновь впал в свое первоначальное состояние. Так что, как видите, на несколько минут даже окончательно потерявшего разум человека можно пробудить от страшного сна. Современная наука...

Мне не хотелось слушать Дон-Кихота. Он казался напыщенным и самовлюбленным. Возвращаться в лабораторию уже не было смысла, и я решил немного посидеть во дворе на скамейке, спрятанной в кустах персидской сирени. На душе у меня было тяжело. Мне было очень жаль Лопухого.

И тут я почувствовал что-то в руке. Это была записка с номером телефона Вал. Ник. Курил. Я подумал: «Неужели Лопухий пришел на конгресс только с этой бумажкой? Неужели он ничего не записывал?» Но тут же я одернул себя: человек сошел с ума, а я требую от него разумных действий.

И все-таки... Быстро пошел я к большой аудитории, где проходил конгресс. Постепенно я замедлил шаг. Действительно, что я скажу? «Простите, товарищи и господа, но здесь Лопухий забыл тетрадку, я не знаю, кто он и где он сидел, но пошарьте, пожалуйста, каждый возле себя...»

Я решил дожидаться конца заседания, закурил сигарету и начал кругами прохаживаться около входа в аудиторию. Мимо проходили знакомые сотрудники, здоровались и шли по своим делам. А я все ходил по пустому холлу. Наверное, я очень странно выглядел тогда.

Терпения моего хватило ненадолго — никогда не прощу себе этого. Я начал размышлять, что Лопухому уже все равно ничем не поможешь и какая разница, лежит ли где его тетрадь или нет.

Очень скоро я убедил себя в том, что все это меня совершенно не касается. Я сделал все, что мог. Остальное — дело врачей и других непосредственно заинтересованных лиц. А я тут ни при чем. От жары у меня вспотели руки, я разжал кулак. На пол упал грязный бумажный комочек.

Я поднял его и бросил в монументальную каменную урну.

До конца рабочего дня оставался еще час, я вернулся в лабораторию. Это было 26 августа...

В моей комнате все было по-прежнему. Казалось, я отлучился на несколько минут. К столу плотно прилипли листки бумаги с хорошо знакомыми каракулями. Пиджак мой обвис, как халат арестанта. Воздух был густой и горячий. Жара и не думала спадать. Я посмотрел на давно знакомые и порядком надоевшие мне аксессуары кабинета и почувствовал досаду. Черт побери, все это вижу каждый день в течение многих лет, а сегодня на меня налетело неожиданное, и я... я сбежал от него в свою скорлупу, свою норку, где мне тепло и сухо. Странное дело, мы вечно ищем новое, но никогда не готовы с ним встретиться. Либо оно не такое, как мы думали, либо пришло не тогда, когда надо...

В следующую минуту лифт отжал мои внутренности к горлу. Я мчался вниз, назад, на розыски Лопухого.

Представляю, какой идиотский был у меня вид, когда я шарил в урне. Удивленные улыбки проходивших мимо людей кололи мой затылок. Но мне было уже все равно. В ноздри бил тревожный ветер, которым дышал Шерлок Холмс. Я шел по следу. Когда человеком овладевает азарт разведчика, в нем появляется что-то от хорошей гончей собаки.

Я старательно разгладил бумажку и побежал к телефону. Г... Г... Это Арбат. Значит, приятель Лопухого живет в одном из старинных районов Москвы. В каком-нибудь обветшалом особнячке...

Женский голос глубоко контральтового тембра сказал: — Марья Иванна слушает.

Мне пришлось довольно долго втолковывать Марье Ивановне суть дела. Постепенно все прояснилось. Оказалось, что «Вал. Ник. Курил.» — это Валерий Николаевич Курилин, молодой геолог. Но его, к сожалению, сейчас нет. Он в экспедиции. Знает ли она его приятеля, такого — с круглой головой и массивным подбородком? Нет, не знает. К Валюшке тут многие ходят. Такого смешного немножко, с оттопыренными ушами? Ах, так, может, это Борис? Школьный дружок Валерия. Как же, как же. Борис Ревин, они и в университете вместе учились. Последнее время он почти не бывал у них. Может быть, не он? А кому же еще быть? Смешной и уши торчат? Он! Так что же с ним такое?

Я постарался возможно ярче описать состояние Лопухого. В трубке наступила тишина. Хрипло потрескивала мембрана. Наконец моя собеседница сказала:

— Я сейчас приеду.

Я немножко оторопел.

— То есть, простите, куда?

— Ну где он у вас находится? В поликлинике, что ли? Вот туда и приеду. А как же? Ведь он почитай что сирота. Ждите меня.

Я бросился к Дон-Кихоту.

— Ваш подопечный уже отправлен в больницу на Ленинском проспекте. Мы не имеем права долго задерживать у нас больных, — сказал мне старик.

Я решил подождать Марью Ивановну здесь. В длинном коридоре было много людей. Между темными человеческими фигурами чахло сочился рассеянный солнечный свет. Медсестра, макнув ручку в пузатую чернильницу, спрашивала каждого вновь вошедшего больного: «Ваш номер?» — и нацеливала перо на посетителя. Речь шла о номере медицинской карточки.

Марью Ивановну я узнал сразу, хоть никогда ее раньше не видел. Уж очень она отличалась от нашей университетской публики. Ей было далеко за пятьдесят, в левой руке она сжимала бежевую хозяйственную сумку, большую, на молниях. Она двигалась размашисто и уверенно. В ее походке чувствовались долгие годы тяжелой работы в поле, а может быть, за станком и стояние в очередях по магазинам, когда ноги гудят после восьмичасовой смены, и бессонные ночи над больными детьми...

Она пожала мне руку уверенно и крепко.

— Где врач? Я хочу с ним поговорить...

Я проводил Курилину к Дон-Кихоту. После нескольких вступительных фраз она спросила:

— Какая же у него болезнь?

Дон-Кихот пустился в отвлеченные рассуждения о том, как трудно определить характер заболевания вот так, с ходу, не зная человека, его особенностей. Старуха прервала его:

— Вам тыщу анализов надо сделать? Да в «Истории болезни» кучу умных слов написать? И все равно не будете знать! Так и скажите прямо — не знаю. Оно справедливее будет-то!

Дон-Кихот начал медленно закипать. Нижняя челюсть у него отвалилась, огромный кадык торчал, как пика.

— И не обижайтесь, пожалуйста, — урезонивающе сказала Марья Ивановна, — я вашего брата, врача, знаю. Самою чуть в гроб не вогнали. Давай-ка адресок, куда Бориса сунули. Ответственности побоялись? Знаю я, как это бывает. Спихобол?

Она толкнула Дон-Кихота в бок и рассмеялась. Голос у нее гулкий, смех заразительный. Черт знает, что за бабка! У Дон-Кихота брови полезли вверх. Старик не знал — то ли ему ругаться, то ли улыбаться.

Я осторожно тронул Марью Ивановну за руку. Кожа у нее твердая, грубая, в мелких пупырышках.

— У меня есть адрес, поедемте.

— А-а, ну что же, двинули, малыш. До свиданья, доктор!

Дон-Кихот пожал плечами.

Общаться с этой женщиной было очень просто. Действовала, говорила и комментировала она, другим приходилось только наблюдать. Я ввернул несколько слов о Лопухом, пока мы тряслись и толкались в автобусе.

— Этот Борис всегда был чудак. Но я не знала, что он припадочный. Паренек он странный, но чтоб за ним замечалось что-нибудь такое... этого не было.

Я воспользовался секундным перерывом и записал координаты Бориса Ревина. Телефона у него нет, живет он за Абельмановской заставой.

— Во всем виновата его мать, — сказала Марья Ивановна после того, как подробно перечислила весь транспорт, идущий к Абельмановской заставе. — Я давно заметила: как где какая беда, значит, баба нашкодила. Может, и не прямо, а через кого-либо, но все равно здесь какая-нибудь баба руку приложила. Или дрянь или дура.

— «*Cherchez la femme*. Ищите женщину...» — ввернул я. — Но, может, это обычное совпадение? Женщин много, вот они и попадают чисто статистически в орбиту беды.

— Ты мне заумки не подбрасывай. У меня свой с высшим образованием. Тоже иногда захорохорится и на иностранный манер рассуждать примется. Но я живо все его заумки в норму привожу. У меня свой рентген

имеется. Чутьем он по-простому-то зовется. Я и науку от шелухи отличить сумею, так что слушай, как люди, повидавшие жизнь, рассуждают.

— И помалкивай! — рассмеялся я.

«Ну и мамочка у вас, товарищ Курилин!»

— Нет, не молчи, а свое доказуй. Но без этого, без штучек. Место у женщины в жизни серьезное, куда вашему, мужскому! Женщина — она все вокруг себя организует: и семью, и дом, и мужа, и работу. А если попадется такая, как Борькина мать, так уж тут все, конечно, идет прахом. Правда, с мужем ей не повезло. Запятнанный был человек, что и говорить, сильно запятнанный. Но как-никак отец твоего ребенка, так что здорово нужно было мозгами шевелить раньше, чем кричать «караул».

— Простите, но я вас не совсем понимаю.

— То-то и оно. Ты меня, малыш, не понимаешь. Михайлова своего сына не понимает, и одна ерунда получается.

Она говорила не ерунда, а «юрында».

— О какой Михайловой идет речь?

— Так это же и есть Борисова мамаша. Она по первому мужу, отцу Бори, не Ревина, а Михайлова. А потом своего второго мужа заставила усыновить мальчика, чтобы никакой памяти об отце на нем не оставалось. Ну да что там говорить, история долгая, в двух словах не расскажешь!.. А мы уже приехали.

В больнице Бориса не оказалось. Его с ходу переправили за город, на станцию Столбовую.

— Я же говорю, — возмущалась Марья Ивановна, — настоящий спихбол! Для них больной что футбольный мячик. Ну и врачи! Я их насквозь вижу. Только бы им ни за что не отвечать. Нацарапал рецепт — и будьте здоровы!

— Может, в этой больнице мест нет, а может, они не специалисты по психическим заболеваниям, — попытался я урезонить расхोлившуюся старуху.

— Э-э-э, брось! — раздраженно сказала она. — Знаю я их. — Потом, помолчав, добавила: — Оно, конечно, платят им мало да и работа нелегкая. Все с людьми, все с больными. Это народ капризный, обиженный. Но ежели подумать, никто их и не заставлял на врачей учиться. А уж коли ты взялся за такое дело, так работай честно.

Бюрократы несчастные! Давеча я с зубом канителилась. Ужас что было!

Я огляделся по сторонам. Пыльный асфальт сверкал на солнце, как ртуть. В горле пересохло, хотелось пить, и ни одной водопойки поблизости. Под полосатым брезентовым навесом румяная девушка продавала болгарский виноград, возле нее сгрудились домохозяйки. Красный жаркий автобус делал разворот, намереваясь нырнуть в узкий переулок.

Мне пришла в голову хорошая мысль.

— Марья Ивановна, — сказал я, — зайдемте в парк, он совсем рядом, я водички попью: от жары погибаю.

Газированная вода была колючая, как еж, от нее щемило в носу и наворачивались слезы, но жажды она не утоляла. Марья Ивановна чинно выпила свой стакан, и мы зашагали по дорожкам, посыпанным красным толченым кирпичом.

— Значит, ваш сын хорошо знает Ревина? — спросил я.

— Я уже тебе говорила, это история долгая. Еще до того, как я вышла замуж, Курилин сильно дружил с Михайловым. Оба геологами были, и оба за ней, за Натальей, ухаживали. Уж я не знаю, как у них там все протекало, но только наверняка что-то случилось. Муж не особенно любил на эту тему распространяться, но я потихоньку да полегоньку кое-что из него выцедила. Много мне узнать не удалось, знаю только, что ухаживали они, ухаживали за ней, потом съездили вдвоем с Михайловым в экспедицию, вернулись, и после этого Курилин к Наталье ни ногой. То ли они с Михайловым там поругались, то ли договорились между собой, чтоб волюнку эту больше не тянуть, то ли жребий бросили (и такое дело между мужчинами бывает), но стал ходить к Наталье теперь один Михайлов. Долго ходил: видать, Наталья больше к Курилину симпатию имела. Оно понятно. Видный человек был Николай Курилин. Волосы светлые...

— Был? Разве ваш муж умер? — вырвалось у меня.

— Умер, малышка. Вернее, погиб. Вот из-за этой-то смерти и Борис Михайлов Ревиным стал.

Мое любопытство, расплавленное и размягченное под жарким августовским солнцем, начало твердеть. Я почувствовал, что занавес если и не раздвигается, то, во

всяком случае, колеблется под напором неизвестных мне сил.

— Несчастный случай? Болезнь? Война? — деловито осведомился я, придавая голосу оттенок участия.

— Ты погоди, не торопись, — отстранила меня рукой Курилина. — Я тебе о Николае рассказываю. Красавец был человек, и душой и телом. Веселый, сильный, ловкий. Его все любили, нельзя было не любить. Когда я первый раз увидела его... — Старуха помолчала. — Ну ладно, может, тебе это не интересно.

— Нет, почему же?

— Скажешь, старушка расчувствовалась, еще по-смеешься. Одним словом, как откатился от Натальи Курилин, та, видно, здорово подосадовала. Гордая, виду не подавала, но и Михайлова особенно не поощряла. Так они маялись вдвоем, маялись — двое рядом, а один поодаль. А потом Николай съездил в командировку в Саратов. Там мы с ним и познакомились и поженились. Теперь-то я не знаю, или он свою застарелую любовь тогда выжигал, или мной сильно увлечен был. Но тогда мне на все было наплевать, уж очень он мне по сердцу пришелся. Потом я его пытала: признайся, говорю, мужскую дружбу доказывал, на мне женюсь? Хохоchet и отшучивается. Так и не сказал. А видно, так оно и было. А может, и не так, жизнь — штука сложная. Только Наталья еще долго замуж не выходила. И когда у нас Валерий родился, они с Михайловым наконец свадьбу сыграли. Снова стали Курилин с Михайловым вместе в экспедицию ездить, да и мы с Натальей поближе познакомились и даже подружились. Только недолговечная это была дружба! Когда я разузнала, что мой Николай раньше за Натальей бегал, как-то отпала у меня охота ее видеть. Не по мне она стала. А тут...

Марья Ивановна на миг замолкла.

— Смотри хорошо, как устроился! — сказала она, указывая на воробья, купавшегося в пыли на клумбе. — Получает же зверь удовольствие!

— Вы не кончили, — сказал я.

— Да что кончать-то? Старые раны бередить. Человек ты мне незнакомый, молодой, хоть и ученый, да, наверное, жизни не знаешь. Пустое любопытство одно.

— Марья Ивановна! — закричал я. — Ей-богу, так не поступают. Может, я действительно самый обыкно-

венный, не весьма хороший человек, но Борис Ревин меня очень интересует. Я сам не знаю почему. Мне хочется ему помочь. И вы меня просто обижаете...

Курилина улыбнулась. У нее удивительно приятная улыбка. Два маленьких голубых, невероятно хитрых глаза тонут в паутине коричневых морщинок и лукаво поглядывают на вас, словно мыши из норки.

— Ладно, — сказала она, — это я от тебя и хотела слышать. Не люблю, когда люди молчат, и неизвестно, что они там про себя думают. Так вот, получилось так. Однажды, это было в тридцать девятом году, Валерику уже второй год пошел, уехал мой муж с Михайловым на Обь, а вернулся оттуда один Михайлов. И сообщил, что, дескать, погиб Николай Курилин при переправе через одну таежную речушку. «А ты где ж был?» — спрашиваю. «Я шел за ним, говорит, метрах в пятидесяти, а когда подошел к реке, только шапку нашел на берегу». И разные ужасы расписывает. Работали они, дескать, вдвоем, потом через осенние ливни их наводнение залило, и все снаряжение погибло. Шли они через тайгу мокрые, холодные, голодные, еды в обрез. Тогда у геологов всей этой техники не было. Ни вертолетов, ни самолетов. Хотя, кажись, самолеты в больших партиях были. Так плелись они много дней, и уже первый снежок стал падать, мороз по утрам, они совсем ослабели, еды у них на двоих на два дня да баклага спирту. И вот здесь возьми и случись это несчастье с Николаем. Свалился в воду, словно камень, и исчез навсегда. Михайлов на этом месте стоянку сделал: так сильно ослабел, что и двигаться не мог. Умирать, говорит, решил. Да ударил мороз, и по первому льду перешел он речку, в которой погиб Николай.

— А ваш муж пытался переправиться вплавь?

— Вплавь в такую студеную воду никак нельзя. Видать, брод искал или с обрыва свалился. Михайлов и сам толком объяснить не мог. Слушать его я слушала, а не очень-то доверяла. Чужало мое сердце неладное. И подтвердилось мое предчувствие. Не сразу, правда.

— Каким образом?

— А вот каким. Прошел год, может, чуток меньше. Я за это время все глаза выплакала над письмом, где сообщалось, что мой муж погиб смертью героя при исполнении служебных обязанностей. Положу, бывало, эту

бумажку перед собой вечером, когда Валерик, отбегавши что ему положено, спит без задних ног, и плачу, заливаюсь. Как-то однажды приезжает один Колин сослуживец и говорит мне... Всю душу он мне перевернул. Как сейчас помню, сидели мы у нас днем, солнце ярко светило, а у меня в глазах черно стало, словно все вокруг черными флагами позавешивали. Говорит мне Евгений Николаевич: «Не хочу тебя расстраивать, Машенька, но должна знать ты правду. Не утонул твой Николай. Обманул тебя да и нас всех Михайлов». Оказывается, пришел осенью к якутам-охотникам человек с бородой, кожа да кости и в бреду. Побредил суток двое и скончался. И ничего у него с собой не было — ни документа, ни припасов. Совсем раздетый, без шапки, босой, оборванный, страшный человек. Ничего не поняли якуты из его бреда, только сильно испугались. Тогда время известно какое было. Схоронили его молчком, и концы в воду. А когда с новой весны стали в эти места геологи наезжать, кто-то и проболтался. Нашли могилу Николая. Выкопали труп и как-то опознали беднягу. И сразу подозрение на Михайлова упало. Вспомнили все, что, когда подобрали его, была у него еще еда да и спирту малость оставалось. Сбежал, подлец, почуял, что еды не хватит на двоих, и бросил своего товарища. «Судить его будем, — говорит Евгений Николаевич. — Улик нет, чтоб настоящим судом его судить, но есть у нас товарищеский суд. Вот этим судом и будем судить». Как услышала я этот разговор, так у меня такая злость поднялась, что, кажется, руками бы его задавила...

— Ну и что же Михайлов сказал на суде? — спросил я.

— А что? Все то же, что и раньше. Шли, говорит, вдвоем, впереди Курилин, за ним — я. Когда подошел к реке, Курилина не было. Туда-сюда, нашел только мешок, что тот нес, да его шапку, к берегу прибитую волной. Решил, что утонул Курилин. Вот и все. Кто-то спросил: значит, Курилин, перед тем как утонуть, решил оставить ему всю наличную провизию? Михайлов побледнел, но спокойно ответил, что, перед тем как ищут брод, все тяжести с себя симают. И тут я увидела Наталью. Без кровинки в лице, а глаза так и сверкают. Приметила я, что ребенка она ожидает. И кто его знает почему, но стала моя обида утихать. И как начали

громить Михайлова все, кто был в зале, за его ложь, я что-то совсем размякла. Конечно, не жалко мне было этого сукиного сына, что товарища в беде бросил, а жалко мне Наташку, а еще больше того ребеночка, который будет. Каково ему знать, что отец его подлец распоследний! И пока Михайлов там выворачивался и пытался концы с концами связать, а они никак не связывались, потому что если человек жив после переправы остался, то не могли же они так по-простому разминуться, этого уж никак нельзя объяснить. Всем было ясно — ушел от Николая Михайлов, сбежал с запасом еды, свою шкуру спасал. Да ясно-то ясно, а доказать нельзя.

— Ну и чем же все это кончилось? — спросил я, пытаюсь воссоздать в памяти лицо Лопоухого. Интересно: похож он на своего отца или нет?

— А ничем. Я выступила в защиту Михайлова. Мертвому — мертвое, а живому — живое. Думала я только об их ребенке. Так что Михайлова и не оправдали и не обвинили. Известное дело, товарищеский суд. Ну, порицание все же записали и поручили расследовать это дело органам. После всего этого подошла ко мне Наталья, руку пожала. Говорит: «Спасибо, Машенька, за доброе слово, только все это зря». И действительно, развелась она через месяц с Михайловым, а через два месяца и ребенка родила, этого самого Бориса. И про отца ему ни гугу. Одно слово — запятнанный человек. Здорово мы с ней тогда подружились, и наши ребятки хорошо ладили, всю войну мы с ней вниманием друг друга не оставляли.

— А что же с Михайловым?

— Убили его в первые же недели войны. А Наталье после войны возжа под хвост попала «Хочу, говорит, замуж. Мне еще пожить хочется». Разругались мы с ней начисто, она сына совсем забросила, только собой занимается. Вышла-таки за своего Ревина, зато Борис совсем от рук отбился. Замкнутый стал, нелюдимый, молчит все больше. Однако с Валериком продолжал дружбу поддерживать.

— А про отца своего он знал что-нибудь?

— Никто ему не говорил. Ни она, ни я. Но, по-моему, знал он все. Наверно, нашлись «добрые» люди. И мучился про себя он, видно, здорово, но молчал и ни с кем не делился. Даже с Валериком.

— Так в чем же вы находите вину Михайловой? Она, по-моему, поступила совершенно правильно.

— Правильно-то правильно. Ты, малыш, еще не женат, наверно, и многого понять не можешь. Как-то раз она мне сказала: «Вот Борис мне сын, а я не могу к нему открыто, по-матерински, относиться. Все время перед глазами тот подлец стоит, мешает». Значит, давала она почувствовать сыну что-то такое, что ребенку знать не след. Выискивала и ожидала каждую минуту, что Борька тоже какую-нибудь подлость сделает. Разве это справедливо? Дети за отцов не в ответе. Отсюда и получился Борис смурной да упрямый. И этот припадок сейчас не иначе, как на нервной почве.

— Ну-у, это уж вы зря! — сказал я.

— Вот те и зря! Кабы не знал Борис всего о своем отце да мать вела себя иначе, другим бы человеком он был. Ну да ладно. Я тебе всю жизнь выболтала. Хватит прохладяться. Поехали в Столбовую.

— Пожалуй, я сегодня не смогу, — сказал я нерешительно.

— Что, уже пороку не хватило? Вот нынешняя молодежь — вся такая. На удовольствия жадная, а на доброту да сочувствие — хлипкая. Ладно, бог с тобой. Только об одном тебя попрошу. Поезжай ты к Ревиным, мать предупреди, что сын в больнице. Как-никак... А то мне с ней разговаривать больно неохота.

Я согласился. Мы расстались у выхода из парка.

Мне не особенно хотелось ехать к Ревиным. Что я там увижу? Немолодую женщину, влюбленную в нового мужа и поглощенную своим счастьем? Нет, я не пойду туда, в конце концов все это меня очень мало касается. Лопухий, то есть Борис Ревин, заинтересовал меня как случай незаурядный, из ряда вон выходящий, но... Но слишком мелкой оказывается причина. Какая-то семейная драма, плохое воспитание — чепуха, одним словом. Я не поехал.

Зайдя на почту, я написал матери Бориса открытку о случившемся и приписал туда же телефон Курилиной. Пусть старые приятельницы возобновят свои дружеские контакты. А с меня хватит.

Через два дня я уехал в Крым.

ЧЕРТ СОРДОНГНОХСКОГО ПЛАТО

Валерий Курилин,
геолог



Сон отлетел от меня в мгновение ока, я зябко поёжился и застегнул верхнюю пуговицу телогрейки. На востоке сквозь плотную синесвинцовую завесу едва пробивались первые малиновые полосы. Осторожно, чтобы не разбудить товарищей, я вылез из палатки и опустил за собой брезентовый полог.

Милка встретила меня тихим счастливым повизгиванием. Завертевшись у моих ног, она превратилась в круг из белых, рыжих и черных пятен. Я наклонился и успокоил собаку. Нужно было вспомнить, не забыл ли чего. Патроны с дробью, охотничий нож за голенищем, на всякий случай два медвежьих жакана в левом кармане, бутерброды, фляжка с перцовкой, спички... Что же еще? Как будто все. Можно идти.

Куда ни глянь, всюду болото. В сущности, все огромное Сордонгнохское плато — сплошная марь. Я люблю болота. И не потому, что я геолог-торфоразведчик. Торф — это лишь один из каустобиолитов, пожалуй, самый скромный из горючих ископаемых. Я люблю болота не из-за торфа.

Моя любовь, если можно так сказать, диалектична. Она проходит через отрицание. Чего стоят одни только бесконечные переходы по вязкой и зыбкой почве!

Раздвинутый тростник сейчас же с шелестом сдвигается за тобой. Точно говорит: нет тебе дороги назад — и все тут. Есть в этом что-то экзотическое, что-то заставляющее припомнить детские забытые мечты... Дремучий тростник в два человеческих роста.

Под ногами хлупает вода, даже не хлупает — чавкает. Почва упруга, и след остается не очень глубокий, но зато сразу же начинает наполняться мутноватой жижей. Вот уже семнадцать дней мы, четверо молодых

парней, работаем на Сордонгнохских займищах. Чего тут греха таить, проклятая эта работа. Идем мы обычно осторожно и медленно, тщательно выбираем путь. Плечи ноют под тяжестью теодолитных и нивелирных треног, от стальных штангобуров. Я люблю, чтобы в походе руки были свободны. Но это не всегда удается. Порой приходится прихватывать то ящик с прибором, то еще что-нибудь.

Но все это пустяки по сравнению с комарами. Их не отгонишь рукой, не отпугнешь. Это плотные облака чесоточного газа, где каждая молекула издает сводящий с ума писк на самой высокой ноте. Впрочем, может быть, я и преувеличиваю. Не так уж все тяжело и страшно. Эти мысли приходят мне в голову на привалах. Палатку мы разбиваем прямо посреди болота. Разжигаем костер, то и дело подкладывая все новые и новые порции сухого тростника, багульника и кассандры. Как пахнет багульник! Когда я увидел его впервые, то не поверил, что скромные беленькие цветочки могут источать такой густой пряный и терпкий запах. Особенно когда пригреет солнце. Иногда мне кажется, что я каждое лето собираюсь вновь на болото затем, чтобы еще раз вдохнуть запах багульника. Хотя это, вероятно, совсем не так. Багульник дурманит, от него может разболеться голова. А на болота я ухожу потому, что это моя профессия, которую я, в общем-то, люблю.

В костре багульник пахнет совсем иначе. От него идет белый удушающий дым. Глаза мгновенно наполняются слезами. Но иного выхода нет. Или вдыхать едкий одуряющий дым, или отдать себя на съедение комарам, которых не пугает ни крем «Тайга», ни одеколон «Гвоздика». Великое благо — костер. Особенно когда он становится еще и сигналом для самолета. Летчики наловчились сбрасывать нам тюки почти в руки. А в тюках провизия, иногда посылка с какими-нибудь сладостями, письма от родных, газеты. Приятно при свете костра вычитать в «Известиях», что вчера показывали по московскому телевидению. Когда на болото ложится туман и становится сыро и зябко, мы забираемся в палатку и залезаем в спальные мешки. Засыпаем сразу, не смотря на комариный писк. Те комары, которым не посчастливилось попасть в палатку, дожидаются нас снаружи. Они густо покрывают внешнюю сторону брезента,

и первые лучи утреннего солнца проходят сквозь них, как через рыжевато-дымчатый фильтр.

Я слишком много говорю о комарах. Но мы все о них говорим много. Нет зверя страшнее комара. Вот и сейчас я поднялся засветло, а дозорные отряды и головные заставы крылатой армии уже вершат над головой свое неистребимое броуновское движение.

До озера со странным названием «Ворота» идти минут сорок—пятьдесят. Много слышал я об этом озере и хорошего и плохого. И я знаю, что там лучшая утиная охота в мире. Этого вполне достаточно, чтобы отправиться к озеру, на котором я никогда не был. У меня есть карта и компас, потому я так же легко и просто дойду от палатки к Воротам, как от Бережковской до Киевского вокзала в Москве.

Постепенно тростник начал редеть. Все чаще передо мной открывались поляны, поросшие осокой, серебристо-белой пушицей и клюквой.

Как еще мало знаем мы свою землю! В детстве я грезил девственными лесами Амазонки. Меня поражало, что где-нибудь в Перу или Мату-Гросу половина территории совершенно не обследована.

Мне и в голову не могло прийти, что у нас в Советском Союзе тоже есть «белые пятна». И вот я уже восемнадцатый день хожу по такому пятну.

Сордонгнохское плато — огромная и пустынная горная местность с очень суровым климатом. Впрочем, местность — это не то слово. Сордонгнох — страна, не меньше, чем Бельгия, она лежит на Оймяконском плоскогорье, совсем рядом с полюсом холода. Никогда здесь не было ни одного зоолога или ботаника. А работы здесь много. Я слабо разбираюсь в геоботанике, но даже мне ясно, что сордонгнохские фитоценозы¹ могут перевернуть многие современные теории о послеледниковой флоре.

Интересно получается! Даже смешно немного. Стоит мне от вещей обыденных перейти к науке, как я сразу же начинаю излагать свою мысль специфическим «научным» языком. Как будто нельзя говорить просто. Но это вне меня, здесь все происходит совершенно автоматически. Впрочем, это не существенно. Главное, что многие

¹ Фитоценоз — взаимосвязанное между собой растительное сообщество.

и многие коллеги, высасывающие диссертации из пальца, могли бы сделать здесь настоящие открытия.

Одни пурпурные ковры чего стоят! Мы часто встречали на плато огромные пространства, поросшие длинным красным мхом. Ромка Оржанский, наш геодезист, считает, что это сфагновые мхи третичного возраста. Он даже название придумал: сфагнум реликтум. Не знаю, так ли это, но больше нигде на Севере я такого мха не видел. Когда я начинаю перечислять загадки плато, то теряю всякую сдержанность. Ведь это же огромный естественный заповедник, на природу которого человек не оказал абсолютно никакого воздействия. Сюда бы послать огромную комплексную экспедицию... Прямо зло берет! Никто, кроме геологов и охотников, здесь никогда не был. Но даже они собрали ценнейший материал. Чего стоит, например, рыбка, которую поймал в одном из здешних озер геолог Твердохлебов! Рыбка с мясом оранжевого цвета...

Я не удержался и написал директору нашего института докладную записку. Он отправил ее в Президиум Академии наук. Там, кажется, зашевелились и на будущий год планируют экспедицию. Во всяком случае, вчера нам сбросили на парашютах два акваланга и компрессор с бензиновым моторчиком для предварительного обследования озер, которых тут великое множество.

Предполагают, что в третичное время эта большая область была относительно низменной, постепенно спускаясь на восток, к охотским берегам. Тектонические процессы подняли низменность на километровую высоту, разорвали реки и повернули их вспять. Сордонгнох оказался отрезанным от Охотского моря. Запруженные горными обвалами реки постепенно превратились в систему связанных между собой озер.

Милка резво перепрыгивала с кочки на кочку. Она сразу же повеселела, как только кончились тростниковые джунгли. Я тоже чувствовал себя увереннее на открытом пространстве. Вокруг были лишь кочки топяной и омской осоки да поляны красного мха.

Озера еще не было видно, хотя я уже находился в пути часа полтора. Но у меня не было никаких сомнений в правильности маршрута, и я уверенно шел по азимуту.

Когда наконец на горизонте мелькнуло ртутным блеском пространство открытой воды, солнце поднялось уже высоко. Оно светилось в каждой росинке, любовно покрывало блестящим лаком каждую яркую ягодку клюквы или гонобобеля. Даже маленькая хищная росянка тянулась к свету крупными, утыканными красными булавками листочками. Солнце слепило, но грело слабо. Теплее не становилось, лишь явственней слышался запах разогретых цветов багульника и подбела.

Я уже не видел мелькнувшего было впереди озера. Всюду та же однообразная картина: зеленые осоки, красные мхи да наполовину ушедшие в болото огромные скалы — бараньи лбы, оставшиеся здесь после отступления ледника.

Озеро открылось неожиданно близко. Я остановился на заросшей лютиками и водосборами береговой террасе. Внизу, метрах в двадцати, стальным холодным блеском отсвечивала вода. Она казалась злой и неприветливой. Ветра почти не было. Поверхность озера была гладкой; лишь слегка подрагивала острая жестяная осока. Милка с радостным визгом покатила вниз, к воде. Я неторопливо спустился за ней. Она сразу же побежала к заросшей рогозом и стрелолистом излучине. У Милки великолепный нюх на уток. Поэтому я быстро зарядил оба ствола и побежал за собакой.

Не успел я пробежать и сотни метров, как Милка резко остановилась и застыла. Ее болтавшиеся, как тряпки, уши напряглись, короткая шерсть стала дыбом. Милка прижалась к самой земле, повернувшись мордой к озеру. Когда я подошел к ней, она немного осмелела и начала лаять со злобным горловым рокотом. Такого с ней еще не было. Я удивленно огляделся. Вспугнутые собачьим лаем и визгом, над излучиной поднялись два селезня. Я было вскинул ружье, но Милка, вцепившись зубами в мою штанину, потащила меня к воде.

В сердцах я опустил двустволку и выругал собаку. Она виновато вильнула хвостом, но зубов не разжала. Я взглянул на озеро. Метрах в трехстах от берега я увидел какой-то ярко блестящий на солнце предмет. Сначала я решил, что это плывет пустая железная бочка из-под бензина. Но откуда здесь взяться бочке?

Присмотревшись, я обнаружил, что эта штука живая. Быстро повернувшись, я бросился прочь от воды и вска-

рабкался на террасу. Милка с отчаянным воем понеслась за мной. Сверху видно было лучше — не так мешали солнечные блики. Неизвестное животное быстро плыло к берегу по направлению ко мне. Уже можно было рассмотреть выдававшиеся из воды части. Передняя часть туловища (я не решаюсь назвать ее головой, так как толком ничего не разглядел) была около двух метров. Глаза широко расставлены. Длина темно-серого массивного тела приблизительно метров десять. По бокам головы я различил два светлых пятна, а спину чудовища венчал огромный, загнутый назад плавник. Я видел такой или очень похожий плавник на картинке, изображавшей рыбу-парус, у Брема. Плыло чудовище брассом: голова то появлялась, то исчезала. В нескольких десятках метров от берега оно внезапно остановилось, затем энергично забило на воде, поднимая каскад брызг, и нырнуло.

Притихшая было Милка сейчас же бросилась вниз и принялась облаивать расходящиеся круги. Я тоже, точно очнувшись от спячки, забегал вдоль берега. Зачем-то даже пальнул в воду из обоих стволов. Выстрелы гулко отозвались в воздухе, дробь веером хлестнула по серой стали озера.

Но чудовище больше не показывалось. У меня совершенно пропала охота стрелять уток. Подозвав к себе и успокоив Милку, я присел на большой серый камень, чтобы хоть немного прийти в себя и осмыслить все случившееся.

Совершенно автоматически, не испытывая никакого голода, я развернул целлофан и начал поглощать бутерброды. Внезапно я застыл с открытым ртом и недоеденным куском хлеба в руке. Я вспомнил!

Было это года два назад. Лютой мглистой зимней ночью я прикатил на «газике» в маленькое охотничье селение с суровым названием «Острожье».

Надо сказать, что Острожье было ближайшим к озеру Ворота населенным пунктом, хотя отсюда до озера было километров сто двадцать, не меньше. Я остановился в доме Фрола Тимофеевича Макарова. Мы с ним были давнишние приятели.

Любой геолог нашего института мог считать себя давнишним приятелем Тимофеича, даже если ни разу до того с ним не встречался. Тимофеич лет двадцать назад

был проводником экспедиции гидрогеологов. Он водил их на Лабынкыр — самое большое из здешних озер. С тех пор Тимофеич всегда рад был предложить свои услуги «науке». Любого из нас он прямо так и величал: «Наука».

Дом Тимофеича был сработан из добротных кедров, потемневших от времени и непогоды. Хозяйство у него было нехитрое — такое же, как и остальных острожан, преимущественно охотников и рыболовов.

Я ввалился в сени весь заснеженный, окутанный облаками пара. Пока я стучал по валенкам веником, Тимофеич чем-то громыхал в комнате. Очевидно, накрывал на стол.

— Ну, здравствуй, здравствуй, наука, — ответил он на мое приветствие, внимательно разглядывая меня зоркими и колючими глазами.

— У меня подарок для вас, Фрол Тимофеич, — сказал я и потянулся к рюкзаку. Мы все обычно что-нибудь привозили Тимофеичу из Москвы. В основном все наши подарки покупались на Кузнецком, в магазине «Охота и рыболовство».

— Успеется. Ты сперва поешь, отдохни. Потом о делах поговорим. А подарок успеется.

Единым духом я хватил граненый стакан водки, которую Тимофеич налил мне из непочатой четверти.

— Ох-х, хороша-а!

— Ну то-то. Вот морошки попробуй али клюквы мороженой. Скоро и мясо с картошкой поспеет, Горшочек в печи уже... Не женился еще?

— Нет, Тимофеич, не женился.

За окном завывала вьюга, шуршала по крыше пурга, а я, разомлев от тепла и сытости, едва мог разлепить веки. Так мы и не поговорили с Тимофеичем в ту ночь. Сразу же после позднего ужина старик постелил мне на полу возле жарко натопленной печки медвежью шкуру, на которую я с наслаждением улегся, мгновенно свернулся на ней калачиком и уснул.

Когда я проснулся, в заплывшие льдом оконца слабо проглядывала синева. Комната была погружена в тот мягкий, неповторимый сумрак, который присущ холодному и короткому зимнему дню.

Старик всю жизнь прожил бобылем. Быстрый и аккуратный, он что-то колдовал насчет завтрака.

Увидев, что я проснулся, он замахал на меня руками:

— Ты не вставай, не вставай! Умаялся, чай!

И потом после короткой паузы:

— Чего приехал-то?

Мы тогда только-только приступали к разведке Сордонгохских займищ. Для разных нивелировочных работ нужны были люди: держать рейки, провешивать трассу, копать ямы. Я надеялся, что Тимофеич посоветует, где мне набрать сезонников на лето. Чтобы не остаться к началу работ без рабочих, нужно было договориться сейчас. Я поведал Тимофеичу о своих заботах.

— Не просто все это, наука. Людишки сейчас все в тайге да на болоте. Зверька добывают. Сейчас самый сезон на зверька-то. А так, вообще, можно. На лето к тебе народ пойдет. Отчего не пойти? Я и сам пойду. Вы, чай, тоже рыбешкой побаловаться захотите. А у нас людишки летом завсегда рыбачат. Озер-то у нас много. Глубокие озера, чистые. Вы откеда спервоначалу обмерять начнете?

Я достал карту и показал старику район, лежащий между Лабынкрым и Воротами.

— Так. — Старик помолчал. — Нехорошее место выбрал, наука.

— Почему же нехорошее? — не понял я. — На первое лето обмерим займище и нанесем на карту. На второе пройдем по трассам и проведем разведочное бурение. Если анализ и данные разведки будут хорошие, то на третье лето наметим осушительную сеть. Вот смотрите...

Я показал старику отметки высот и линии гидроизогипсов.

— Здесь понижение и здесь понижение. Вот мы и дадим два магистральных канала. С запада сброс воды будет в Лабынкры, с юго-востока — в Томыское и в Ворота.

— Не про то я, наука.

— А про что же?

— Нехорошие места там. Особливо Лабынкры. Черт там живет — вот что.

— И вы этому верите? — удивился я, — Вы, столько лег проработавший с учеными?

Старик насупился.

— А ты не смейся, парень. Нечего тут смеяться. Я дело говорю. Оно в Лабынкыре живет, а может, и в Воротах тоже. У нас его чертом кличут. А какое оно, никто не знает. Отец мне еще, помню, рассказывал, как оно за его плотом погналось. Отец даже разглядел его, черта-то. Все тело темно-серое, как лисья спина, а пасть громадная-громадная, и жабры с красными перепонками. И сам я видел. Когда Александра Максимовича Дымова к Лабынкыру водил, случай один был. Решили мы утицу в глине запечь, любил Александр Максимович это кушанье очень.

Сказано — сделано. Кликнул я кобелька своего и пошел к озеру. Ну, известное дело, спугнул кобелек парочку, я навзлет из обоих стволов и выстрелил. Птицы так камнем в воду и упали. Кобелек бросился доставать. Схватил сначала одну в зубы — и к берегу. Только принес, как сейчас же за второй пустился. Но не доплыл кобелек. ЗабилсЯ вдруг и исчез в озере. Народ рассказывает, что это черт его утянул. Прошлым летом у свояка моего, Луки, уж на Воротах, тоже собачку черт схватил. Вон оно как...

Я не то чтобы не поверил тогда старику. Я хорошо знал, что Тимофеич ничего не присочинил. Просто я решил, что он чуть-чуть, неведомо для себя, преувеличивает.

Я даже предположил тогда, что, возможно, и водится в озерах Сордонгноха какая-то большая хищная рыба, которую хорошо бы увидеть.

Подумал и забыл. А вот теперь вспомнил. Выходит, что я видел его, этого таинственного и страшного сордонгнохского черта.

В нашей палатке мой рассказ произвел настоящую сенсацию. Ромка мгновенно предложил надеть акваланги и обследовать дно озера.

— Легко сказать — обследовать, — возразил ему я. — Озеро тянется на десять—двенадцать километров, и глубина его в некоторых местах достигает восьмидесяти метров.

Ромка сразу же стушевался и поскуцнел. Третий член нашей экспедиции, флегматичный и рассеянный палеонтолог Боря Ревин, смущенно заморгав белесыми ресницами и сощутив подслеповатые глаза, спросил:

— Ты все же припомни хорошенько, какое оно. Это что, очень крупная рыба или амфибия?

— Ну откуда же я знаю, Боренька? Что ты ко мне привязался? Я же тебе уже сто раз говорю одно и то же. Скорее амфибия, чем рыба!

— А какая амфибия?

— Ну вот, опять двадцать пять! — вступился за меня Ромка. — Он же русским языком сказал тебе, что не знает! Да и откуда ему разбираться в этих рептилиях и амфибиях?

Но для Бори это ровно ничего не значило. Еще в школе ребята прозвали его за круглую голову и толстые, немного свисающие вниз щеки Бульдогом. Увы, сходство было не только внешнее. Более упорного человека я еще не встречал. Он все брал мертвой бульдожьей хваткой. Студентом университета Боря заболел одной бредовой идеей. Ему во что бы то ни стало захотелось собственными глазами увидеть прошлое Земли. Первобытный лес древовидных папоротников, мутное меловое болото, юрских ящеров, девонских насекомых. Его не устраивали отдельные кости и даже целые скелеты, его не волновали отпечатки на камнях и кусках угля. Он все хотел увидеть таким, как оно когда-то было. Я думаю, что у него все это началось с фантастического рассказа Ефремова «Тень минувшего». Боря прекрасно понимал, что блестящий вымысел писателя никак не воплотить в реальность, но он ничего не мог с этим поделать — его не оставляла грызущая и точащая зависть. Он завидовал героям рассказа. Завидовал и мечтал.

И он додумался. Бульдожья хватка помогла. Боря начал искать янтарь. Ему нужны были насекомые, древние мошки, которые когда-то увязли в липкой смоле. Эта смола, попав в море, превратилась в янтарь. Так Борис сделался ловцом янтаря. Он даже отпуск провел на Рижском взморье в поисках выброшенного прибором янтаря. Более того, он обегал все ювелирные магазины. Денег у него не было, и купить там что-нибудь он не мог. Поэтому он часами простаивал у витрин, пожирая глазами элегантные мундштуки и браслеты.

— Если хотите понравиться Боре, — говорили его друзья знакомым девушкам, — надевайте при встрече с ним янтарные бусы. Не отойдет. И даже провожать увяжется.

Но только в одном на тысячу желтых и медово-красных кусочков древней смолы он находил то, что искал, — насекомое с неповрежденными глазами. С величайшей осторожностью Бульдог извлекал драгоценную добычу и помещал под микроскоп. Он искал на глазном пурпуре насекомых отпечатки когда-то увиденных ими картин древнего мира. Он пытался увидеть прошлое глазами мертвых. Ничего путного из этого, конечно, не вышло. Лишь однажды Боря получил микроснимок какой-то сетки, в каждой ячейке которой был виден один и тот же древовидный папоротник. Вот и все, что навеки отпечаталось в фасеточных глазах какой-то древней мухи. Я считаю, что Бульдог потерял время зря, и не придаю особого значения этой его работе. Упомянул я о ней лишь потому, что она дает представление о характере Бориса. Именно своей мертвой хваткой он вцепился в меня, когда узнал, что я уезжаю на заповедные займища Сордонгноха. План его, как всегда, был прост, прямолинеен и рассчитан на случайность, которую он, Бульдог, почему-то считал закономерностью.

— Слушай, ты, — говорил он мне, — если до наших дней на Сордонгнохском плато уцелели какие-то остатки древней флоры — я имею в виду красный мох, — то мы вправе ожидать интересных, совершенно ошеломительных находок. Так?

— Ну, так, — нехотя отвечал я, — а что дальше?

— Ты туда едешь, ты там начальник, а я палеонтолог, поэтому ты должен взять меня с собой. Я буду делать все. Я умею даже варить обеды.

Отказывать было бы бессмысленно. Сейчас мне иногда даже начинает казаться, что он предвидел эту встречу с сордонгнохским чертом. С него станется!

Такой это тип. Он настолько упрям и прямолинеен, что даже удачу его можно объяснить усталостью природы, которой время от времени надоедает бульдожья хватка. То, что само не дается в руки, он вырвет зубами.

Пожалуй, хватит о Бульдоге. Он вызывает во мне уважение и раздражение одновременно. Вот почему я, уже раз начав о нем говорить, не могу сразу остановиться. Если бы кто знал, как он надоел своими идиотскими расспросами о черте! Он, как клещами, хочет вы-

рвать у меня то, чего я сам не знаю. И кто ведает, может быть, ему это удастся... С него станется.

Четвертого участника мне тоже навязали. Вернее, не навязали, а как бы это точнее сказать... Борьку я взял сам (попробовал бы я его не взять!), а за биохимика Артура Положенцева замолвил слово мой непосредственный шеф. Опять-таки, попробуй отказать!

Я тогда здорово удивился. Этот Положенцев — малый с причудами. Ему тридцать два года, и он уже профессор. Но ведет себя как мальчишка, начитавшийся приключений: вместо отдыха где-нибудь в горах или на море он увязался в экспедицию на болото. Зачем, спрашивается? Я ему тогда прямо сказал:

«Знаете ли вы, что вам придется выполнять зачастую самую неквалифицированную работу? Людей у меня мало».

«Знаю, — ответил он, поправляя очки, — только здоровее буду».

«Ну смотрите... Мое дело предупредить, чтобы потом не жалели».

Говорят, что Положенцев бежал от неудачной любви. Не знаю. По нему ничего не скажешь. Ведет себя совершенно естественно. Как все. Веселый парень, охотник, прекрасный спортсмен и, наверное, неплохой товарищ. Замкнутый только немножко. Себе на уме. Но это уж не мое дело.

Мой рассказ о черте он встретил довольно сдержанно. Это мне не очень-то понравилось. Не люблю людей, которые делают вид, что их ничем не удивишь. В них есть что-то наигранное, что-то от ковбойских фильмов.

Ну, вот и все мои коллеги, которым я только что рассказал о встрече с чертом.

Вечер выдался холодный. Поэтому все мы рано забрались в палатку. Долго еще говорили о таинственной рептилии, строили планы, но так ничего и не придумали.

Первым заснул Ромка, потом ровно засопел Положенцев. У меня тоже начали слипаться глаза. Последнее, что я услышал, было цоканье языком. Это Борис. Если ему что запало в башку, он всю ночь так процокает, не уснет.

Артур Викентьевич Положенцев,
профессор биохимии



Как-то так получилось, что Валерий совершенно неуволнимо уклонился от погружения в озеро. Он ни разу не сказал «нет», но вышло так, что на два акваланга оказалось только три претендента. Я отнюдь не считаю Валерия трусом. Трус сбежит из этих болот на вторые сутки. Просто он излишне осторожен для своих

лет. Впрочем, что там ни говори, он начальник — ему виднее. Ромка, тот сразу схватил акваланг и заявил, что отдаст его лишь после того, как падет мертвым. Борис Ревин упрямо твердил одно и то же:

— Я палеонтолог, мое право неоспоримо. Я должен ее увидеть.

— Еще скажи, что ты ее родил, эту рыбу! — поддразнил его Ромка.

Между ними разыгралась словесная перепалка. И чем невозмутимей и упорней Борис заявлял о неоспоримости своего права, тем сильнее петушился и насканивал на него Ромка. Мы с Валерием решили вмешаться. Спокойно и логично мы попытались объяснить Борису, что, впервые надев акваланг и к тому же не умея плавать, он может испортить нам все дело.

Совершенно неожиданно он внял гласу разума и согласился с нами. Оказывается, упрямство — это не основное его качество. Он признает еще и логику. Этот странный парень начинает все больше интересоваться меня.

Так отпал еще один конкурент. Естественно, что второй акваланг достался мне. Нам с Ромкой предстояло отправиться в гости к неизвестному чудовищу. Это было отнюдь не безопасно. Подводных ружей у нас, к сожалению, не было, поэтому пришлось пойти на импровизацию. Свинтив по две буровые штанги и привязав к ним проволокой охотничьи ножи, мы получили довольно сносные пики, с которыми можно было достойно встретить любое нападение.

Первое погружение принесло разочарование, хотя

вода была на удивление прозрачная. Такая видимость редко бывает даже в море. Мы прекрасно различали мельчайшие детали. В зарослях куги и телореза шевелились уродливые личинки стрекоз. Быстрый, как капелька ртути, строил свой подводный колокол паучок-серебрянка. Юркие мальки, деловито окружившие изумрудно-зеленый шар кладофоры, осторожно отщипывали крохотные куски водоросли.

Я плыл, лениво раздвигая руками прибрежные скользкие заросли роголистника. Желтовато-зеленые шишечки его соцветий были сплошь покрыты прудовиками. Впереди плыло черное чудовище. Это был казавшийся в воде великаном Ромка в гидрокостюме.

Дно постепенно понижалось. Все более тусклой становилась раскинутая на нем дрожащая солнечная сетка. Проплыв метров двадцать, мы раз за разом ныряли, уходя в глубину. Но все было тщетно. Таинственной амфибии нигде не было видно.

Когда наконец холод стал просачиваться даже сквозь плотную резиновую ткань гидрокостюма и шерстяное белье, повернули к берегу. Обследовали мы едва ли сотую часть большого озера, и неудивительно, что нам пришлось возвращаться с пустыми руками. Но мы так ждали этого погружения! Отчаиваться, конечно, было рано, но преодолеть разочарование оказалось трудно. Я еще старался не подавать виду. Зато Ромка, шумно пробиравшийся сквозь осоку, был мрачен, нижняя губа его сердито оттопырилась. Бедный, обиженный ребенок! Он и есть в сущности ребенок. Как-никак я старше его на десять лет. Как это много, когда мы об этом рассуждаем! И как это ничтожно мало, когда мы любим. А если она уходит, то и в двадцать, и в тридцать одинаково кажется, что это твое солнце заходит за тучи, навсегда покидает тебя. И никогда уже ты так не полюбишь. Но жизнь сложнее. . . Вот в двадцать ты этого не понимаешь, а в тридцать уже знаешь, что ничего не можешь. . . знать заранее. Но это знание мало помогает. Сердце редко считается с мудростью, почти никогда не считается.

Так и не увидели мы тогда сордонгнохского черта!

В тот же вечер Валерий расстелил на полу огромную синьку, на которой среди бесчисленных горизонталей и теодолитных ходов я с трудом различил контуры озера Ворота.

— Придется нам разбить озеро на квадраты, — сказал Валерий, доставая логарифмическую линейку. — Иначе никак нельзя, уж очень оно большое.

— А рыба на веревочке привязана? — съязвил Ромка. — Сидит себе и ждет в одном квадрате, пока прочесывают остальные. Это же не мертвый предмет, а живое существо! Смешные вы, право...

На синьке лежит неподвижное пятно света. Нить лампочки карманного фонарика покраснела — ослабла батарейка.

Ромка, конечно, прав. Разбивать озеро на квадраты бесполезно. Но есть еще и другая логика. В двадцать два года ее не понимаешь, она приходит со временем.

— Вы неправы, Рома, — сказал я по возможности мягко. — Разбить на квадраты — это нужно для самодисциплины. Ну, видите ли, так будет легче нам самим. А если будем искать бессистемно, то разочарование скоро заставит нас бросить поиски как бесполезную затею, Понимаете?

Ромка кивнул головой.

— Мы вроде сами себя обманываем, — продолжал я, — но это хороший обман, нужный. Бывает, человек устал идти. Кажется, он не сможет сделать уже ни шага. Но он говорит себе: «Еще тысячу шагов, и я отдохну», а идти ему много тысяч шагов. Человек проходит тысячу шагов, но не садится, а говорит: «Ну, еще хотя бы пятьсот, а тогда...» Такие люди всегда достигают цели.

Я почему-то смутился и оглянулся. На меня пристально, не мигая, смотрел Борис. Заметив, что я почувствовал его взгляд, он тихо и застенчиво улыбнулся. Улыбка у него необыкновенно приятная!

По натянутому брезенту гулко забарабанили тяжелые капли. В маленькой палатке, освещенной тускло-оранжевым светом фонарика, было тепло и уютно. Дождь все усиливался. Мы улеглись в свои мешки и разговаривали лежа. Ромка рассказывал анекдоты. У него в голове анекдоты разложены в строгом порядке. Он выдает их тематическими сериями. Многие я слышал еще будучи студентом.

Заснул я незаметно где-то на середине медицинской серии.

Когда мы вылезли утром из палатки, от вчерашней непогоды не осталось и следа. Небо глубокое и чистое.

Все вокруг сверкало, переливалось, умытое росой и свежестью. Пахло горьковатым и терпким настоем болотных трав. Дождевые капли на крыше палатки казались россыпью драгоценных камней.

Наскоро умывшись и позавтракав, мы с Ромкой взвалили на плечи акваланги и отправились к озеру. Валерий и Борис, взяв геодолит и бур, ушли на Олонецкое займище еще на рассвете. Им приходилось теперь работать за четверых. Мы с Ромкой были заняты поиском амфибии. Ромка почему-то упорно называет ее рыбой.

Но и в этот раз нам не посчастливилось встретить ее под водой.

Каждый день мы проводили в воде часов по девяти-десяти. Вечером я зачеркивал на синьке новый квадратик. Оставалось обследовать уже меньше половины озера.

Валерий и Борис стойчески переносили выпавший им жребий работать за четверых. Свободного времени у них, так же как и у нас с Ромкой, не было. Если раньше мы любили поболтать перед сном, поиграть в преферанс или в шахматы или просто помечтать у костра, то теперь сразу же засыпали.

Каждый день, когда мы возвращались с озера, нас встречал внимательный и тоскующий взгляд Бориса. Я молча разводил руками.

Он не спрашивал. Он ждал.

Опять, уже в который раз, мы выходим из воды. Шлепая ластами, вздымаем облака мягкого пелогена, раздвигаем руками осоку. Лица у нас спокойны и равнодушны. Они предназначены для зрителей.

«Ничего, что не нашли, — говорят наши лица, — найдем завтра или послезавтра. Чем больше неудач, тем выше шансы на удачу. Все в порядке».

Зрители сидят на берегу. Валерий и Борис решили сегодня отдохнуть. К зрителям можно причислить и Милку, которая спокойно сидит у ног Валерия. На коленях у Валерия двустволка.

— Ну, как дела, рыболовы? — как-то очень незаинтересованно спрашивает Валерий.

— В порядке! — слишком быстро и бодро отвечает ему Ромка.

А мы с Борисом молчим.

Валерий поднимается и, лихо свистнув, отправляется пострелять на свое любимое место, к заросшей рогозом старице — излучине когда-то протекавшей здесь реки.

Милка пестрым веселым клубком катится вслед за ним.

Переодевшись, я прилег на нежную и высокую луговую траву. Надо мной качаются золотые лютики и лиловые водосборы, купавницы и розовые смолки. А еще выше над ними лениво плывут далекие-далекие облака, размытые и перистые.

Очнулся я от раскатного грохота двойного выстрела.

— Вот саданул дуплетом! — сказал Ромка и вскочил на ноги.

Я приподнялся на локте, потом тоже встал.

На поверхности воды, метрах в ста от берега, билась подраненная утка. Валерия видно не было. Зато мы хорошо видели с высоты второй террасы, как гнется и шевелится рогоз. Кто-то продирался к воде. Вскоре мы увидели Милку. Она проворно заработала лапами и поплыла к бьющейся утке. Милка раздвигала грудью воду, которая расходилась в стороны острым углом.

Когда до утки оставалось метров пять-шесть, Милка вдруг жалобно заскулила и ушла под воду. Затем ее голова вновь показалась на поверхности и вновь скрылась.

Мы еще ни о чем не догадывались, когда снова раздался выстрел. Я вздрогнул и обернулся. К нам бежал Валерий. Он яростно жестикулировал и показывал на воду, туда, где исчезла бедная Милка.

Мы сразу же все поняли и, не сговариваясь, начали лихорадочно натягивать на себя неподатливую резину гидрокостюмов.

Ромка увидел чудовище первым. Он внезапно остановился и, широко расставив ноги, повернулся ко мне, указывая куда-то в зеленоватую тьму. Сначала я ничего не заметил, но вскоре различил в глубине огромное темное тело. В воде предметы кажутся увеличенными. Чудовище показалось мне размером с небольшую подлодку.

Резко согнувшись и выбросив ноги вверх, мы толчком ушли в глубину. Когда пальцы коснулись мягкого и неж-

ного ила, я выбросил руки вперед и, согнув кисти надобие направленных вверх рулей, поплыл над самым дном. Впереди неясно маячила темная тень. Я начал подкрадываться, еле-еле шевеля ластами. И тут только я понял, что второпях забыл свое копьё на берегу. И копьё и камеру для подводной съемки. Вот невезение!

Ромка плыл метрах в четырех впереди. Я догнал его и притронулся к плечу. Он резко обернулся, точно испугался чего-то. Я горестно показал ему свои пустые руки. Он понял и сделал мне знак плыть за ним.

Чудовище было совсем рядом. Оно и не думало уплыть. Не шевелясь, стояло оно над самым дном, как в жаркий день стоят в тени кустов форели.

Я почему-то вдруг успокоился и начал внимательно разглядывать сardonioхского черта. Это, несомненно, была рептилия. Может быть, представитель давно вымерших ящеров, о которых не знают наши ученые. Масивная огромная голова животного была украшена отливающими металлом пластинками, которые переходили по бокам в огромные щиты-крышки, похожие на жаберные. На этих щитах резко выделялись нежно-желтые пятна. Перепончатые лапы были поджаты к туловищу, как плавники у спящей рыбы. Так что Ромка кое в чем оказался прав. Было в этом черте что-то рыбье, несомненно было. Даже высокий гребень, который увидел еще Валерий, напоминал спинной плавник рыбы. Сейчас он был полусложен, но можно было ясно различить составляющие его колючие лучи и буровато-рыжие пятна на перепонке. Хвост длинный и острый. Настоящий хвост ящера, на самом конце которого во все стороны торчали четыре острых рога. Подобный хвост украшал когда-то травоядного ящера — стегозавра. Он служил ему грозным орудием защиты против хищников.

Я показал Ромке на хвост, он понимающе кивнул головой и переложил пику из левой руки в правую. Мы начали осторожно подплывать к ящеру. Чудовище не обращало на нас ровно никакого внимания. Казалось, оно целиком было поглощено процессом переваривания несчастной Милки.

Я не знаю, как это случилось. Мы никогда не говорили, что чудовище нужно убить. Речь шла лишь о съемке и возможной обороне. Но тут я с замиранием сердца ждал, что Ромка всадит в ящера копьё. Я бы

и сам всадил, будь оно у меня в руках. Почему это так, и даже не берусь объяснить. Может быть, Милку было жаль, а может...

Ромка метнул копье прямо в огромный, затянутый тонкой кожистой пленкой глаз. Чудовище вздрогнуло и рванулось прочь. Ромка резко вырвал копье из раны и бросился вдогонку. Я устремился вслед. Ящер кидался из стороны в сторону. По воде расплывались облачка коричневатого дыма. Я даже не сразу понял, что это кровь.

Вторым сильным взмахом Ромка всадил копье в морду подраненного гиганта; удар пришелся между двух больших наростов. Копье, однако, скользнуло в сторону. Наверно, наткнулось на кость. Ромка оказался в опасной близости от головы. Я резким ударом ласт приблизился к ящеру с другой стороны и ухватил его за огромную перепончатую лапу. Лапа рванулась и рассекла мне руку тремя острыми когтями от кисти до локтя. Ромка, воспользовавшись удобным моментом — он оказался под ящером, — вонзил пику прямо в незащищенное горло. Оружие ушло в тело на целую штангу. Орудия копьем, точно ломом, Ромка надавил на него обеими руками. Шея животного была почти перерезана, и оно, конвульсивно вздрагивая, стало медленно опускаться на дно, как кленовый лист в безветренный осенний день.

Воздуха в баллончиках оставалось не так уж много, и нам следовало поторопиться. Рука моя болела все сильнее.

Мы быстро нырнули и, подхватив издыхающее чудовище за огромные лапы, поплыли к берегу. Я с опаской поглядывал на перепончатую когтистую лапу и крепко сжимал ее обеими руками. Ящер не подавал признаков жизни. Это было странно. У примитивных существ с малоразвитым мозгом агония может длиться очень долго. Кто не видел петухов, бегающих по двору после того, как им отсекали головы?..

Но особенно размышлять не приходилось. Мы плыли и благословляли закон Архимеда — на суше нам не удалось бы сдвинуть чудовище с места. Дно постепенно повышалось. Стало светлее. Появились первые кустики элодеи и перистолистника.

Вдруг я почувствовал себя плохо. Мне стало очень холодно. Вода пропитывала влагоемкую шерсть в разорванном рукаве, тонкими, холодными ручейками стекала

по спине и груди. Боль накатывалась, как волна, в такт ударам сердца. Все сделалось призрачным, нереальным. Я видел, как колышутся грязно-зеленые заросли рдеста и подо мной вскипают и расходятся пузыри. Потом мне показалось, что сердце переместилось в мозжечок и стало стучать, как молот, гулко и болезненно.

Мне уже не хватало воздуха. Я крепко сжал зубами загубник и, часто глотая слюну, попытался отогнать поднимающуюся откуда-то с темного дна тошноту. Руки и ноги сделались чужими, я не чувствовал их. Кое-как вцепился в когтистую лапу и повис под боком чудовища. Хотелось передохнуть хотя бы минуту, прийти в себя, отогнать непонятную дурноту и плыть дальше.

Тусклая солнечная сетка лениво колыхалась на мягких и скользких холмиках донного ила. Лениво струились над самым дном мохнатые от тины ленты озерных трав. Возле жирного белого корневища кубышки лениво рождался пузырек газа. Он медленно рос, неторопливо отрывался от земли и весело уносился к поверхности. Мне показалось, что дно вдруг стало быстро приближаться. Я мотнул головой и, стараясь пересилить непонятное оцепенение, взглянул вверх. Надо мной висела огромная веретенообразная туша.

Вдруг от нее оторвалось что-то большое и яркое и понеслось ко мне. «Как парашютист с самолета», — подумал я. Передо мной застыло розоватое расплывчатое пятно. Я до боли зажмурился и сразу открыл глаза. Из-за овального стекла маски на меня смотрели удивленные и немного сердитые глаза Ромки. «Почему же мы не плывем дальше, ведь до берега уже совсем близко?» — подумал я и попытался жестами спросить Ромку. Он ничего не понял и только нетерпеливо махнул рукой: «Давай, мол, пошли. Чего стали». Я попытался согнуть колени и оттолкнуться ластами от дна. Но меня занесло вбок. Я опять увидел рядом с собой грязно-зеленые мелкие листья, уродливую личинку стрекозы, резко сгибающую и разгибающую свое серое, членистое тело. Рука уже не болела, ее жгло, точно ее всю обложили горчичниками. Передо мной мелькнуло неясное и неуловимое видение. На долю секунды я узнал его и тотчас забыл. Остались лишь колышущиеся цепочки рдеста. Они мне что-то мучительно напоминали. Но что? Все было как во сне, когда знаешь, что спишь, и снится что-то

очень знакомое, что уже снилось раньше. Стараешься припомнить тот, прошлый сон и не можешь. Он ускользает, как вода из пригоршни.

Очнулся я на берегу. Надо мной хлопотал Ромка. Валерия и Бориса поблизости не было. Рука была крепко забинтована, тело приятно горело. Вероятно, меня основательно растерли полотенцем. Под байковым одеялом было хорошо и спокойно. Щеку ласково щекотала травинка. Приятно пахли медовые травы. Деловито и ненавязчиво звенела оса.

Увидев, что я раскрыл глаза, Ромка смущенно подмигнул и спросил:

— Хотите немного водки?

Я покачал головой:

— Где ящер? Вы его вытащили?

— Куда там вытащил, — махнул рукой Ромка, — на силу вас...

Ромка лег со мной рядом на траву, сорвал стебелек и начал его сосать.

— Я оставил его на дне, завтра достанем. Мертвое чудовище само не уплывет... Я заметил место по береговым ориентирам... Никуда оно за ночь не денется! Вы не волнуйтесь.

А я и не думал волноваться. Мне очень хотелось спать. Разговаривал с Ромкой через силу, борясь со сладкой дремотой. Небо надо мной было синее и густое, как берлинская лазурь. Мне не хотелось думать ни о чудовище, ни о письмах, которые все не шли. Я скользнул в сон, как в теплую ароматную ванну.

Сначала нам показалось, что мы ошиблись. Мы несколько раз всплывали, чтобы проверить ориентиры, искали подводные течения или бьющие со дна ключи. Мы обшарили каждый кустик водорослей, каждую выемку — все безуспешно. Ящер исчез. Мертвое чудовище выкинуло еще одну шутку. Действительно, черт! Скорее всего, рана оказалась не смертельной; истекающий кровью ящер, одноглазый и с распоротым горлом, пришел в себя и уплыл, чтобы умереть где-нибудь в омуте. Что еще можно было предположить? А мы-то рвались! Притащили с собой веревки и крючья, чтобы легче было вытащить огромную тушу на берег.

Разочарование было настолько сильно, что все мы переругались. Даже Борис, спокойный и справедливый, обрушил на мою и на Ромкину головы самые чудовищные обвинения.

Я попытался хоть как-нибудь спасти положение.

— Как вы думаете, куда оно все-таки могло деться? — спросил я.

— Какое это теперь имеет значение? — махнул рукой Борис.

Ромка молча пожал плечами.

— Может быть, его унесло водой, а скорее всего, оно само уплыло, — сказал Валерий.

— Ну, если унесло водой, то это пустяки, — нарочно бодро протянул я.

— Я не заметил никаких придонных течений и водоворотов. Вряд ли его могло унести далеко...

— Тогда у нас большие шансы встретить его еще раз! И давайте пока не будем строить догадок: что, почему, отчего и зачем. Поймаем черта и тогда все узнаем.

— Да-а, поймаем... Как же! Ищи ветра в поле, — прошептал Борис, который никак не мог успокоиться.

— Уже раз поймали! — сказал Ромка. — Поймали и все узнали.

— Да будет вам, — вступился за меня Валерий. — Как будто Артур Викентьевич больше всех виноват!

— В том-то и беда, что здесь никто не виноват, — сумрачно сказал Борис.

Закатное золото залило лужи. Травы поскучнели, тронутые синью вечера. По низинам поползли первые молочные пленки тумана. Кричала выпь. Я подумал о веренице дней, наполненных горечью неудачного поиска. Встретим ли мы еще раз сордонгнохского черта? Времени у нас в обрез. Через две недели мы ждали вертолет, который должен был забрать нас на Большую землю.

— Знаете что, — сказал я, — к черту технику безопасности. Будем плавать в одиночку. Рома — на севере, я — на юге. Так больше шансов.

Все промолчали. Ромка был согласен со мной. Валерий не имел морального права мне возразить. Борис видел только одно — цель, остальное его не интересовало.

...Только на одиннадцатый день я опять увидел ящера. Как и в прошлый раз, он неподвижно стоял у самого дна, поджав лапы и сложив гребень. Проглотив слюну, я пощупал, крепко ли сидит на штанге нож. Подплыть к чудовищу я решил слева, со стороны выколото́го глаза. Каково же было мое удивление, когда там, где одиннадцать дней назад зияла кровоточащая рана, я увидел здоровый глаз, полузакрытый совсем свежей розоватой кожистой пленкой. Но ведь именно в этот глаз Ромка вонзил копьё! А может быть, я перепутал... Заплыл с другой стороны — тоже вполне здоровый глаз. Это было непостижимо! На ум лезла всякая чертовщина. «Что, если здесь их два... Или еще больше!» — подумал я, ныряя вниз. Надо мной сонным аэростатом висело чудовище. Плывая животом вверх, я еле-еле различил на сморщенной и нежной коже горла следы недавних смертельных ран. Сомнений быть не могло: это тот самый ящер. Откуда же тогда такая жизненная сила, такая мощная способность к регенерации?

Я сфотографировал животное со всех сторон. Даже страшный хвост был запечатлен на пленке с расстояния четыре метра. Говоря по чести, я не знал, что мне делать дальше. Мне не хотелось убивать это странное животное, неведомо как попавшее в озеро Сордонгнохского плато. Кто знает, может быть, точно такое же чудовище обитает бог знает сколько веков в шотландском озере Лох-Несс?

Мною овладело мучительное желание взять с ящера срез. Это было совершенно естественно и неизбежно. Какой ученый прошел бы мимо такого явления, как полная и почти мгновенная регенерация?

Но выполнить мое намерение было не так просто. Я не забыл царапин, которые ящер оставил у меня на руке. Не будь гидрокостюма, я бы не отделался так легко. Чудовище не станет покорно ждать, пока от него отрежут кусочек. Я удивлен, почему так легко нам удалось с ним справиться в прошлый раз. Это была всего лишь случайность. На победу у меня было не очень много шансов.

И все же я решил рискнуть. У ящера под глазом торчала уродливая шишка. План мой был прост: вонзаю копьё в шишку, мгновенно поворачиваю его там, затем подплываю еще ближе, рукой вырываю клоч и улепеты-

ваю во всю мочь. Это, конечно, был простой план, простой и идиотский.

Почувствовав удар, животное резко рванулось и вышибло у меня из рук копьё. Развернувшись, как дельфин, ящер бросился на меня, раскрыв огромную оранжевую пасть с мелкими острыми зубами. Я шарахнулся в сторону. Бешено работающий хвост пронёсся у самого моего лица.

Ящер повернулся и сделал второй заход. Мне удалось снова увернуться. Здесь я заметил, что наконец ящер начал ослабевать. Он как бы утратил ко мне и вражду и интерес. Не будь этого, я уже вряд ли сумел бы увернуться и избежать отвратительных зубов. Когда ящер проносился мимо меня, я успел вновь крепко схватиться за копьё и лег ящеру на голову. Животное таскало меня над самым дном. Я начал было подумывать о том, что нужно незаметно отцепиться и выплыть на поверхность.

Внезапно ящер рванулся, и я сполз на бок. Бессознательно, стараясь вновь залезть на голову чудовища, я обхватил его руками. Тело животного было покрыто противной липкой слизью. Превозмогая отвращение, я все крепче цеплялся за него. Но руки все время соскальзывали. Наконец я попал в какое-то углубление на костяной крышке и получил секундную передышку.

Ящер замер на месте, будто парализованный. Я был в полнейшем изнеможении. Мне трудно было даже разжать зубы, сдавившие загубник акваланга. Я отдыхал, повиснув на костяной крышке. Одной рукой я сжимал копьё, пальцы другой впились в углубление. Мне некогда было размышлять над новыми загадками. Быстро отрезав от шишки кусок величиной с большую картофелину, я сунул его в нагрудный карман гидрокостюма. Я уже хотел было оттолкнуться от ящера ногами, когда заметил, что, несмотря на клубящуюся над порезом кровь, он затягивается тонкой, как копировальная бумага, пленкой. Но мало этого! Шишка начала медленно, но вполне ощутимо расти. Я следил за этим необыкновенным ростом до тех пор, пока не раздался шелчок, предупреждающий, что воздух в баллончиках на исходе. К этому времени шишка выросла на добрый сантиметр. Если рост не замедлится, то уже часа через три она восстановится полностью.

Поправив на груди бокс с фотоаппаратом, я оттолкнулся и пошел на поверхность. Уже лежа на воде и плывя к берегу, я взглянул вниз. Там, в глубинной зеленоватой тьме, виднелась массивная темная цистерна, которая медленно уплывала в противоположную сторону, унося с собой неразгаданную тайну.

Роман Оржанский,
геодезист-практикант



Артур Викентьевич позвонил мне на работу. Он просил обязательно приехать сегодня вечером к нему домой. Целый день у меня все валилось из рук. Я не мог дожждаться вечера. Время тянулось невыносимо долго. Неужели сегодня я наконец узнаю тайну сордонгнохской рыбы? Почти восемь месяцев

прошло с тех пор. Артур Викентьевич невылазно сидел у себя в лаборатории. Он не подходил к телефону, отказывался отвечать на какие бы то ни было вопросы. Даже настырный Борис не мог от него ничего добиться. Валерий, правда, как-то намекнул, что Положенцев бежит от самого себя. Но Валерий всегда делает вид, что знает что-то, неизвестное другим.

Я не думаю, чтобы это было так. Просто человек с головой ушел в работу и не хочет отвлекаться по мелочам. И вот сегодня наконец мы все узнаем. Жаль только, что Валерий улетел на Алтай... Но я обязательно напишу ему, как только узнаю что-нибудь новое. Все-таки он первый увидел эту рыбу.

Целый час я бродил по Садовому кольцу. Шел мелкий, противный дождь, тротуар был как черное зеркало. Я решил прийти к Положенцеву не раньше восьми. Но сейчас без четверти семь. А я уже нажал звонок.

Я думал, что буду первым, но в комнате уже сидел Борис.

Артур Викентьевич предложил нам коньяку. Я выпил,

а Борис не захотел. Сказал, что не пьет. Мы сидели и молчали, точно боялись заговорить.

— Знаете, — неожиданно начал Положенцев, — гот ящер, то таинственное существо, которое мы чуть не убили, бессмертно.

Мы даже рты раскрыли от удивления.

Борис с ходу возмутился:

— Ерунда! Неужели иначе нельзя объяснить существование в наше время доисторического животного? Выходит, что кистеперая рыба латимерия тоже бессмертна? Не ожидал я от вас, Артур Викентьевич, таких несерьезных шуток.

— Я не шучу, Борис, — мягко и печально ответил Положенцев.

Но Борис со свойственным ему упрямством продолжал долбить в одну точку:

— Судя по фотографиям, ваш ящер — близкий родственник десятиметровых змееподобных мезозавров, населявших моря в меловой период. В условиях Сордонгохского плато они сумели сохраниться, как сохранился красный третичный мох.

— Вы не поняли меня. Ящер все же бессмертен. Как это произошло? В этом могут быть виноваты и вода этого озера, и его растения. Может быть, какое-то особое излучение. А может быть, оно по своей природе бессмертно...

— А что вам кажется наиболее вероятным? — спросил я.

— Не знаю. Меня не это интересует... Да и не любитель я строить гипотезы. Я привык оперировать только фактами. Кое-какие факты у меня есть. Если хотите, я вам их изложу.

Тишина стояла такая, что гудело и шуршало в ушах. Полусонная ночная бабочка билась в плафоне торшера. Молчал приемник. За стеклами окон молчал притихший мир. Молчали и мы.

— Я обработал у себя в лаборатории препарат, взятый мною у ящера. — Артур Викентьевич говорил как-то очень спокойно, неестественно спокойно. — Работы было достаточно, до сих пор опомниться не могу. Вам не все будет понятно, и я скажу только о результатах.

Он задумался. Закурил. Потом отложил сигарету и опять начал говорить, медленно расхаживая по комнате:

— Мне трудно вам рассказывать. Ты, Борис, как палеонтолог, знаком с основами биологии и современной биохимии. Но вот Роман... Геодезисту наверняка неизвестны некоторые очень важные принципы генетики и физиологии. Поэтому я буду говорить популярно. Тебе, Борис, придется немножко поскучать. Вы знаете, что такое ДНК, РНК, АТФ? Наверное, приблизительно знаете, но я все же еще повторю. Так вот, ДНК — двойная спираль, сложная молекула нуклеиновой кислоты, основной носитель наследственности. Она обеспечивает видовое бессмертие живых организмов, передавая неизменную наследственную информацию от предков к потомкам. Для нее не существует перерывов, вызываемых смертью. Она способна воссоздать самое себя из окружающих ее продуктов. Самое интересное, что природа задумала нас как бы бессмертными. В организме тридцать триллионов клеток. Но нужно лишь сорок делений, чтобы все клетки были заменены новыми. Деление омолаживает клетку. Она превращается в две новые, в точности похожие на старую, материнскую. В точности, да не совсем! И тут-то все дело. В структуре ДНК постепенно накапливаются ошибки. Ничтожные, неразличимые. Но клеток много, и, как следствие закона больших чисел, на сцену выступает смерть. Старость и умирание — это накопление ошибок в структуре. Понятно?

Борис кивнул головой. Мне было не очень понятно, но главное я, по-моему, уловил.

— А нельзя ли как-то избежать этих ошибок, бороться с ними? — спросил я.

— Вы, Рома, уловили самую суть. — Положенцев положил мне руки на плечи. — Именно суть! Оказывается, можно избежать ошибок, которые накапливаются при митозе. На установке электронного парамагнитного резонанса я получил спектр нуклеопротеидов ящера. Это тоже двойная спираль, наподобие винтовой лестницы, ступеньками которой служат азотные мостики. Но в этих мостиках есть один секрет. Они не отделены друг от друга, как у всех животных и растений на земле, а, наоборот, соединены в особую, третью спираль, заполненную свободными атомными группками — радикалами. Как только при делении клеток в структуре какой-нибудь ДНК возникает дефект, он мгновенно устраняется этими радикалами. Они работают, как «скорая помощь». «Ско-

рая помощь» вечности. Я выделил из препарата вещества, которое, если его ввести в организм, мгновенно размножится, проникнет во все клетки и сделает их бессмертными. Когда-то кто-то ввел это вещество в кровь доисторического ящера. Ящер донес его до нас. И вот теперь...

Зазвонил телефон. Положенцев взял трубку. Лицо его изменилось, словно кто-то причинил ему боль. Положенцев говорил сдержанно и односложно. Нельзя было понять, с кем он говорит. Он тихо сказал в трубку: «Да, хорошо, конечно...» — и осторожно опустил ее на рычаг.

Потом он повернулся к нам:

— Простите, друзья. Мне срочно нужно поехать в одно место. Это очень важно. Вы не сердитесь. Я сам вам позвоню, мы опять соберемся и обо всем поговорим.

На улицу я вышел с пылающей головой, и было даже приятно, что идет сильный дождь. Никогда я не думал о бессмертии, и тут вдруг оно подкатилось неожиданно близко. Оно стало реальностью. Не знаю, хорошо это или нет, но я даже не знал, хочу ли быть бессмертным. От этого кружилась голова. Потом я стал думать о Положенцеве. Это, несомненно, гений... Но он, наверное, не очень счастлив. Вспомнил я о намеках Валерия на неразделенную любовь к красивой и злой женщине. Наверное, это она сегодня звонила. Будь я на месте Положенцева, я бы давно плюнул.

А он не может! Станный человек. А может, и не странный. Просто он очень любит...

А кто же все-таки сделал рыбу бессмертной? Профессор Положенцев не может позволить себе фантазии, а я могу, я — не профессор. И я написал рассказ.

* * *

«Теплая вода океана казалась неподвижной. Впервые за много миллионов лет в ней отражались цветущие деревья. Шумели гигантские дубы и буки, раскидистые платаны роняли листья.

Высоко в небе летели странные птицы с длинными зубастыми клювами. В чаще лесов дышали болота. В них гнили исполинские стволы, копошились диковинные животные с длинными, как анаконды, шеями. Там

беспрерывно кто-то кого-то терзал. Порой маслянистая золотисто-коричневая, как иприт, жижа лопалась, и в темной, кофейной воде закипал свирепый поединок пятнадцатиметровых мезозавров. И в укромных норах, в узких и темных щелях прятались маленькие, не больше крысы, зверьки. Это были млекопитающие — будущие властелины Земли.

Окутанный дымом и огнем тормозных двигателей, на узкую песчаную косу медленно опустился звездолет; его встретил лишь высунувшийся из воды ящер. Маленькие глазки не выражали ни удивления, ни радости, ни злобы. В его крохотном мозгу, подобно искре, вспыхнула мысль, что с неба спустился кто-то еще больший, чем он сам. А если больше, то обязательно сожрет. И ящер юркнул обратно в воду.

Когда звездные пришельцы вышли из своего корабля, на маслянистой поверхности воды не было даже расходящихся кругов. Лишь высоко-высоко металась крылатая ящера, а из чащи леса доносился неясный гул.

Как они выглядели, звездные пришельцы? Конечно, они не были похожи на людей. Природа гораздо богаче, многосторонней и мудрей, чем ее пытаются изобразить. Она познает самое себя, создавая могучий живой интеллект. И путь, по которому пошла земная жизнь, конечно, не единственный и, возможно, не самый лучший.

Звездные пришельцы облетели всю Землю. Они спустились в морские пучины, восходили на высокие горы, продирались сквозь чащи лесов. Но нигде они не обнаружили даже следа мыслящих существ. Знали ли они, что потомкам похожих на водяных крыс амфитерий и заламбуалестесов предстоит через миллионы лет взобраться на деревья, превратиться в лемуру и обезьяну и вновь слезть на землю людьми? Знали, а может быть, и не знали. А на Земле кипела жизнь, каждую секунду разыгрывались драмы в борьбе за существование.

Эволюция неотделима от смерти. Каждое живое существо — это пища. Даже гигантские звероящеры падают под ударом невидимых бактерий, чтобы попасть на обед к земляным червям. Экологически замкнутый цикл. Длинный, мучительный путь! И когда вдруг сверкнет сознание и человек поймет, что он уже человек, природа скажет ему: «*Homo sapiens*, ты смертен». Несправедливость! Сознание и смерть непримиримы между собой.

Звездные пришельцы это знали. Когда-то их предки восстали против страшной ошибки. Познающий природу должен быть бессмертен. И они стали бессмертными. Они заплатили за бессмертие миллиардами жизней, миллиардами маленьких вселенных, каждая из которых неповторима.

И на переживающей меловой период Земле они решили избавить тех, кто появится здесь через миллионы лет, от трагических жертв познания. Но как избавить? Кому передать священный и вечный огонь, бегущий в их жилах?

Прежде всего пришельцы изучили механизм наследственности у населяющих землю существ. Он оказался одним и тем же и у ящеров, и у насекомых, и у цветов. Потом они синтезировали вещество, которое выправляло накапливающиеся в процессе деления миллиардов клеток ошибки. Им, уже однажды победившим смерть, это было нетрудно. Но как передать драгоценный дар тем, кого еще нет, как перешагнуть бездну времени?

Выбор пришельцев пал на чудовищных ящеров. Этим нелепым созданиям природы, этим излишкам производства не суждено превратиться в мыслящих существ. Это боковая ветвь эволюции. Но если это так, рассуждали звездные пришельцы, то когда-нибудь по костям гигантов грядущие разумные существа сумеют прочесть прошлое своей планеты.

А если вместо костей им встретится живое ископаемое, что тогда? Тогда они поймают его и узнают, почему оно выжило. И в их воле будет принять или отвергнуть оставленный дар.

Пришельцы поймали громадных, сильных ящеров, впрыснули им в кровь огонь вечности и бросили их в темные, глухие воды самых диких и уединенных озер.

Если грядущие разумные, думали звездные гости, сумеют найти наших посланцев и победить их, то, наверное, они уже будут стоять на такой ступени, когда смогут понять и оценить наш дар. И тогда сколько поколений будет спасено от бессмысленного уничтожения!

Мы благодарим вас за этот чудесный и бесценный дар, звездные братья».

Милая! Я только что прочел рассказ, написанный хорошим парнем. Если бы ты знала, как мне трудно! Сейчас, как никогда, я чувствую себя в ответе за каждую жизнь на земле. Я все о том же. Когда я узнаю, что сегодня кого-то не стало, когда я думаю о тысячах незнакомых мне людей, которые сегодня ушли, мне кажется, что я теряю разум.

Я не знал, что Рома — поэт. Поэту легко принять или отвергнуть бессмертие. Я ученый. И прежде чем что-то сказать, я предпринял эксперимент.

Я впрыснул эликсир бессмертия двадцати кроликам и десяти морским свинкам. Через восемь дней способность к регенерации у животных достигла максимума. Все контрольные животные погибли от нанесенных им ран, подвергнутые же инъекции впали в анабиоз, а через несколько часов (у кроликов через семь-восемь, у морских свинок — через пять-шесть) раны оказались заживленными. Утраченные органы — глаза, лапы, грудные железы — отрастали в течение трех суток.

Потом началась новая серия экспериментов. Подвергнутые инъекции животные были перенесены в помещение, где можно следить за любыми изменениями в их жизни.

Я ждал. Но ничего не было. Лишь на двадцать восемь суток я заметил, что начали исчезать различия между самцами и самками. С каждым днем этот процесс протекал все более интенсивно. Вскоре уже было трудно отличить самцов от самок. Этого следовало ожидать. Бессмертному существу размножения не нужно. Оно теряет свой смысл. Вид может сохраниться уже сам по себе, без эстафеты поколений.

Я продолжал наблюдать. Животные все чаще впадали в спячку, они стали вялыми, перестали играть, двигаться. На сорок седьмой день случилось страшное. Они совершенно утратили активный образ жизни. Их перестало интересовать все, кроме пищи. Постепенно начали тупеть чувства. Приток информации о внешнем мире резко сократился. Эта информация перестала быть нужной. Они черпали ее, если это действительно возможно, из каких-то неизвестных мне внутренних ресурсов. Они стали вещами в себе. Они перестали быть животными,

как мы перестанем быть людьми, если вошьем в свои жилы этот адский огонь.

Это страшно!

Я знаю, что такое любовь. Даже такая безответная и безнадежная, как моя. Бесполому и бессмертному существу чужда любовь, она ему не нужна. И оно перестанет быть человеком. Оно перестанет познавать в явлениях сущность вещей. Поэтому оно потеряет разум и станет ненужным и жестоким пожирателем пищи.

Я не верю, что бессмертные звездные пришельцы, если они действительно существовали, были разумными существами. Я не верю, что они были способны на великодушный порыв к кому-то, кого еще нет во времени. Я вдруг вспомнил качающиеся цепочки и спирали рдеста. Это было в глубине озера. Я чуть тогда не утонул. Они на какое-то мгновение показались мне похожими на цепочки и спирали молекул ДНК. Теперь, когда я вспоминаю об этом, мне кажется, что уже тогда мог бы разгадать генетический код, которым зашифрован механизм наследственности бессмертного существа. Впрочем, какая уж тут наследственность! Это не наследственность! Это непрерывное обновление и воссоздание организма, которому ничего не нужно, кроме пищи! Это дар дьявола. Недаром охотники называют ту рептилию чертом. Я не верю, что мысль, преодолевшая межзвездные пространства, могла родиться в мозгу вот такого черта. Для того чтобы бесконечно есть, не нужно мыслить.

Во имя любви, во имя тебя и во имя разума я отвергаю этот дьявольский эликсир. Но, пойми меня верно, смею ли я решать это один, за всех людей сразу? За всех: храбрых и трусов, за безнадежно больных, за безруких и безногих инвалидов войн, за тех, у кого напалм отнял свет?!

Искренне надеюсь, что ты извинишь мое многословие. Ведь речь идет не об отвлеченных абстракциях, ценных с точки зрения узкого специалиста, который по уши погружен в свое маленькое научное мирке. Дело совсем в другом.

Как-то внезапно вошла и хозяйственно расположилась в нашем доме проблема долголетия и бессмертия. Случайно это произошло или нет, неважно. Важно одно: как мы должны вести себя, чтобы новое научное открытие не стало общечеловеческим бедствием, как это уже

не раз бывало в прошлом? Какую пользу можно извлечь из обстоятельства, в равной мере несущего в себе катастрофу и благоденствие?

Для меня совершенно очевидно, что данный вариант бессмертия не может удовлетворить не только человека, но даже животное с малейшими проблесками сознания.

Но все же... Есть какая-то неотразимая притягательная сила в том, что человек получает возможность овладеть одной из самых жгучих тайн природы — смертью. Разве люди смогут от этого отказаться? Они не отказались от атомной бомбы, космических полетов, сверхвысоких скоростей и многого другого, — они не откажутся от бессмертия.

Мы живем в эпоху демографического взрыва. Человечество властно и уверенно распространяется в пространстве. Не только поверхность Земли, но и просторы других планет Солнечной системы становятся плацдармом будущих цивилизаций. И как раз в этот момент люди получают возможность управлять продолжительностью жизни! Демографический взрыв приобретает характер катастрофы. Рушатся кропотливые экономические построения, в пух и прах разлетаются выверенные научным прогнозом контуры грядущего, реакция развития становится неуправляемой и грозит вырваться из-под контроля человека.

Мои мысли уносятся в прошлое, когда человечество начинало искать пути научного решения проблемы бессмертия.

Напряженный философский и поэтический поиск приводил к пессимистическим выводам. Очень скоро люди отказались и от веры в загробную жизнь и в личное бессмертие. Кратковременность жизни, ее несовершенство заставили вернуться людей к тому реальному, что их окружало. Они обратились к другим людям, к обществу, к своим детям:

Ты дрожишь пред смертью?

Ты желаешь бессмертия?

Живи в целом!

Когда тебя не будет — оно останется.

Но сколько бы ни было сказано разумных утешительных слов, сколько бы ни создавалось душеспасительных вер и учений, человек оставался неудовлетворенным. Он

готов был снять с повестки дня личное бессмертие, но не был согласен со старостью и кратковременностью жизни. Вопросы проклятые, вопросы нерешенные... Почему мы так мало живем? Конечно, по сравнению с подёжкой человек уже сегодня владеет бессмертием, но рядом с протяженностью геологических эпох его жизнь всего лишь мгновение. И действительно ли человеку нужно бессмертие? Ведь страшит человека не сам факт смерти, а предшествующая ей старость, беспомощность, утрата творческих сил. Существует конфликт между инстинктом жизни и смертью: человек умирает слишком молодым. Природа прерывает процесс развития человеческой личности в инфантильном состоянии. Она как бы использует для прогресса целого все лучшее, что заключается в частном, и на этом останавливается, уже не заботясь о судьбе единиц. Мне представляется знаменательным то упорство, с каким великий Мечников разыскивал старцев, подверженных инстинкту смерти. Он искал людей, прошедших гармоничный цикл развития, людей, жаждущих смерти.

Мечников нашел среди сотен стариков и старух всего лишь единицы, кто хотел бы умереть. Это были очень интересные личности. Их отношение к смерти потрясает:

«Если бы ты прожил столько же, сколько я, ты бы понял, что можно не только не бояться смерти, но даже желать ее и так же ощущать потребность умереть, как ощущать потребность спать».

Вот почему мне кажется, что стремление к бессмертию — это всего лишь попытка исправить дисгармоничность человеческой природы. Здесь я полностью солидарен с великим микробиологом.

Первый признак такого вида дисгармоничности, конечно, заключается в кратковременности жизни. Предел в семьдесят лет, установившийся для среднего человека в высокоразвитых странах, еще весьма далек от того рубежа, за которым начинается действие инстинкта смерти.

Напрашивается простой вывод: чтобы не хотеть жить, нужно прожить раза в два больше, чем живет средний человек. А еще лучше перевалить за двухсотлетний рубеж, где человеку уже не страшны любые земные соблазны, привязывающие его к жизни.

Хорошо. Допустим, такое удлинение срока жизни окажется в силах человека. Это еще не бессмертие, но уже

то, что называют контролем над смертью. Тогда земля окажется наводнена стариками и старухами. Ведь две трети своей жизни (150 лет из 200) человек будет находиться, мягко выражаясь, в пожилом возрасте.

И снова люди столкнутся со старостью, этим неизбежным злом, доставшимся им в наследство от эволюции. Встанет вопрос о том, как узенький временной пик молодости, измеряемый одним, двумя десятилетиями, превратить в широкое просторное плато, где человек успеет сделать все, что задумал, и уйдет только тогда, когда наступит усталость. Впрочем, этот проклятый вопрос стоит уже сегодня, сейчас, в наши дни. Мы тоже не хотим стариться, начиная с сорока лет. Нам тоже хочется пронести творческий заряд молодости через всю жизнь.

Я думаю об этом удивительном веществе, извлеченном из недр клетки сордонгнохского чудовища. Нет, не бессмертие, не вечный сон сулит оно нам. В нем есть что-то, внушающее мне большие надежды и в то же время опасения...

Однако я отвлекся. Даю зарок не отрываться от основной темы. О чем я? Да, о сочинении Романа Оршанского. Оно отвечает на вопрос: откуда. Можно спорить о том, насколько достоверен этот ответ. Мне же кажется гораздо более важным ответить на вопрос: куда. Куда может привести людей контроль над продолжительностью жизни, контроль над смертью? Такой прогноз очень сложен, но делать его надо. От правильности нашей оценки зависит успех наших замыслов. Здесь мы не имеем права ошибиться. Во всяком случае, мы должны сделать все, чтобы не ошибиться. Иначе...

Конечно, у меня есть выход. Я могу уже сейчас передать все собранные мной материалы в Президиум Академии наук и увильнуть от ответственности выбора. Но честно ли это? Может быть, я должен сначала решить этот вопрос сам? И со своим решением идти на суд к людям. Ведь это я и мои товарищи вырвали у природы страшную тайну...

Мне нужно много, мучительно думать. И я не хочу, чтобы что-нибудь повлияло на мое решение, даже любовь. Я не имею на это права.

Мне это особенно трудно теперь, когда опять возобновились наши редкие встречи. Я не должен сейчас тебя видеть. Прости и пойми меня.

Артур.

Никогда бы не подумал, что умные и образованные люди могут наворочать так много ерунды! Меня не столько удивил Роман, сколько Положенцев. Неужели любовная история могла так на него повлиять? Все эти разговоры о судьбе человечества, зависящей якобы от него, Положенцева, меня раздражают. Не от профессора Положенцева зависят судьбы человечества, как не во власти Эйнштейна было открыть или не открыть атомную эру.

Но если говорить откровенно, мне жаль ребят. Они очень мучаются, точнее, беспощадно рвут себя на части. Ромкина восторженность после того, как он узнал об экспериментах Положенцева, сменилась острой тоской и детской обидой. Вероятно, это самое тяжелое разочарование в его жизни. Да и кто бы не клюнул на такую приманку, как бессмертие? Признаться, когда я получил сумасшедшее письмо Ромки, у меня тоже что-то шевельнулось в сердце. Конечно, я не верил в бессмертие. Но все же в глубине души задрожала какая-то струнка, и точно в резонанс ей я подумал: «А вдруг...» Но, к сожалению, а может быть, и к счастью, это невозможно. Сколько бы ни возился Положенцев, рисуя схемы хромосомного механизма, термодинамика есть термодинамика, А законы природы нельзя аннулировать.

По-моему, заблуждается и Ромка, сочинивший занятную сказку о космонавтах древности. Эта сказка кажется правдоподобной лишь потому, что нет пока никакого другого объяснения тайне Сордонгнохского озера. Я не могу опровергнуть довольно логичные рассуждения Ромки, но это не значит, что я должен им верить.

Вот что мне действительно интересно разгадать, так это мысли Бориса. Я чувствую: Бульдог опять во что-то вцепился. Он молчит и даже как будто бы не очень интересуется нашими сомнениями. Но мне кажется, в его круглой, как тыква, башке идет неутомимая работа. Интересно, что он задумал...

Вчера мы вчетвером собрались в лаборатории Положенцева после работы. Положенцев просил нас пока повременить и держать все в тайне. По-моему, он прав. Надо еще очень многое проверить.

Только вместо бесплодного фантазирования нужен кропотливый труд. Кто знает, может, у нас в руках действительно великая тайна природы! Только не бессмертие, а нечто еще более существенное и важное. Я не бравую. Люблю жизнь и хочу жить долго. Но в бессмертие не верю, и поэтому оно меня действительно не интересует. Ромка не может этого понять, Положенцев, вероятно, считает меня толстокожим и ограниченным... Что ж, у каждого свой взгляд на мир.

Я невольно позавидовал Положенцеву. Какая у него прекрасная, современнойшая лаборатория! Ультрацентрифуги, электронный микроскоп, инфракрасные и ультрафиолетовые спектрографы, парамагнитный резонанс, счетные машины и счетчики заряженных частиц. Я только читал о таких приборах, только в кино видел такую лабораторию. В моей лаборатории нет стен и крыши. И не то чтобы я хотел поменяться с Положенцевым. Нет. Я просто ему позавидовал. В книгах это называется «хорошая зависть».

Мы собрались, чтобы поговорить, но сначала долго сидели и молчали. Мы чувствовали себя соединенными одной большой идеей. Это было радостное и тревожное чувство.

Борис подошел к стеклянному ящику, в котором, съевшись, спали морские свинки.

— И долго они будут так спать? — спросил он, барабанив пальцами по стеклу.

— Вечно, — серьезно ответил Положенцев. — С кратковременными перерывами на обед.

— Им что-нибудь снится?

— Не знаю.

— Вы говорили, что они черпают информацию за счет каких-то внутренних ресурсов. Я не могу этого понять.

— Значит, им все-таки что-то снится, — сказал Роман.

— Может быть, и так, — улыбнулся Положенцев. — Только сны рождаются не в мозгу — вернее, не только в мозгу, но и во всех клетках тела.

— Парадокс, — заключил я.

— Парадокс, парадокс, ну и что ж, что парадокс! — Положенцев встал со стула. Вероятно, ему в голову пришла какая-то интересная мысль, и он поспешил ее вы-

сказать, чтобы не упустить. — Молекула ДНК имеет вид длинного скрученного волокна. Это, по сути, та же магнитная лента. Будет ли ребенок голубоглазым или черноглазым, склонным к полноте или худым, начнет ли он рано лысеть или сохранит шевелюру до преклонных лет — все это записано на волокне ДНК в виде электромагнитных вариаций.

Многое говорит о том, что в какие-то моменты или, возможно, в течение всего периода эволюции в ДНК происходит накопление безусловных рефлексов и анатомо-физиологических изображений. В ДНК навеки откладывается самая разнообразная информация, воспринимаемая нашими органами чувств и хранимая в наших клетках, пока в ней не появится необходимость.

Все, что мы видели в жизни, все, что видели наши далекие предки, богатство звуков и запахов, разнообразные психические реакции запечатлеваются в наших клетках в виде электромагнитных импульсов. Хранимая внутри наших живых кибернетических устройств информация выступает на сцену в тот момент, когда наш мозг отдает читающему устройству команду использовать ее.

Я случайно взглянул на Бориса. Бульдог сделал стойку. Вот-вот прыгнет.

— Пойдите, пойдите, — прервал он Положенцева, — если я вас верно понял, то... пойдите, дайте сообразить. Да вот: если мы получаем ДНК по наследству от наших предков, будь то обезьяна или покинувшая первобытный океан рыба, то в наших клетках должна спать информация, собранная глазами этих предков. Так?

— Да, так. Память животного не может размещаться только в его мозгу и в центральной нервной системе, она должна найти свое отражение также в химических процессах, происходящих в клетках всего тела.

— Значит, и я, человек, тоже вместилище древней памяти?

— Да.

— Но для того чтобы затребовать эту память, мне нужно отключиться от внешней среды и зажить, как вы выражаетесь, за счет внутренних ресурсов?

— Да.

— А для этого нужно проглотить вот эту мутную жидкость в запаянной ампуле?

— Да, нужно впрыснуть в кровь вытяжку из сордонгнохского препарата.

Я с тревогой следил за этим диалогом.

Уже тогда я начал что-то понимать и предвидеть. Ведь я-то знал Бульдога, а Положенцев не знал.

Мы еще долго говорили обо всем. Постепенно от науки перешли к литературе и кино. И о женщинах говорили. Мужчины часто говорят между собой о женщинах. Собственно, о женщинах говорили Ромка и я. Положенцев и Борис молчали. Мне кажется, что любовь постепенно перегорает в Положенцеве. Я как-то слышал его телефонный разговор. По-моему, это звонила она. Положенцев говорил с ней спокойно и сухо. Если он и дальше так будет себя вести, его шансы здорово подскочат, уж я-то знаю. И правильно, он уже не мальчик. Четвертый десяток пошел.

Разошлись по домам уже вечером. О многом говорили тогда. Но запомнил я почему-то лишь короткую словесную дуэль Бориса с Положенцевым. Может быть, я запомнил и весь разговор. Но надобность оказалась лишь в этом диалоге. Все остальное было пока не нужно.

А утром мне позвонил Положенцев. Он спросил, не заметил ли я случайно, куда он сунул ампулу с препаратом, когда уходил из лаборатории. Он нигде не может ее найти.

Ампула лежала в хрустальной вазочке, и я не видел, чтобы ее кто-то брал. Я ответил Положенцеву очень спокойно. Но сердце мое сорвалось с места и сильно забилося...

Через несколько дней Положенцев мне снова позвонил. Он сказал, что Академия наук организует комплексную экспедицию биологов и геологов на Сордонгнох, и предложил мне принять в ней участие. Ромка, кстати, тоже поедет. «А Борис?» — спросил я. Нет, Бориса он не видел, тот что-то не показывается. Но дело в том, сказал Положенцев, что больше двух человек сейчас взять нельзя. Борис, если он еще интересуется сордонгнохским чертом, сможет прилететь недельки через три.

На том и порешили. Вылетать нужно чуть ли не завтра. Мне не совсем понятна такая спешка. Хотя кто его знает, может, эта рептилия представляет слишком большую научную ценность, чтобы тянуть и медлить. Не знаю... Но я решил поехать.

МЕЖЗВЕЗДНЫЙ СКИТАЛЕЦ

Владимир Николаевич Флоровский,
ассистент университета

Когда я вошел в лабораторию, меня ждал посетитель. Маленький, черный и смуглый, он сидел на вращающемся табурете и, скучая, смотрел по сторонам.

Увидев меня, он представился:

— Мироян, аспирант Института высшей нервной деятельности.



— Очень приятно, — ответил я, пожимая его руку. — Вы меня ждете?

— Вы товарищ Флоровский?

— Да. Чем могу быть полезен?

Мироян почему-то вдруг смутился и, стеснительно улыбаясь, сказал:

— Я к вам по очень важному делу. Меня направила к вам Марья Ивановна Курилина. Она сказала, что больше месяца назад вы помогли доставить одного человека. . . Помните? Вы, мне так сказали, проявили тогда большое участие. Этот человек был без сознания. Вы должны помнить.

Я, конечно, сейчас же вспомнил историю с Лопухим.

— Конечно, я прекрасно помню. Ревин, кажется, его фамилия? А вы что-нибудь знаете об этом странном человеке?

— Он лежит в нашем институте. Врачи от него отказались. Они считают его неизлечимым. А я... а мы решили попробовать. И вы можете нам помочь.

— Буду рад. Только не уверен, что принесу большую пользу.

— Нам очень важны, очень важны, — Мироян попытался усилить речь жестами, — сведения о больном, любые, даже самые мелкие детали. Если вам не трудно, расскажите мне все, что знаете.

Как будто это было вчера, встали передо мной очередь в столовой, Лопухий, его странное поведение и внезапный обморок.

Мироян слушал меня с пристальным вниманием. Он часто кивал головой, словно хотел сказать: «Да, да, это все я уже знаю, давайте дальше». Он ни разу не прервал меня, зато что-то быстро отмечал в маленькой записной книжке.

Когда я кончил рассказывать, он спросил:

— Скажите, а с профессором Положенцевым вы не пробовали связаться?

— Признаться, нет. Лопо... Ваш пациент сказал тогда, что Положенцев куда-то уехал, и я решил...

— Да, понимаю, — хмуро прервал меня Мироян, — решили позвонить как-нибудь потом, да забыли. Некогда было...

Мне не понравился его иронический тон. Собственно, по какому праву он приходит ко мне на службу, расспрашивает обо всем и еще пытается читать нравоучения? Словно уловив мою мысль, Мироян тихо сказал:

— Даже если отбросить в сторону вполне понятный интерес исследователя при встрече с необычным, простое и естественное любопытство, мы никуда не уйдем от неписаных законов человечности. Мой долг зовет меня на помощь к этому бедняге. И вы должны помочь мне.

— Но что же я могу?! — вскипел я.

— Приходите завтра к нам в институт. — Мироян осторожно тронул меня за рукав. — Я кое-что сделал и хочу, чтобы вы посмотрели. Может быть, у вас появятся какие-то мысли, соображения. Дело в том, что сейчас мы уже нашли всех, кто знал Бориса Ревина. Нам не хватало последнего звена. Именно вы видели его перед самым обмороком. Здесь важны любые мелочи. Пока вы были в отпуске, я несколько раз пытался связаться с вами. Очень прошу вас, приезжайте к нам в институт. Приходите хоть завтра, обязательно приходите. Я вам напишу сейчас адрес. Это за городом. Ехать нужно на электричке с Ярославского вокзала,

Я пообещал приехать.

... Мы сидели в огромном круглом зале. Мироян объяснил мне, что сюда не проникают ни звуки, ни свет, ни сотрясения. Зал свободно плавает внутри огромного, наполненного жидкостью резервуара. Стены полуметровой толщины покрыты свинцовыми экранами и пластинами пробки, которые скрываются за черным матовым бархатом.

На маленьком журнальном столике стояла мощная лампа. Она вырывала из небытия кресло, в котором сидел мой собеседник, и отражалась в хромированных частях большой электронной установки. Казалось, что мы одни сидим в черноте мирового пространства, заброшенные и забытые. Но главное — это тишина. Я впервые слушал абсолютную, глухую тишину. Наверное, очень страшно остаться наедине с тишиной. Безотчетно повинуясь непонятному страху, я старался заполнить любую паузу, которая возникала в нашем разговоре. Мне представилось, что я сижу над черным омутом мертвой воды и кидаю, кидаю в него яркие белые камни.

— Я буквально лбом прошибал эту проклятую оболочку, — рассказывал Мироян, — но все бесполезно. Что же все-таки делается у него в голове, о чем он думает или не думает ни о чем, понимает ли, что с ним происходит? В отчаянье я пошел к шефу. Он холодно и бесстрастно выслушал меня. Я чувствовал, что все мое волнение бессильно разбивается о спокойствие сидящего передо мной человека. И вот, когда я дошел до предела и замолк, шеф молча выписал мне разрешение на церебротрон. Девятнадцать рабочих часов в неделю!

Вы, конечно, не знаете, что такое церебротрон? В этом я и не сомневался. Я не люблю и не умею объяснять. Это смесь кибернетики и физиологии. Машина стоит примерно столько же, сколько два атомохода. Ее обслуживает специальная станция, по мощности равная Шатуре. Здесь, в зале, только блок датчиков. Сама машина глубоко под землей, в исполинском бетонированном колодце. Вы когда-нибудь видели синхрофазотрон в Дубне?

Я отрицательно покачал головой.

— Так вот, церебротрон раза в полтора больше. Церебротрон может записать и навеки сохранить виденный вами сон, вашу мысль, если она не отвлеченная, а образная. Вот вы, например, закрыли глаза, и перед

вами возникло лицо любимого человека. Вы ясно видите это лицо, оно реально и осязаемо. Но попробуйте-ка описать его словами, чтобы ваш собеседник увидел точно такое же лицо... Это невозможно. Зато если окружить вашу голову электродами и подключить вас к церебротрону, то ферритовые блоки его памяти прочно зафиксируют стоящий у вас перед глазами образ. Теперь, если подключить к церебротрону вашего собеседника или тысячу ваших собеседников, то они смогут увидеть все, что создано вашим воображением. Причем у каждого будет впечатление, что это он сам вызвал из глубин своей памяти увиденный образ. Конечно, церебротрон предназначен не для этого, вернее, не только для этого. Но остальное нас с вами не касается... Дело в том, что у меня есть сто сорок часов церебротронной записи... Записано то, что творится в мозгу нашего пациента. Многие сигналы непонятны и запутанны. Я не хочу утомлять вас долгим церебротронным сеансом. Без тренировки это вредно. Поэтому я подключу вас к церебротрону лишь на пять минут. На пять минут вы получите память этого загадочного человека. Остальное вы прочтете в моем журнале, я все записал.

Мироян встал и показал куда-то в темноту:

— Ложитесь и постарайтесь мысленно расслабиться. Как перед сном.

Я лег на кушетку в центре зала. Мироян надел мне на лоб холодный металлический обруч. К моему затылку и вискам прижались электроды-датчики, которые Мироян заклеил липким пластырем. Провозившись со мной минут десять, он ушел. Откуда-то издали я услышал его приглушенный голос:

— Если почувствуете себя плохо, то сейчас же нажмите кнопку. Она у вас под правой рукой.

Лампа на журнальном столике погасла.

Оказывается, я равнодушный, эгоистичный человек. После того, как Лопухого забрали в больницу, я забыл о нем.

И вот мы снова встретимся. И как встретимся?.. Лопухий, Борис Ревин... У него, кажется, была еще какая-то вторая фамилия. Эта старуха, мать его приятеля, рассказывала тогда о нем, но я уже многое забыл. У меня только осталось ощущение, будто речь шла о каком-то другом человеке. И он несколько не по-

ходил на странного незнакомца из университетской столовой.

Все зависит от точки зрения. Я смотрел на Бориса глазами холодного, безразличного наблюдателя, и он показался мне неприятным. Она — сочувствующим взглядом друга, и он был, по ее словам, милым чудакватым парнем. Хотя... я видел его уже в предшкоковом состоянии, он был тогда загадочный, странный... А сейчас я увижу его, вернее, узнаю о нем то, чего, возможно, он сам о себе не знает.

Странное дело, но мое обычно ровное, спокойное настроение резко изменилось. Так, вероятно, и должно быть, когда лежишь в темной комнате, на лоб давит твердый обруч, а к вискам пиявками присосались электродатчики. Да еще в перспективе сеанс не то гипноза, не то сна наяву... Но дело было не только в этом. Я чувствовал себя школьником, пойманным на месте преступления, когда он пишет на свежeweбеленной стене свое лаконичное мнение о соседском Вовке. Мне было стыдно.

Мое отношение к Лопухому раньше казалось мне естественным. Но разве можно считать естественным равнодушие?

Людам бывает стыдно, когда они ведут себя не лучшим образом и выглядят некрасиво. Человек хочет быть красивым. Оказывается, я тоже хочу быть красивым, хотя раньше я этого за собой не замечал...

Но что это? У меня в глазах зарябило от ярких вспышек света. Наверное, включили... Свет помутнел и расплылся. Сейчас мне кажется, что я сам сижу где-то на дне озера. Качаются травы, похожие на длинные волосы. Вздрагивают полупрозрачные комочки слизи, мечутся голубоватые шарики, подрагивают ресницами продолговатые инфузории. Они кажутся очень крупными, точно мои глаза вдруг приобрели свойство микроскопа.

Откуда-то из бутылочной зеленоватой мути на меня наплыла огромная темная тень. Я не успел разглядеть ее, но сердце мое сжалось от страха. Я как бы раздвоился. С одной стороны, я прекрасно понимал, что лежу на кушетке в полной безопасности. И все же я был там, глубоко в воде, и дрожал от ужаса. Я хотел рвануться, уйти от неведомой опасности. Потом я почувствовал, что бегу. Я не видел себя. Но знал, что бегу. Мимо мелькали колонны, коптящие факелы, мечущиеся фигуры людей.

Перед моими глазами одна за другой выскакивали мраморные ступени. Казалось, лестница никогда не кончится. Вдруг передо мной возникла арка, увитая плющом и лозами дикого винограда. Я раздвинул листья. Я стоял на высоком холме. Внизу бушевал огонь. Город пылал, подожженный с трех сторон. Время от времени, когда обрушивалась крыша, к небу взлетали золотые брызги, они падали и гасли на лету в красноватой дымке. При свете пожара я мог разглядеть некоторые здания. Они были знакомы мне. Мне — тому, который лежал на кушетке.

Величественный Пантеон, грозно насупивший глазницы окон Колизей, триумфальная арка Антония, уходящие во мрак ступени терм Каракаллы. Это пылал Рим. Все мое существо захлестнули обида и гнев.

И вновь замелькали ступени. В городе творилось что-то страшное. Кровавый отблеск метался на медных шлемах с крылатыми орлами. Из горящих домов выскакивали растрепанные женщины. Они срывали с себя туники и заворачивали в них кричащих детей. Гремели мечи. В узком, зловонном переулке кто-то кого-то звал, захлебываясь от рыданий.

На площади перед храмом собиралась толпа. В багровом свете пожара лица казались красными и блестящими. Люди кого-то ждали. Дома рушились, тела лежали в лужах, где кровь нельзя было отличить от вина. Все было красным в отблесках огня, все дымилось. Гнев и ненависть сжали мое горло.

Люди на площади заволновались и зашевелились. Кто-то выкрикивал угрозы и проклятья. Старики подымали вверх иссохшие руки. Женщины прижимали к груди плачущих детей. И тут я разглядел, что все они смотрят на меня. Я читал в их глазах решимость и веру. Я понял, что эти люди слушали меня, что это я перелил в них кипевшие во мне чувства. Но по толпе прошло смятение, площадь дрогнула, над головами людей заблестели бронзовые орлы, заколыхались ликторские топорики и кисти, закачались пики и поднятые мечи.

Я узнал штандарты высшей власти и рванулся им навстречу. Но пространство передо мной замкнулось двумя скрестившимися копьями...

Зажглась настольная лампа. Тихо гудел трансформатор. Ко мне подошел Мироян.

— Ну как? — спросил он.

Я был не в состоянии отвечать. Мироян склонился и заглянул мне в глаза. Потом махнул рукой и отошел. Лампа вновь погасла.

Передо мной лежит огромная зеленая саванна. Нежные и сочные травы порой закрывают от меня горизонт — так они высоки. С неба струится зной и аромат. Я, лежа на кушетке, не ощущал никакого запаха. Я как бы вспомнил этот запах. Он был где-то внутри меня.

Я, который лежал на кушетке, палеоклиматолог. Я прочел много специальных книг об ископаемой фауне и флоре. Может быть, поэтому то, что видели мои внутренние глаза, соединенные с памятью церебротрона, на этот раз не казалось мне таким реальным. Слишком уж велик профессиональный интерес палеоклиматолога. Но временами я совершенно отключался и был только тем, кто крался по первобытной саванне, кого ласкало молодое утреннее солнце.

Я сразу понял, что нахожусь в третичном периоде кайнозойской эры, когда маленькие теплокровные животные мелового периода уже вышли победителями в борьбе за жизнь. В тени исполинских акаций гиеноподобные хищники окружили арсинотерия.

Огромное, превосходящее величиной слона животное, нагнув увенчанную рогами голову, угрюмо и методично отбивает атаки врагов. Мне было страшно. Но любопытство сильнее. Я лег на землю и пополз. Раздвинув упругие стебли, я мог следить за подробностями этой битвы. Вот арсинотерий ловко подцепил одного хищника рогом и подбросил его в воздух. С пронзительным визгом третичная гиена шлепнулась в заросли колючих кустов. Арсинотерий ухитрился подбить рогом еще одного врага и тут же растоптал его массивной, как древесный ствол, лапой. Злобно рыча и скалясь, гиены начали отступать в заросли. Гигант вышел победителем, он не преследовал врагов. Он огромен и великодушен. На поляну вышел еще один гигант — предок носорога индрикотерий. Увидев растерзанные тела, он фыркнул и спокойно принялся щипать траву. Он испугнул скрывавшихся в траве небольших, величиною с кошку, зверьков, которые бросились наутек. Это были эогипсусы — изящные и грациозные предки лошадей.

Битва кончилась. Мне уже не нужно скрываться в траве. Я встал во весь рост и пошел. Но время от времени меня неодолимо влечет к земле, и я то и дело приседаю на четвереньки. В небе кружат и гудят огромные насекомые, в траве шныряют всевозможные звери и пресмыкающиеся. Но я не обращаю на них внимания. Я спешу. Куда? Этого я не знаю. Я лишь чувствую, что мне нужно, очень нужно куда-то спешить. Углубившись в лес, я иду меж исполинских, поросших паразитами стволов. Где-то в головокружительной высоте смыкаются кроны пальм, шумит лакированная листва мирт и тисов, величественно покачиваются мохнатые лапы секвой.

Вдруг я вижу, как по гладкому стволу тиса скользнула вниз маленькая длиннорукая обезьяна. За спиной у нее прицепился детеныш с грустными и выразительными глазами. Припадая на передние лапы, обезьяна зашпешила мне навстречу. Во мне шевельнулась какая-то смутная нежность. И тут только я, который лежал на кушетке, понял, что я точно такая же обезьяна — проплиопитек. Так вот почему трава казалась мне такой высокой и дремучей, как лес! Проплиопитеки едва достигали тридцати пяти сантиметров.

Вместе с обезьяной я вскарабкиваюсь вверх по стволу, и мы пускаемся в путешествие по кронам деревьев. Цепляясь за лианы, мы преодолеваем огромные расстояния, перепрыгиваем с дерева на дерево.

Я не знаю, куда мы идем, но властный голос инстинкта заставляет меня спешить. Качаются кроны деревьев, и бросается навстречу земля. Сквозь листву изредка прорываются солнечные стрелы. И когда мне вдруг ослепило светом глаза, я не понял, что это: то ли солнце, то ли Мироян зажег лампу.

Это было солнце, оно клонилось к вечеру. Я закрываюсь от него ладонью и вытираю пот с лица. Как хорошо пахнут только что скошенные травы! Моя коса ходит равномерно. Покорно ложатся колоски овсяга, лиловые головки клевера, всевозможные зонтики и кашки. Далеко впереди опускается зеленоватый и голубой вечер. Уже можно разглядеть месяц. Он белый и полупрозрачный. Как молодое арбузное семечко. Грустно блестит вода. Сусальным золотом горят на закате кресты. Я, который лежал на кушетке, узнал неповторимую

архитектуру трехглавого Троицкого собора. Город на горизонте был Псков.

Я кошу траву. Коса звенит, а мне кажется, что это шумит вода, бегущая сквозь дубовый водочес. Легкий ветер донес запах гари. Это не тот вкусный дым костра, на котором кипит котелок с похлебкой, и горящие сухие листья пахнут не так. Я сразу понимаю, что это горький и зловещий дым пожара и войны. Я бросаю косу и бегу. Тугой ветер бьет мне в лицо, сердце стучит где-то у самого горла. Вьется и вьется истоптанная луговая стежка. Уже невозможно бежать... Квакают лягушки в камышах на озере. Стал явственный запах гари. А я все бегу. Хотя, может быть, кажется, что бегу, а на самом деле я еле плетусь, стараясь руками сдерживать рвущееся наружу сердце. Я уже вижу испуганное воронье, кружащееся над поникшими березами. И черный дым, сквозь который проглядывает тревожное закатное солнце. Там был мой дом. Мне уже некуда спешить. Я мог бы упасть в сухую и нежную пыль, рыдать и биться, рвать в отчаянии подорожник, царапать ногтями землю. Но я не ложусь. Я вижу дым над пепелищем, вижу закованных в сталь лошадей с плюмажами перьев на голове и закованных в сталь всадников с опущенными забралами, похожими на птичий клюв.

И я поворачиваю назад. Туда, где на слиянии рек Великой и Псковской видится каменный кремль «Кром», где печальным отблеском на куполах умирает день. Городские ворота еще открыты, хотя гремит вечевой колокол и народ толпится на площади. Из подворотни массивного, будто вырубленного из цельной каменной глыбы дома выезжают телеги. Скрипят оси. Люди грузят камни, раздувают огонь под черными котлами, в которых кипит и пузырится смола. Лучники замерли на городских стенах. К ним спешат простоволосые женщины в домотканых платьях, несут завернутые в белые платки ковриги хлеба.

Хмурые бояре неохотно раздают «меньшим людям» секиры и пращи. Но оборванный люд в дырявых лаптях идет на стены с топорами и дубинками. У меня есть вилы. Я тоже иду на стены. Немецкие рыцари уже близко. Они надвигаются клином. Пешие кнехты идут в середине. У них короткие мечи и арбалеты. Одетые в железо, всадники окружают их, как частокол: они едут,

подняв к небу украшенные флажками тяжелые копья. Уже можно разглядеть яркие узоры, намалеванные на их длинных, заостренных книзу щитах. Особенно нарядные и пышные всадники из окружения самого гротескнейшего едут отдельно слева, в тени шестистолпного собора Ивановского монастыря. Колокола в звонницах раскачиваются, и над городом плывет непрерывный, беспокойный гул.

Передовые отряды подошли к самым стенам, и наши лучники сделали первый залп. Кажется, туча прошла над землей — так густо летят стрелы. Но они не причинили вреда закованным в стальные латы рыцарям. Лишь кое-кто из кнехтов схватился за грудь и упал под ноги наступающих шеренг.

Кнехты снимают с плеча арбалеты, натягивают их и, встав на одно колено, начинают обстреливать стены. Мы попрятались за каменными зубцами. Наши лучники посылают свои стрелы из бойниц, через головы рыцарей. Пока шла перестрелка, кнехты-прашники, укрывшись под самой стеной от стрел, начали поднимать лестницы. Молодой боярин в шлеме и кольчуге с коваными соколами на груди махнул рукой, чтоб лили смолу. Немецкие арбалетчики не дают поднять головы. Кто-нибудь из наших то и дело падает, пронзенный стрелой. Но смола уже течет по желобам, клокоча и медленно застывая. Арбалетчики перестали стрелять, потому что передовые отряды уже лезут на стены. Мы рубим врагов топорами, деремся секирами, сталкиваем вниз лестницы. Я работаю вилами без усталости.

Битва не затихает. На небе зажглись звезды, и серебристый месяц скользит по волнам реки, а мы все не опускаем мечей. Мы, держась руками за камень зубцов, ногами отталкиваем вражьи лестницы. И тут кричат, что бояре открыли ворота восточной стены.

Воспользовавшись нашим замешательством, на стены ворвались кнехты. А сзади уже слышно, как гудит мостовая под тяжелым шагом закованных в латы коней.

Связанные, с колодками на ногах, лежа в сыром подземелье, мы слышим, как стучат топоры плотников. На площади строят виселицу. Немцы всегда, войдя в город, строят виселицу... Черные вороны кружат в небе. Но не увидеть неба из каменной темницы, не услышать, как звенит земля под копытами храброй дружины князя

Александра, что спешит к нам на подмогу! Да поспеет ли князь? Как настанет утро, выведут нас на городскую площадь...

Вот уже вверху заскрипела, запела тяжелая дверь. Отсвет горящего факела падает на ступеньки. Это за нами. Стучат шаги по сырым каменным ступеням. Все ближе, ближе...

Наверное, это Мироян зажег лампу и идет ко мне, преодолевая оцепенение, — думаю я, лежащий на кушетке. Но нет, это не Мироян. Это на каменном полу пещеры топчутся в ритуальном танце босые ноги. В пещере душно. Дым костра слезит глаза, царапает горло. Голые плечи лоснятся от жира и пота. Вижу, как передо мной на гладкой стене возникает контур. Еще штрих. Вероятно, это я сам что-то рисую на стене.

Я знаю, что должен рисовать, но не знаю, какое изображение родится под моими руками. Тихо пою. Меня переполняет восторг. Какое это счастье — уметь рисовать! У меня лишь черная головешка от костра да кусок глины, но я могу нарисовать все, что угодно: бизона, мамонта, оленя. И всегда я пронзаю их дротиком. Поэтому охота у нашего племени часто бывает удачной. Но если случится несчастье — вепрь или саблезубый тигр убьет кого-нибудь из охотников, — тогда племя танцует другой танец, печальный и тихий, а я покрываю стены пещеры причудливой вязью, таинственным узором, понятным лишь посвященным. Женщинам и мальчикам, еще не ставшим охотниками, нельзя даже краем глаза взглянуть на эти рисунки. А им хочется, я знаю. Но они боятся. Поэтому, чтобы утешить их, я вырезаю из бивней мамонта всякие замысловатые игрушки. Женщины любят ими при свете костра в долгие зимние ночи. Девочки укачивают их, как младенцев, и поют протяжные заунывные песни.

Вот и сейчас я рисую на стене медведя. Он должен быть рыжим, и я раскрашиваю его охрой. Женщины танцуют или кормят детей, мужчины шлифуют каменные топоры и ножи из обсидиана. Они низколобы и волосаты, мои сородичи. У них выдаются надбровные дуги, они одеты в мохнатые звериные шкуры. В пещере пылает огонь. Юноши пристально смотрят в его золотистые пряди, и в глазах их светится другой огонь, огонь мысли.

Мне, лежащему на кушетке, ясно, что это верхний палеолиг. На стоянках того времени находят разнообразные хозяйственные предметы и орудия охоты, вырезанные из кости женские фигурки, изображения различных животных. Но я стараюсь не думать об этом, чтобы не пропустить ни единой подробности этой замечательной сцены. И вдруг все обрывается. Это, наверное, орудует Мироян. Он ничего мне не дает «досмотреть» до конца, «фильмы» обрываются на самом интересном месте. Но я не сержусь на него. Он хочет показать мне как можно больше, а времени у нас очень мало. Я употребляю привычные и бесцветные слова: фильм, досмотреть, показать. На самом же деле никто мне ничего не «показывает». Я, сам я, но не тот, кто лежит на кушетке, всюду являюсь центральной фигурой. Я все вижу своими глазами, чувствую своим сердцем, хотя все это увидел и прочувствовал не я.

Те, кто способен увлечься кинокартиной до конца, как ребенок, который топает ногами и визжит, поймут меня. Но как бледно и малоправдоподобно кино по сравнению с теми картинами, которые «вкладывает» в мой мозг церебротрон. Вкладывает, именно вкладывает! Наконец-то я нашел нужное слово.

Надо мною качается жидкое зеркало. Чувства мои смутны и непонятны. Зеркало раздается и пропускает меня. Вверху небо, затянутое плотной пеленой облаков. Облака похожи на мокрую вату. Идет тихий дождь. Струйки, как тонкие нити, пронзают воду. Небо словно прядет из них бесконечную ткань океанской глади. Берег совсем рядом. Пологий и песчаный. Грустно блестит мокрая листва. Ажурные папоротники, стройные жесткие хвощи. Меня смутно тянет к этому берегу. Мне хочется побыть хоть немного на этом мокром песке, с которого сбегает грязноватая пена. Но вновь надо мной качается жидкое зеркало. И вновь я вынырываю и с любопытством смотрю на берег.

Я, который лежу на кушетке, сразу же узнаю девонский лес. Мною овладевают противоречивые чувства. С одной стороны, я хочу напрячь внимание и память, чтобы надолго запечатлеть картины трехсотмиллионно-летней давности. Но это мешает мне самому участвовать

в них, раздваивает мое внимание. Поэтому лишь на миг я испытываю какое-то сумеречное чувство опасности, когда вижу в глубине огромную панцирную рыбу с разверстой пастью. Она охотится. У нее нет зубов, но костные наросты на челюстях мгновенно перепиливают зазевавшуюся трехметровую акулу. Но мне уже не страшно. Тот, который лежит на кушетке, узнает в чудовище титанихтиса, и очарование рассеивается. Внимание вновь раздвоено. После долгих сомнений я все-таки решился подплыть вплотную к берегу и высунуться из воды. Я вижу поразительную картину. Прорвав застывшую гнилую пену, на песок выходят какие-то амфибиеобразные существа. Одни из них только еще цепляются лапками за выброшенные на берег кучки гниющих водорослей, другие уже лежат на песке или медленно ползут к лесу. А некоторые, но их немного, возвращаются назад, в океан. И я, лежащий на кушетке, понимаю, что вижу величайший в истории земли момент, когда первые ихтиостегалы покинули колыбель жизни, чтобы утвердить свое право на жизнь под солнцем. Вам предстоит стать людьми, маленькие амфибии! Те же, кто испугался терпкого аромата лесов, жаркого солнца и пьянящего синего неба и вновь вернулся, просто вымрут. Жестокий и правильный закон развития. Кто не может идти вперед — погибает.

Но почему надо мной снег? Я же только что видел зелень листьев! А может, это не снег? Нет, снег. Напитанный талой водой, изжеванный сапогами и сдобренный навозной жижей снег. Низко нависает поблескивающее серым металлом, с длинными желтыми подпалинами небо.

Откуда-то с рек тянет близкой весной. Тревожный и крепкий запах. Люди жадно ловят его ноздрями. Запрокидывают голову, щурятся. Много людей. Они плохо одеты и возбуждены. Они собираются в кучи и вновь расходятся. Время от времени кто-нибудь поднимается над толпой, срывает с головы ушанку и, сжав руку в кулак, начинает говорить. Толпа рокошет, как река перед наводнением.

Я чувствую, что меня, точно щепку в половодье, подхватил стремительный поток. Сапоги, пимы, унты месят перезрелый снег. Серая белка грызет огромную кедровую шишку. Угрюмо смотрит столетняя темная ель.

Большой деревянный дом. Резное крыльцо. Помятая жестяная вывеска: «Ленское золотопромышленное товарищество. Контора». На крыльце толстый красножий мужик. Он без шапки. Волосы, разделенные прямым пробором, блестят от репейного масла, на толстом брюхе колышется массивная золотая цепочка. Рядом офицер в голубом мундире, с аксельбантом и шашкой. Лицо нервное и худое, глаза белые, сумасшедшие. Рука мучит и мнет белую перчатку. Тут же какой-то иностранец, высокий и поджарый. В кожаном кепи с поднятыми меховыми наушниками. С моноклем и в крагах. Чиновники сгорбленные, многие в пенсне, с портфелями под мышкой. Топчутся. Лица окутаны паром.

А небо над головой тяжелое, давящее. На кого оно упадет, небо? На нас или на тех? Но это я чепуху плегу. Небо не может упасть. Просто я волнуюсь.

Рядом со мной румяная, крепкая девушка в голубом платке и телогрейке. Глаза взволнованные, большие и серые, как небо. Она крепко ухватила за рукав высокого парня с темным изможденным лицом. Пальцы у него коричневые от махорки. Он курит и кашляет, надсадно и долго.

Идущие впереди меня стали. Я вижу их затылки. Они напряглись в ожидании. Иногда затылки бывают выразительней лиц. Сзади напирают. Почему мы остановились? Я уже смотрю поверх голов. Наверное, я приподнялся на носки (себя я никогда не вижу). Пестрое море голов. Рвется на ветру красное полотнище. Лица у солдат тоже красные. С лиловым оттенком. Ружья на изготовку, штыки примкнуты. Золотые гладкие пуговицы в красных петлицах, желтые буквы на погонах. Кожаные подсумки с патронами. Легкий иней на мохнатом ворсе шинелей. Я вижу все резко и четко, как сквозь уменьшительное стекло. Но, странно, я вижу как-то отрывочно. Отдельными фрагментами, случайными деталями. Это кинематографическая отрывочность. Может быть, это от волнения? Я действительно очень волнуюсь. Волнение накатывает и вдруг пропадает. Потом опять накатывает. Почему мы все время стоим? Как во сне. Офицер на крыльце что-то орет — рот как круглая яма. Но слов не слышно. Чиновники тоже что-то беззвучно лопочут. Кто-то из наших, в передней шеренге, тоже кричит, размахивая ушанкой и оглядываясь на

толпу, точно все время спрашивая у нее: «Правильно я говорю? Так?»

Одни солдаты неподвижны. Штыки, вытянутые в линию, не шелохнутся. Тощий человек с моноклем, прижав ко рту ладонь, что-то шепчет на ухо офицеру. Тот согласно кивает головой. Чуть подрагивают малиновые шнуры аксельбантов. Солдаты смотрят куда-то мимо нас.

Я не понимаю, что случилось. Передние пятятся и поворачивают назад. Люди бегут. А я не понимаю, в чем дело.

Странное удивление овладевает мною. Я будто один остался лицом к лицу с солдатами, с теми, которые на крыльце... До них шагов двести. И всюду чернеют на снегу люди. Одни неподвижные, другие еще шевелятся. Люди лежат в снегу передо мной, и сзади меня, и вокруг меня. Снег почему-то все приближается ко мне, а небо, и крыльцо, и солдаты как-то поворачиваются и уходят в сторону. И желтый, измочаленный снег почему-то розовеет и розовеет. Становится совсем красным, как полотнище над черной толпой...

В зале уже давно горит лампа. Мироян сидит на моей кушетке. А я лежу и не могу подняться. Сейчас я не верю в свою собственную реальность. Реальность — там, на снегу затерянного в тайге Надеждинского прииска...

* * *

Вечер тихо ползет за окном. Я еду на электричке в Москву. Только что прочел записи Мирояна. Не мог утерпеть и читал их здесь, в электричке. Сижу и думаю. Думаю об очень многом. Где-то позади меня, в конце вагона, шумно и дружно поют туристы. Грустит аккордеон, рокошет под молодыми ладонями, как барабан, пустое ведро. Поют песенки Окуджавы. Поют о любви и расставании. Весь вагон слушает. С тихой, ласковой завистью. На душе становится чуть грустно и хорошо. Повсюду букеты цветов. Астры, георгины, флоксы. Слишком яркие краски. Цветы пахнут увяданием. Они дышат долгими дождями и ранней осенью. Они хорошие и грустные, как песни. Песня умолкает. Слышны споры и смех. Аккордеон нетерпеливо наигрывает. Он

ждет. Он не любит перерывов. Вновь дружно грянула песня. Аккордеон радостно ее догнал. Слова, знакомые не одному поколению туристов и альпинистов:

Ледорубом, бабка, ледорубом, Любка,
Ледорубом, ты, моя сизая голубка!

Хорошая песня. Но очарование рассеивается. Пассажиры как бы просыпаются ото сна и, виновато улыбаясь, возвращаются к прерванным разговорам, отложенным в сторону книг и журналам. Рядом со мной сидит молодая женщина. Тонкие, узкие руки. Яркий лак на ногтях. Усталая складка у переносицы. Прекрасный алебастровый лоб. Она читает «Романтиков» Паустовского. Тревожно и сладко пахнут ее духи.

Я вновь раскрываю папку и отыскиваю место, где Мироян дает волю своей фантазии. Подумать только — все, что я пережил сегодня, все, что я видел, это лишь двадцать минут церебротрона. А в этой папке скупно пересказано сто сорок часов! И все это создано памятью одного человека. Несчастливого, отрезанного от мира человека. Каждую секунду на протяжении месяцев не затихает эта уникальная работа. Сколько неповторимых образов, давно исчезнувших ландшафтов, когда-то разыгравшихся на сцене жизни драм! Человеческий мозг не может, физически не может вместить такой колоссальный объем информации. Откуда все это? Может быть, отголоски прочитанных книг? Вряд ли. Слишком все естественно и правдоподобно даже в малейших деталях. Писателю всего этого не предусмотреть. Да и для того чтобы в человеческом мозгу могли родиться такие картины, мало прочесть все книги в библиотеке Ленина или Британском музее! Мало... Нет, все это реальные события прошлого. Но откуда они?

Я еще раз перечитал конечный вывод Мирояна.

«Каждое живое существо, — пишет он, — в самом себе несет черты своих древних предков. В строении тела человека много сходства с животными. У месячного человеческого зародыша, например, ясно видны зачатки жаберных дуг. Это стадия рыбы. Человеческий зародыш проходит в своем развитии все стадии эволюции. В течение девяти месяцев он повторяет всю миллиардолетнюю историю жизни на земле. Это нечто вроде ускорен-

ной киносъемки. Сначала одноклеточный, простейший организм, потом, благодаря клеточному делению, все более сложный. Стадия рыбы, стадия лягушки и так далее. Возможно, на каждой из этих стадий в постепенно развивающемся мозгу откладывается соответствующая информация. Вот почему мы стали свидетелями событий древних геологических эпох.

Одноклеточному зародышу, вероятно, соответствует информация, относящаяся к доархейской эре, когда только зарождалась жизнь. Стадия рыбы дала информацию о палеозойской эре. Время господства рептилий — мезозой — соответствует концу стадии лягушки и так далее. Таким образом, все получает как будто бы вполне естественное объяснение. Можно возразить, однако, почему до сих пор подобные случаи неизвестны? На это будет лишь один ответ: мы впервые применили церебротрон. Возможно, что и некоторые виды сумасшествия характеризуются взрывом подобной внутренней информации. Это требует, конечно, экспериментальной проверки. Потому предположение, что эмбриональная информация постепенно накапливается в глубинах латентной памяти, остается пока, несмотря на все его недостатки, единственным. Другого объяснения я не знаю...»

Меня это объяснение не удовлетворяло. В нем было кое-что интересное, заманчивое. Оно даже как будто косвенно подтверждалось. Недаром первобытный океан занимал в видениях основное место... Жизнь зародилась и крепла именно в океане. Но даже если отмахнуться на время, как это сделал Мироян, от четких и ясных эпизодов из истории человеческого общества, которые никак нельзя объяснить эмбриональной памятью, существует одно важное противоречие. Оно носит философский характер. Я сформулировал его как парадокс. Дело в том, что во всех виденных Мирояном и мной событиях очень мало эволюции... Да, мало! Ведь это же сплошная революция. Точки перегиба, моменты высшего напряжения, критические состояния!

Рыба высунулась из воды и собирается сделать первый рыбий шаг по земле, обезьяна спустилась с дерева и вышла из лесу... Это же революция в чистом виде! Узловые пункты.

А картины из истории человечества! Они занимают в видениях не меньше места, чем первобытный океан!

И какие это картины... Борьба, непрерывная и жестокая борьба, те же узловые моменты длинного мучительного пути от зверя к человеку. Нельзя забывать об эволюции человечества. Она с каждым десятилетием все более и более ускоряется, будто раскручивается отпущенная пружина. Человечество шло упорным и героическим путем, противоречивым и не всегда прямым. Были века застоя, десятилетия регресса. Но эти века не оставили никаких осязаемых следов в видениях незнакомца. Потому что не они являются главными и определяющими в человеческой истории. История человечества — это история революций.

Мне опять стало стыдно за те минуты равнодушия, которые были в моей жизни. Как я мог забыть, что жизнь — это борьба! И прежде всего борьба со всем темным и злым, что есть в тебе самом, что осталось в наследство от темного прошлого, от подлого поколения мещан.

В окне электрички замелькали фиолетово-синие огоньки. Железнодорожные рельсы словно поросли васильками. Мы подъезжали к Москве. Пассажиры зашевелились. Я мельком взглянул на свою соседку. Она торопливо дочитывала абзац и уже готовилась сунуть в книжку вместо закладки конверт. Конверт лишь мелькнул передо мной, но фамилию отправителя я увидел четко: А. Положенцев. Я чуть не вскрикнул от неожиданности. Только вчера я звонил к нему в институт. Мне сказали, что он в какой-то важной и длительной командировке. И вот вдруг...

Электричка тихо остановилась. Бесшумно открылись пневматические двери. Пассажиры, теснясь и спеша, стали выходить на перрон. Горели электрические фонари. Влажный воздух колебался вокруг них, как шар, тускло очерченный радугой.

Женщина шла впереди меня. Блестели складки прозрачного плаща, перехваченного в талии пояском. Длинные и стройные ноги уверенно стучали по асфальту модными каблучками-гвоздиками. Я шел за ней, не решаясь догнать и не отставая. На локте у нее висела большая сумка. Там лежала книга Паустовского и письмо Положенцева. Я вспомнил роман Джека Лондона, которым бредил в далеком детстве. Он назывался «Межзвездный скиталец». Сегодня я сам был межзвездным скитальцем

в бескрайней Вселенной, не ограниченной ни временем, ни пространством. Эта Вселенная уместилась в голове тяжелобольного человека. Этому человеку нужно помочь. Для этого необходимо разузнать о нем все. Впереди меня идет женщина, у нее в сумке лежит письмо с адресом Положенцева. Положенцев знает что-то, не известное нам. С ним во что бы то ни стало нужно связаться.

Я догнал женщину у самого входа в метро.

Артур Викентьевич Положенцев,
профессор биохимии

Вновь я встречаю осень среди пурпурных полей и зеленых озер Сордонгнохского плато. Со мною друзья — Валерий и Ромка. Птицы улетаю на юг. Резко похолодало. Я сижу у костра. В закопченном котелке клокочет уха. На озере трещат моторы. Сордонгнох никогда еще не видел столько людей сразу. Он теперь стал знаменит, наш Сордонгнох. Это объект номер один в плане отделения биологических наук Академии.

Здесь среди умирающей природы я как-то успокоился, многое понял, кое на что взглянул иначе. Желтеют и высыхают растения, умирают бабочки — все готовится встретить зиму, чтобы весной вновь возродиться и во веки веков вершить свой цикл расцвета, смерти и обновления. Жизнь бессмертна. И люди тоже бессмертны бессмертием коллектива. Эстафета поколений, переходящая от отца к сыну, законсервированные генетические шифры.

Я натворил много глупостей. Но не жалею об этом. Они сделали меня богаче и чуточку мудрее.

Как только исчезла ампула с препаратом — я назвал его препарат виталонга, вечная жизнь, — я совершенно растерялся. И, ничего не соображая, ринулся сюда, на Сордонгнох. Воображаю, какую чепуху я намолил директору института. Старик, наверное, решил, что я не в себе. Только здесь, под колючими льдыстыми звездами, я сообразил, что виталонга уже живет в крови подопытных животных и незачем мне для этого вновь искать скрывающегося в глубинах далекого озера дракона. Мы ищем его для иных целей. Этот дракон дей-

ствительно неоценимый дар нам, людям. Я впрыснул виталонгу кроликам с привитыми опухолями. Папилломы рассосались через семнадцать дней; саркома Брампера исчезла через сорок суток, даже рак семенных желез вынужден был отступить. Недаром писали провидцы, что проблема рака связана в один узел с проблемой жизни... Нужно много, очень много работать, чтобы отделить антиканцерогенные и гиперрегенерационные свойства виталонги от патологического бессмертия. Когда организм замыкается в себе — это патология. Кто знает, может быть, нам удастся найти иные пути предохранения нуклеиновых кислот от накопления митогенетических ошибок. Возможно, тогда мы уже с иных позиций станем подходить к бессмертию. Оценки меняются со временем. Нельзя закрыть путь будущим поколениям шлагбаумом наших представлений. Может быть, человечество научится управлять временем. Здесь можно лишь фантазировать. Ясно одно, что наши внуки уйдут дальше, намного дальше. Поэтому не будем так категорично ставить вопрос: нужно или не нужно бессмертие?

Со вчерашней авиапочтой мы получили три письма, и они вызвали целую бурю в нашем доселе спокойном лагере. Мы здорово поспорили и даже чуть-чуть поругались между собой. Особенно горячился и наскакивал на меня Валерий. Ромка занимал свою, особую, по-моему, для него самого до конца не ясную, позицию, но тоже время от времени выкрикивал общепризнанные положения.

Первое письмо было от матери Курилина. Она писала, что месяца два назад Борис Ревин попал в больницу в очень тяжелом состоянии. Врачи не могли определить характер его заболевания. Все было очень странно и необычно. Что-то вроде сильного летаргического сна. И в то же время это была не летаргия. От больного уже почти отказались, как вдруг за дело взялся аспирант Мироян. Такой симпатичный маленький армянин, писала Курилина. Он попросил написать Валерию, чтобы тот сообщил все известные ему подробности о Борисе.

Два других письма были адресованы мне. Я сразу проникся симпатией к их авторам. Один из них, Мироян, о котором уже упоминала мать Курилина, подробно

описывал характер заболевания Бориса и просил меня помочь в трудном деле. Все, касающееся Бориса, его очень интересует.

В третьем письме ассистент университета Флоровский рассказывал, как выглядел и что делал Борис перед заболеванием. Флоровскому с большим трудом удалось раздобыть мой адрес, и каково же было его удивление, когда этот адрес полностью совпал с адресом Валерия Курилина, который дала Марья Ивановна, мать молодого геолога. Он и Мироян считают, что мы больше, чем кто-либо, осведомлены о действительной причине заболевания Бориса.

И они не ошибаются. Я сразу понял, что Борис, верный своей цели, взял ампулу и впрыснул себе виталонгу. Я припомнил наш последний разговор, и мне многое стало ясно. Станные вопросы и поступки Бориса выглядят теперь иначе.

— Это первая жертва вашего препарата, — мрачно сказал Валерий.

Мы сидели возле палатки. Отсюда хорошо видна спокойная гладь Сордонгнохского озера.

— Я только одного не понимаю, — продолжал Валерий, — почему все, что ни сделает наука, приносит столько же зла, сколько и добра. Порой кажется, что лучше бы некоторых великих открытий и вовсе не было. Вот, например, ваше бессмертное вещество.

Вы же понимаете, какую проблему вы ставите перед людьми. Быть бессмертным! Да за это уцепятся эгоисты, дураки и прочая и прочая! Какие могут быть странные неожиданности, какие злоупотребления! Этот случай с Борисом меня сильно настораживает.

— Развитие человечества, — прервал его Роман, — идет с помощью метода проб и ошибок. Без ошибок нет движения, а ты хочешь, чтобы все шло гладко, без сучка без задоринки.

— Я не хочу этого, но нужно же предусматривать, куда поведет то или иное изобретение. Ученые должны прекратить игру с огнем. Человечество уже вышло из детского возраста.

— Я должен поддержать Романа, — начал я, — он объективно прав. Развитие мысли, науки не может остановиться из-за того, что возможна ошибка. Если данное открытие не сделаем мы, его сделают другие...

Пока я это говорил, из головы у меня не выходила фраза, которую я мельком видел в письме Курилиной: «...Как он был невезучим, так и посейчас остался. Лежит, бедолага, ни жив ни мертв, только Мироянчик круг него суетится...»

— Мы сделаем все, чтобы поставить Бориса на ноги, — неожиданно для самого себя говорю я.

Голос у меня глухой и напряженный. Ребята с удивлением смотрят на меня. Верю ли я в свои слова? Верю. Но мне страшно; а вдруг...

Как-то Борис сказал мне, что ему очень хотелось бы, кроме всего прочего, разгадать одну тайну, с которой связаны близкие ему люди. Глаза его были прозрачны и стеклянны. Он будто всматривался внутрь себя. Тогда это не произвело на меня особого впечатления, но сейчас все приобретало таинственный смысл: и неподвижный взгляд, и неистовое устремление любой ценой, даже ценой жизни, к видениям прошлого. В этом парне причудливо смешались любопытство ученого, страсть охотника, боль человека. Такая смесь чувств порой бросает людей на подвиг.

Мысль о Борисе тяжела. Но пока нужно думать только о науке. С ее помощью всегда увидишь какую-нибудь тропинку, по которой придет спасение.

— Мы поставим его на ноги, — повторяю я упрямо, словно убеждаю кого-то.

Меня радуют все факты, которые сообщили мне Мироян и Флоровский. Это последнее недостающее звено в моей гипотезе о внутриклеточной информации. Я оказался прав. Мозг способен черпать информацию только из организма, не вступая в контакт с внешней средой. Эта информация запасена в клетках, в тридцати триллионах совершеннейших машин памяти.

Блестящие эксперименты с двухголовым червем планарией, которые провел англичанин Мак Конелл, доказали, что существует наследование приобретенных признаков. Флоровский и Мироян первые увидели картины, которые нередко фиксировались в веществе наших клеток.

Копии нуклеиновых кислот, которые постоянно рождаются и рушатся внутри нас, несут в себе следы памяти и опыта, приобретенного бесчисленными поколениями наших предков. Эти приобретенные черты непосред-

ственно отражаются в мозгу и нервной системе. Со смертью предков приобретенный опыт не пропадает, он переходит дальше из поколения в поколение, становясь богаче и полнее.

Но не вся жизнь организма находит отражение в структуре нуклеиновых кислот. Лишь крупные, поворотные события физической и духовной жизни могут вызывать мутации. Мутация — это буквы в летописи революций. Триллионы разбуженных виталонгой клеток непрерывно посылают в мозг Бориса всю накопленную ими информацию.

Все это происходит хаотично, без всякой последовательности и зачастую одновременно. Только такой сложный и совершенный прибор, как церебротрон, мог разобраться в этом хаосе и разложить его по своим ферритовым полочкам.

Состояние Бориса вполне объяснимо. Никакой даже самый развитый мозг не в состоянии вместить такой напор обильной и яркой информации.

Нужно приглушить эту информацию, подавить внезапный бунт клеток. Только так можно вернуть Бориса к активной жизни. Все, что я вам рассказал, я напишу Мирояну и Флоровскому. Для них многое произойдет.

Думаю, что здесь нам во многом помогут наблюдения над сордонгнохским ящером. Эту загадку необходимо во что бы то ни стало раскрыть. Мы обшарим все озеро сетями, пока не поймает ящера и не поместим его в аквариум. У нас достаточно теперь для этого и сил и средств. Думаю, что поимка ящера откроет нам и другую тайну, которая так потрясла ваше воображение, Роман. Мы возьмем пробы воды и грунта, поймает других обитателей озера, произведем радиометрические измерения. Может быть, мы и сумеем раскрыть удивительную загадку бессмертного ящера, узнать его историю. Я не согласен с вашей пылкой гипотезой, Роман. Почему обязательно космонавты из других миров? С одинаковым успехом все можно объяснить обычными земными причинами... Объяснений можно придумать много. В этом-то вся беда. Нелегко из десяти расплывчатых и шатких гипотез выбрать одну, верную. Вполне допустимо, что бессмертный ящер — это фокус все той же матушки-эволюции, возможности которой еще далеко

не исчерпаны. Можно гадать и искать. Я больше надежд возлагаю на второй вариант. Поэтому будем ждать фактов.

— Нам, конечно, следует поблагодарить лектора за интересный и высоконучный доклад, — насмешливо сказал Валерий после того, как я закончил. — Но, если говорить откровенно, Артур Викентьевич, я не могу восхищаться изобретением, которое способно отшибить у человека память и превратить его в живого мертвеца... А вот Бориса мне жаль, хотя, конечно, он сам, дурак, виноват...

— Вы неправы, Валерий! — закричал я, раздосадованный упрямством молодого геолога. — То, что мозг отключился от внешнего мира, — это всего лишь спасительный рефлекс! Так предохранители отключают установку, спасая ее от скачков напряжения в цепи. Я не думаю, чтобы в мозгу Бориса произошли необратимые изменения. Мы обязательно вернем его к жизни. Борис совершил подвиг во имя науки. Я уверен, что все физические и психические переживания Бориса отразятся на его генах, которые принесут в далекие поколения рассказ об этом великом подвиге.

— Борис станет великим и бессмертным в веках! Амины! — торжественно провозгласил Роман, вставая. — О чем спорить? Давайте работать, и труд нам покажет, кто был прав. Добудем ящера из кладовой Сордонгноха, посмотрим, как он управляется со своим бессмертием. Меня лично интересует вопрос, почему этот ящер не спит все время, как Борис, а периодически хватает то собак, то уток. Как вы думаете, Артур Викентьевич?

— Не знаю... Пока не знаю, — сказал я.

Все замолчали.

— Ну что ж, будем работать, — сказал Валерий. И добавил: — Я вот что думаю: не слетать ли мне в Москву — посмотреть, как там дела, а?

Мы согласились, что, пожалуй, он прав.

Вечером я долго думал о нашем разговоре, о проблеме виталонги. Почему-то я верю, что все будет хорошо. Люди найдут свое бессмертие.

**Записка аспиранта Г. Мирояна
ассистенту университета В. Н. Флоровскому**

«Владимир Николаевич, ты сегодня меня не застнешь, меня вызывают в Москву. Очень прошу, посмотри повнимательней мои сегодняшние записи (церебротронных видений Ревина-Михайлова). Я сразу по биотокам определил: с Ревиным что-то происходит. Мое предположение подтвердилось. Впрочем, сам увидишь.



Можешь делать замечания на полях, чем больше, тем лучше. Мне интересно, что ты обо всем этом думаешь».

Запись Мирояна

Этот сеанс был не похож на другие. Раньше я все время чувствовал собственное присутствие в тех картинах, что разворачивались перед моими глазами. Сейчас все было иначе. Впечатления были настолько сильными и непосредственными, что порой я совершенно забывал о Галусте Мирояне, обклеенном электродатчиками и лежавшем в темной церебротронной.

Первым и главным ощущением была усталость. Она тяжелым цементным тестом схватила мышцы и суставы. Когда я поднимал ногу, мне казалось, что я слышу, как рвутся и дробятся мои одеревеневшие мускулы. Огромным усилием воли посылал я вперед свое измученное тело. Еще шаг, еще... Иногда я останавливался и оглядывался назад. Там двигался он. Высокий рыжебородый мужчина в резиновых сапогах и брезентовой накидке шел тяжело и медленно. Когда я смотрел, как он, пошатываясь, старательно обходит свинцово-серые лужи, во мне на миг появлялась теплота сочувствия и понимания. Я кивал ему головой, поднять руку я уже был не в силах. А он только смотрел в ответ. Голубые глаза на сером лице были нечеловечески прозрачны. Они ничего не выражали — ни боли, ни тоски, ни надежды. Я поворачивался и шел вперед.

Я знал, что мы идем уже много дней. Нас по-прежнему окружала мокрая осенняя тайга. Ослизлые стволы исполинских сосен сверкали, словно облитые глазурью. По ним скользили жирные капли дождя. Низкое темное небо лежало на раскачивающихся верхушках деревьев. Оно непрерывно источало влагу и холод. Под ногами плескалась студеная грязная жижа из веток, мха и воды. Воды здесь было сколько угодно. Она струйками выдавливалась из-под ног, сочилась из рваной коры старых елей, внезапно преграждала путь, разлившись маслянистым неподвижным озером. Вода висела в воздухе, превращая его в холодный вязкий кисель. Иногда мне казалось, что, кроме воды, вокруг нас ничего нет. Лес был из воды, воздух из воды, мы сами из воды, весь мир был сделан из воды.

Мокрые брюки и белье сильно натирали колени, и кожа там горела, словно от ожога. По вечерам, когда мы забивались в нашу крохотную изъеденную дождем палатку, я снимал разорванные в нескольких местах резиновые сапоги и рассматривал свои ступни. Они были белые и набрякшие, как у мертвеца. Казалось, влага пропитала живую ткань тела и если нажать пальцем, то из-под пористой кожи выступят желтоватые молочные капли. Я не нажимал — боялся.

Мой рыжебородый друг доставал из рюкзака, где хранились образцы и еда, маленький сверток. Первой из свертка извлекалась грязная помятая бумажка, на которой были написаны два слова: «Дойти и выжить». Потом появлялся мешочек с мукой, баклага спирта и пачка с печеньем. Мы опрокидывали по глотку огненной влаги, запивали ее болтушкой на дождевой воде и съедали по куску печенья. Огня, насколько я помню, мы уже давно не разводили — не было спичек да и слишком отсырело все вокруг. Наверное, во всей тайге не было ни одной сухой ветки. Мы засыпали, плотно прижавшись друг к другу.

У меня было ощущение нескончаемой вереницы однообразных дней. Мы шли, шли, шли... Я помнил серые дни, похожие между собой, как близнецы, бесконечные холодные ночи, когда к утру хочется плакать от голода, медленное движение по болотистым таежным зарослям и усталость. Усталость сделала бесчувственными руки и ноги, лицо, грудь. Были безразличны удары ветвей по

щекам, вода, проливавшаяся за ворот, намокшие и опухшие ноги.

Все чаще я оглядываюсь назад на своего спутника, все дольше задерживаюсь, поджидая его. Походка у него сейчас особенно неуверенная, он часто взмахивает руками, словно собирается взлететь, глаза сверкают лихорадочным блеском. Он торопится за мной, он боится отстать... Меня охватывает тревога.

Мне очень хочется ему помочь, но я ничего не могу поделать. Основной груз — рюкзак с нашими образцами — волоку на себе. Рыжебородый несет только палатку, но ему нелегко и это. Он сильно сдал... Вот тебе и богатырь... Я поджидая, пока он доковыляет ко мне, и иду дальше. Но он все больше и больше отстает. Лес слегка редее. Очевидно где-то поблизости река. Наконец-то вечер. Я наскоро ставлю палатку, и мы заползаем в нее. Сегодня мы ложимся спать без ужина. Еды осталось всего на два дня, а идти нам еще не меньше пяти суток. Как мы дойдем?

Я просыпаюсь от холодного и мокрого прикосновения к лицу. Мне кажется, что на меня упала палатка. Я медленно сгребая ткань с лица и обнаруживаю, что запутался в тряпках, которые положил в головы. Я поворачиваюсь на другой бок и пытаюсь заснуть. Что-то необъяснимо тревожит меня. Наконец до меня доходит причина. Мне не хватает тепла его тела. Я протягиваю руку, и она повисает в ужасающей пустоте. Я лихорадочно обшариваю всю палатку, все углы, закоулки, вмятины, словно там мог спрятаться и потеряться взрослый человек. Меня охватывает ужас. Я обнаруживаю, что исчез рюкзак с образцами и с остатками еды. Я вырываюсь из палатки, словно из склепа, на воздух. Занимается раннее утро. Солнца, конечно, нет, но где-то далеко на востоке над иссиня-черным лесом расплываются вялые, бледные полосы. Я быстро скатываю палатку валиком. Может, он просто пораньше встал и решил пройти вперед, чтобы ему не догонять меня в течение всего дня? Но куда он двинулся и почему не предупредил меня? Ведь у него даже компаса нет! Неужели сбежал? Это моя смерть.

Я бегу, выплескивая воду из сапог и луж. Внезапно я замечаю впереди темную фигуру. Я настигаю ее и хватаю за плечо. Он быстро поворачивает ко мне

голову. В этом лице нет ничего человеческого. Потухшие глаза в кровавых белках смотрят тупо и настороженно, на щеках вспыхивают фиолетовые пятна. Я что-то быстро говорю, убеждаю, возмущаюсь. Резкий удар внезапно прерывает меня. Я падаю навзничь, прямо в огромную лужу. Лежу в грязной воде и смотрю, как медленно уходит рыжебородый. С ним уходят моя еда, спирт, жизнь.

И я, уже не тот человек в тайге, а Галуст Мироян с датчиками на лбу, отмечаю про себя, что рыжебородый болен. И я, Галуст Мироян, знаю, как называется эта болезнь, но тот человек, что лежит в тайге, мешает мне вспомнить это название.

Я выбрался из лужи и теперь сижу на упругом мшистом покрове. Сегодня, кажется, первый день, когда нет дождя. Значит, скоро зима. Я не пойду за рыжебородым, который уносит в рюкзаке мою жизнь. Когда-то он подарил мне счастье, а сейчас я должен вернуть ему долг. Теперь-то я знаю, что не дойду, но идти все равно надо. И я плетусь с кочки на кочку, пока часов через пять не выхожу к реке. Она небольшая, синяя и холодная. Я беру правее, чтобы подыскать подходящую переправу, и вдруг замечаю его. Он тоже ищет брод. У него в руках шест, чтобы ощупывать дно.

Сапоги он снял и держит их под мышкой. Видно, что ему мешает рюкзак. Вот он вернулся на берег, сбросил рюкзак, огляделся по сторонам. Что-то делает на берегу — отсюда не видно, все же метров триста. Потом снова пошел в воду, на этот раз в сапогах. Правильно, все равно ноги мокрые, а камешки на дне острые, без обуви не пройдешь.

Я отыскиваю палку и начинаю тыкать в воду. Здесь везде крутой спуск, да и глубина порядочная. Я долго брожу по берегу и наконец, решаюсь двинуться вверх по течению. Там, вероятно, больше мелких мест. А как дела у рыжебородого? Я осматриваю поворот реки, где маячил его силуэт, и никого не вижу. На противоположном берегу низко склонились вековые кедры. На этом — шумит сосновый молоднячок, продуваемый пронизывающим осенним ветром. Я медленно иду туда.

Песок под рюкзаком успел осесть и слежаться. Когда я потянул мешок за лямки, под ним открылась яма, на самом дне которой собралась вода. Немного поодаль

на мелкой речной зыби раскачивался какой-то предмет. Я извлек его. Старая пыжиковая шапка. На внутреннем ободке вышита хорошо знакомая надпись: «Ник. Курилин».

И вот здесь что-то произошло. Я, Галуст Мироян, из тайги был переброшен в свою церебротронную вскриком: «Отец, отец!» Это кричал Борис Ревин. Я бросился к пульта, отключил церебротрон и подошел к больному. Он бредил! Это огромная победа. Это первый шаг к выздоровлению. Интересно, что, когда я рассматривал кривые биопередачи, я отметил колоссальный толчок-импульс. Огромное нравственное возбуждение вывело больного из состояния апатии.

Он уже реагирует на яркое освещение! Свет прожектора вызывает дрожание век. Сейчас Ревин по-прежнему бредит. Мы начали использовать различные химические препараты. Надеемся, надеемся, на многое надеемся!

Кстати, я долго думал об увиденной сцене в тайге. С твоих слов я знал о семейной драме Михайловых. Получается, что Михайлов ни в чем не виноват, это его бросил Курилин. И Михайлов принял предательство друга на себя. У них там были какие-то счеты. Но когда я «просматривал» эту сцену, мне показалось, что Курилин был болен. Я проверил все внешние признаки заболевания, которые мог не заметить измученный и отупевший от усталости Михайлов. Похоже на таежный энцефалит. Это тяжелое, быстро развивающееся мозговое заболевание могло сделать Курилина невменяемым...

... ЛЕТ СПУСТЯ

(Эпилог)

Вопрос. Какие открытия прошлого, по вашему мнению, сохранили свое значение и в наши дни?

Ответ. Мне не хотелось бы умалить и принизить значение множества великолепных достижений науки прошлого, но я возьму на себя смелость назвать всего лишь две, по-моему, совершенно уникальные победы человеческого разума. Это атомная энергия и раскрытие тайны жизни.

Вопрос. Скажите, если б эти открытия не были сделаны в свое время, насколько задержалось бы развитие нашей цивилизации?

Ответ. Этого не могло произойти. Они были подготовлены всем ходом истории человеческого общества. Атомный век для человечества начался с лучей, обнаруженных Беккерелем, а не со взрыва бомбы над Хиросимой. Точно так же разгадка тайны жизни началась с открытия структуры нуклеиновых кислот, а не с тех грандиозных потрясений, к которым привело использование виталонги.

Вопрос. Вы считаете, что применение этих великих открытий не всегда шло по правильному пути?

Ответ. Безусловно. Чтобы проникнуть в тайны атома, не стоило взрывать атомную бомбу. Это несколько не продвинуло нас по пути познания ядерных процессов. И опять же навязчивые и вздорные идеи о бессмертии, якобы порождаемом виталонгой, на некоторое время сбили науку о жизни с правильного пути. Нам остается утешаться тем, что все это этап, давно пройденный че-

ловечеством. Сейчас атомная энергия верно и преданно служит людям, а виталонга-прим стала самым заурядным препаратом в любой аптеке. Вы сами, наверное, ею пользуетесь, а если нет, то скоро начнете. Она спасает людей от преждевременной старости, придает необыкновенно устойчивый жизненный тонус, неиссякаемую бодрость духа, великолепную трудоспособность в любом возрасте.

Вопрос. Скажите, председатель, как себя чувствует Борис Ревин-Михайлов, самый старый человек на земном шаре, да и, пожалуй, во всей Солнечной системе?

Ответ. В настоящее время он руководит объединением...

— Ну, хватит валять дурака, — сказал Положенцев, входя в дверь с букетом цветов.

Ромка поперхнулся недосказанной фразой и закашлялся. В его руках дрожал микрофон (чайная ложечка). Курилин по-прежнему величественно покоился в кресле. Он посмотрел на часы и, преувеличенно кряхтя, поднялся.

— Что, уже пора ехать? — сказал он, обращаясь к Положенцеву.

— Да, такси уже у подъезда.

— Если эти роскошные цветы предназначены для Бориса, — Курилин потрогал влажные малиновые астры, — то совершенно напрасно: он их терпеть не может.

— Не для Бориса, — отрезал Положенцев.

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ	3
Приговорен к наслаждению	5
Зеленая креветка	43
Орфей и Эвридика	91
Идеальный ариец	115
«Желтые очи»	142
Доатомное состояние	151
Конгамато	169
ВУНТ ТРИДЦАТИ ТРИЛЛИОНОВ. Повесть .	213

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы
об этой книге присылать по адресу:
Москва, А-47, ул. Горького, 43.
Дом детской книги,

Для старшего школьного
возраста

*Емцев Михаил Тихонович,
Парнов Еремей Иудович*

ЗЕЛЕНАЯ КРЕВЕТКА

Ответственный редактор *Н. М. Беркова.*
Художественный редактор *Л. Д. Бирюков.*
Технический редактор *Э. М. Кузьмина.*
Корректоры *Э. Л. Лофенфельд*
и *Л. М. Николаева.*

Сдано в набор 9/XII 1965 г. Подписано к
печати 16/V 1966 г. Формат 84×108 1/32.
9,5 печ. л. 15,96 усл. печ. л. (15,82 уч.-изд. л.).
Тираж 75 000 экз. А00673. ТП 1966 № 585.

Цена 56 коп. на бум. № 2.

Издательство «Детская литература».
Москва, М. Черкасский пер., 1.

Типография «Пунане Тяхт»,
г. Таллин, ул. Пикк, 54/58. Заказ 3714.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

*В 1966 году в издательстве «Детская литература»
выйдут в свет следующие приключенческие
и научно-фантастические книги:*

МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ № 12.

Альманах. Сборник приключенческих и научно-фантастических повестей и рассказов советских и зарубежных писателей

*

К а л ь м а Н.

ПЛОЩАДЬ ЭТУАЛЬ.

Роман об участии советских людей в движении французского Сопротивления

*

Р о с с о х о в а т с к и й И.

ВИТОК ИСТОРИИ.

Сборник научно-фантастических рассказов и повестей.

Эти книги по мере выхода их в свет вы сможете приобрести в магазинах Книготорга и потребительской кооперации.

Книги высылаются также по почте наложенным платежом отделом «Книга - почтой» областных, краевых и республиканских книготоргов.



Цена 56 коп.



См. 3-й изд. : Э. П. 1404

Э. П. 1404 Э. П. 1404